

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 1 (6 6) / 2 0 2 6



НАТАЛИЯ
ТЕБЕЛЕВА
Москва

4



ИРИНА КИТОВА
БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛ-
ЛАК САРАТОВСКОЙ
ОБЛ.

14



МАРИНА
СОЛОВЬЕВА
Нижний Новгород

40



АЛЕКСЕЙ
ОСТУДИН
Казань

83



ВЛАДИМИР
РЕШЕТНИКОВ
СЕМЁНОВ НИЖГОРОД-
СКОЙ ОБЛ.

89



НАДЕЖДА
КНЯЗЕВА
Арзамас

93



ИГОРЬ
МАЛЫШЕВ
НОГИНСК МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛ.

96



МАРИНА
КУЛАКОВА
Нижний Новгород

113



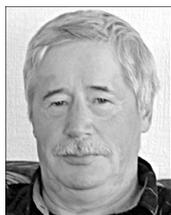
ЯРОСЛАВ
КАУРОВ
Нижний Новгород

134



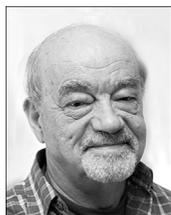
НИКОЛАЙ
СВЕЧИН
Нижний Новгород

136



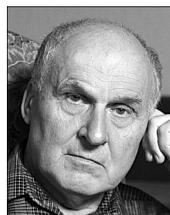
ПАВЕЛ
КРЕНЁВ
Москва

145



ИГОРЬ
ЗОЛОТУССКИЙ
Москва

158



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
Нижний Новгород

201



МАРИАННА
ДУДАРЕВА
Москва

219



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
КОКТЕБЕЛЬ

229

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Наталья ТЕБЕЛЕВА А СТОЛИЦА НЫНЧЕ В ВАШЕЙ ЛЕСОПОЛКЕ....	4
Сергей СТЕПАНОВ-ПРОШЕЛЬЦЕВ ЛОКАТОР ДУШИ.	11
Ирина КИТОВА ВРЕМЕНА.	14

Проза

Андрей МАЛАХОВ РОМАШКИ	18
Марина СОЛОВЬЕВА ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА.	40
Александр ЖАРКИХ АЛЕКСЕЙ	48
Игорь ПАЛАШОВ УЛЬЯНА	62

Поэзия

Алексей ОСТУДИН В ТЩЕТЕ БЛАГИЕ ПОМЫСЛЫ ЗАСТРЯЛИ...	83
Владимир РЕШЕТНИКОВ СТО ТЫСЯЧ «Я»	89
Надежда КНЯЗЕВА ЛЕТОПИСЬ ЛУГА	93

Проза

Игорь МАЛЫШЕВ ВРЕМЯ ПИСЕМ БЕЗВОЗВРАТНО УШЛО	96
КОГОТЬ ЛЕВИАФАНА	100
ПОСЛЕДНЕЕ	103
ПРАВИЛЬНЫЙ МЁД	105
Вис ВИТАЛИС ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА	107
Марина КУЛАКОВА ДУХ ТЁПЛАЙ	113
Николай ЗАЙЦЕВ ЕГИПЕТ	119
ЛОШАДИ ВЕЗУТ	125

Стихи по кругу

Мария ЧЕРНОВА	128
Клара ШОХ	130
Андрей АЛЬПИДОВСКИЙ	131
Валерий РУМЯНЦЕВ	131
Анна ЦАРЕГОРОДЦЕВА	132

Елена КОЛЕСНИКОВА	133
Петр РОДИН	133
Ярослав КАУРОВ	134

Из будущих книг

Николай СВЕЧИН ОПАСНАЯ ДОРОГА. Глава из книги «Тайна мыса Пицунда»	136
--	-----

Далекое – близкое

Павел КРЕНЁВ ПРО ОРЛИКА, ГОЛУБКУ, ВАСЯТКУ И ДРУГИХ Цветные картинки из детства	145
---	-----

Публицистика

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ ВСТРЕЧИ С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО. Предисловие Валерии Белоноговой	158
Роман СЕНЧИН ПИСАТЕЛИ СОВЕТСКОГО ВЕКА. Биографические зарисовки	168

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ ЛЮДИ И ЗВЕРИ В ЖИЗНИ ДЖЕКА ЛОНДОНА 150 лет со дня рождения писателя	201
Александр РЯБОВ ПИСАТЕЛЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 200 лет со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.	214
Марианна ДУДАРЕВА ЛОДКА СУДЬБЫ НИКОЛАЯ РУБЦОВА 90 лет со дня рождения поэта	219

Литпроцесс

Римма НУЖДЕНКО «ПОЛЮБИТЕ МОЮ НИНОЧКУ» О романе Валериана Маркарова «Чёрная роза Тифлиса»	223
---	-----

Юбилеи

Владимир АЛЕЙНИКОВ: И ВЕК НЕИЗБЕЖНЫЙ В СЕБЕ БЕРЕГУ... С Владимиром Алейниковым беседует Юрий Татаренко	229
Виктор ВОЛКОВ ВЕДИЧЕСКИЙ ДАР ВЛАДИМИРА АЛЕЙНИКОВА	237

Наталия ТЕБЕЛЕВА

Родилась в городе Саратове, больше тридцати лет живёт в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ (журналист, литературный работник редакции) и ИПК работников телевидения и радиовещания (режиссёр документально-художественных программ ТВ). Работала журналистом и редактором в газетах «Культура», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Неделя», «Московские новости» и других, редактором телевизионной программы «Аншлаг» (канал «Россия»).

Автор четырёх поэтических книг. Книга стихов «Точка невозврата» вышла в августе 2025 года (составитель Захар Прилепин). Лауреат ряда всероссийских и международных литературных конкурсов.

Регулярно выступает перед бойцами в зоне проведения Специальной военной операции. Награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За гражданское мужество».

А СТОЛИЦА НЫНЧЕ В ВАШЕЙ ЛЕСОПОЛКЕ...

* * *

По люрексу – иглой, тачая швы,
стремится серый скорый из Москвы.

Осенний свет – бери, на мякиш мажь.
Мелькает лес, одетый в камуфляж.
И нитки рельс – тонки, но невредимы.
И длит маршрут пристроченный Владимир,

где рвётся связь и вяло виснет сеть.
Здесь должен поезд высадить успеть,
смеясь дверей раскрытыми губами,
его бросая прямо в руки маме –

седого пацана на костыле
в потрёпанном солдатском камуфле.
От них, хранимых Богом, сохранённых,
болит в груди и тесно на перронах.

Так по стране, упряма и длинна,
составами развозится война.

Поля в окне – кевларовый отрез.
Депешами сорит РСЧС,
от первого отбоя до второго
латая курс, разорванный Ковровым.

Мой ракурс отражается в глазах,
пока мозолит их Кара-Мурза*
видосом из соседского планшета
с Гороховца и до Дзержинска где-то.

Соседями сидим который час.
Не в силах укачать, обоих нас
локомотив, постанывая, тянет
в одном вагоне разными путями.

Но нет, не разгорается пожар.
Записки путевые – мирный жанр.

И скоро, суетиться обречён,
вокзал петлю поймает на крючок,
последним километром обездвижит.
Стальная пряжа кончится на Нижнем.

Колёса остановятся, звеня.
Прибывших встретит волжская земля,
в большое сердце русское впуская, –
несладкая, но щедрая такая.

Поэт – простак: что вижу, то пою.
...А Родину безбрежную свою,
упорно и не сваливаясь в штопор,
мы будем долго смётывать и штопать.

Пенька ли, шёлк ли, смесовая нить –
нам столько шить. Нам шить ещё и шить.

Позывной Суарес

Бойцов на краткий отдых отпустили.
Ротация. Сидят богатыри.
Вон у того в груди болит Россия
и бьётся, бьётся в рёбра изнутри.

Родился он во время непростое –
а кто в простое, камень бросит пусть.
Из тех, кому уже стихи про Зою
учить не задавали наизусть.

Учили их, что им гордиться нечем:
сыны совков – и тем нехороши.
А в блиндаже стихи идут под вечер –
да не из книг, а прямо из души.

Читает он не пафосно, негромко –
и парни в такт губами шевелят –

* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

о том, как погибала комсомолка
и как сиял девичий дерзкий взгляд.

На штурм ходили тройками и по два.
И был огонь, вода была и медь.
Уж им не знать ли, что такое подвиг.
Уж им не знать ли, что такое смерть.

Им всё понятно – в прозе ли, в стихах ли –
про Родину и честь. Напрямому:
они, как дымом, смыслами пропахли,
в крови идея, в лимфе и в поту.

А завтра им опять на боевое.
Они спокойны, спинами прямы.
И слушают любимое – про Зою.
Их взвод. Их полк. Их «тьмы, и тьмы, и тьмы».

Позывной Цезарь (письмо русскому другу)

Нынче ветрено, мороз московский врезал:
к выходным зима пришла, не соврала.
Ставят ёлки. А у вас, братишка Цезарь,
что за день, число какое, как дела?

Лёг ли снег на плюш песчаной лесополки?
Хорошо ли видно недруга в прицел?
Повезло вам, ибо сосны – тоже ёлки.
Вот подарок бы, дай бог, не прилетел.

Знаю, знаю: если сунется – собьёте.
На душе тепло ли, горло не болит?
Я отсюда чую: жёг сегодня в роте,
ты же, брат, не просто Цезарь – замполит.

Смотришь гордо – мол, призвание такое.
Парни слушают, как службу: гладь да тишь.
Русский воин, сердце жаркое мужское.
Ты пришёл, увидел... Значит, победишь.

Про столицу ты спросил меня без толку.
Что ответить? Разве слышно из Москвы.
А столица нынче в вашей лесополке.
Соль земли российской, Цезарь, – это вы.

Позывной Тихон

Дали имя негромкое,
чтоб и сам не охрип.

И глаза оленёнка, и
губ искусный изгиб.

И щетины норовистой –
аккурат к двадцати.
Столько веры и совести –
что с трудом унести.

Автомат укороченный
дали, броник и шлем,
всю его Белгородчину
и Россию – совсем.

Много было отмерено:
боевое, обстрел.
И ни дома, ни дерева,
ни дитя не успел.

Сосны хвою молитвами
сыплют с битых вершин.
То ли Тихона кликнули,
то ли мнится в тиши.

Тянет список: отмечено
мало жизненных дел.
Только встал за Отечество.
Тихо-тихо успел.

* * *

Да он хотел-то, собственно, того же:
на вайбе в клуб, а после десяти
идти с девчонкой, на твою похожей,
и ровно те же глупости нести.

И чтобы забурлил бульвар осенний
и не кончался, сколько ни ходи.
А впереди суббота с воскресеньем.
И жизнь большая тоже впереди.

И в мыслях не бывало чернозёма,
покрытого неровным слоем тел.
Обугленных руин до окоёма
он не хотел. Смертельно не хотел

детей и стариков искать в подвалах,
ничком валиться в хляби ноября.
Чтоб матушка Россия устояла.
Чтоб защитить какого-то тебя.

Здесь точка. Без морали неподъёмной.
Душа – потёмки, завтра – чистый лист.
Но вспомни. Поутру однажды вспомни.
И за него, как можешь, помолись.

Захару Прилепину. 6 мая

Никаких мотиваций.
По Христовому войску приказ.
Это больно – рождаться
на свет во второй раз,

травы трогая плотью –
непослушной теперь и кривой.
Кто-то в двери колотит.
Пустите его: свой.

Дым. Зрачки запотели.
Там свои или всё-таки тут.
Что до света в тоннеле –
не видно ни зги – врут.

Слепо выбрел обратно –
вроде чьей-то молитвой ведом.
Как же страшно – без брата
в остывший войти дом.

Сколь бы щедро ни тратил
эту жизнь, а зачем-то не смолк –
говорят, чтоб за братьев
по чести отдать долг.

Что детей не хотел он,
говорят, оставлять и собак,
незаконченным – дело.
Но нет, не совсем так.

По Христовой дружине
был приказ или добрая весть:
«Смерть отставить, мой сыне».
Ответил солдат: «Есть!»

* * *

Это степь раскололась – арбуз переспелый,
нежить вылезла погулять.
И в купянской купели вода закипела.
Входим. Входим в неё опять.

Разбавляем кипящую кровью и потом,
чтоб не сладко, не недосол.
Вражий лоб разбиваем о нашу пехоту,
и осколки летят в Оскол.

О мешок огневой обжигаем ладони,
гарь и сера – не сделать вдох.
В этот раз мы, братишка, мешок не уроним.
Верит Родина. Видит Бог.

Вяжем узел речной – берег с берегом, туже.
С неба снег, а под небом гром.
...Только встретить бы, Господи, женщину ту же,
что простила нас в двадцать втором.

* * *

Столько было в нём прыти.
Первородный, старшой.
Не учился ходить он –
просто встал и пошёл.

Засмеялся в коляске
он впервые на Спас.
Утро выдалось ясным,
помню – словно сейчас.

Нежный бархат на щёчках –
кровь моя с молоком.
Вырос ласковым очень.
Не курил бы тайком...»

...Говорила сквозь морок.
Каменело лицо.
Как мучительно зорок
вражий дрон над бойцом –

зафиксировал смерти
ровно десять минут.
Всё. Уставшие дети
наконец отдохнут.

Смежить веки не в силах,
смяла сердце в горсти.
Не сдаваться учила.
Он не смог подвести.

* * *

Пропитанный духом яблочным
сентябрь в городском саду.
И листья на старых лавочках
под солнцем лежат в меду.

Охряные утки дикие,
стеная во всю гортань,
людей на пруду закликали.
Пустынно в такую рань.

Парнишка скрипит качелями.
Надежда родной земли.
Из ада. На излечении.
Казённые костыли

валяются у песочницы.
И боль отступила чуть.
И запахов мирных хочется
побольше в себя втянуть,

и, смогом умывшись уличным,
взлететь над своей Москвой.
И крикнуть оттуда уточкам
о том, что живой. Живой.

* * *

Потом вздыхали: эта, мол, война
была начаться раньше бы должна.
А началась примерно с середины.
И эхом обогнула шар земной.
Войну поменьше вскинула волной,
с войной побольше слившись воедино.

На мире время лжёт и на войне.
Оно проходит медленней вдвойне,
когда братишка, сам уже контужен,
ползёт вторые сутки за тобой.
А ты лежишь с оторванной стопой.
Точнее – без неё. И пьёшь из лужи.

Бывает, время, будто человек,
опасливо срывается на бег,
чурается знакомства с вражьей птицей.
Понять легко: торопится в подвал.
Ты тоже птицу подлюю не звал.
Но даже не успел пошевелиться.

Так время в ощущении дано.
Какое настоящее оно –
прознал бы замполит, не дал бы спуску.
Но знают те, которых тут не счесть:
в России быть солдатом – это честь,
и Бог давным-давно владеет русским.

Здесь только те, кому простил Он долг.
Звенит в ушах – зато Утёс умолк.
Не лечит время. Да и учит мало.
Похоже, оттолкнулись ото дна.
Мы победим. Закончится война.
Закончится. И это лишь начало.

Сергей СТЕПАНОВ-ПРОШЕЛЬЦЕВ

Родился в поселке Сузун Новосибирской области. Окончил истфак Ставропольского пединститута. Жил на северном Кавказе, в Казахстане, Латвии, Белгороде, на севере Пермского края. Работал журналистом в различных изданиях.

Стихи и проза публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Звезда», «Аврора», «Смена», «Студенческий меридиан» и других. Издал свыше 50 книг разной тематики.

Живёт в Нижнем Новгороде.

ЛОКАТОР ДУШИ

* * *

Свет утра расплывчат и жидок,
он льётся по белым холмам.
Холодные губы снежинок
к моим прикоснутся губам.

Мы так же всё время рискуем
растаять в редющей мгле,
прощальным скрепив поцелуем
любовь нашу к этой земле.

* * *

Из другого времени
колкий этот иней.
Четкость геометрии
чёрно-белых линий.

Бал бескрайней полночи.
Снега пелерина.
Лист последний кружится,
словно балерина.

Ветер юго-западный
дует, негодуя...
Слышишь эту музыку,
музыку ночную?

Слышишь, эта музыка
овдовевшей птицей,
зимовать оставшейся,
в дверь твою стучится

и глядит, бездомная,
сквозь седую заметь
белыми, безумными
лунными глазами?

* * *

Вчера ещё вьюга шумела,
а нынче капель во дворе...
Какое напрасное дело –
писать о зиме в декабре!

Пусть стилем владеешь ты ловко
и можешь, конечно, блеснуть,
прекрасна твоя зарисовка,
но нету в ней правды ничуть.

Сюжетная схема зависла,
ты лучше пока не спеши.
Не видишь глубинного смысла?
Но есть ведь локатор души.

И ты угадаешь по звуку,
где правда таится, где ложь,
во всём, если радость и муку
свои и чужие поймёшь.

* * *

Белое поле, заснеженный лес,
фея седая плетет кружева.
Сколько ты вмиг сотворила чудес!
Сколько вокруг твоего волшебства!

Дерева ствол затвердел, словно сталь.
Сколько богатства имеет январь:
нежный фарфор и прозрачный хрусталь,
матово-белый, молочный янтарь!

Молча иду среди тихих аллей,
на бриллианты гляжу не дыша.
Только озябшему сердцу милей
нищего марта живая душа.

Вороны тоже поют

На солнце тает матёрый лёд.
Январь бузит, как жиган.
А за окном ворона поёт –
вот уж не ожидал.

Но слышу я из вороньих уст,
что я во многом неправ,

что всё смешалось и мир наш пуст,
как мой карман – он дыряв.

И пусть не уста у неё, а клюв,
мне больше невоготу,
когда мы несёмся в какой-то люк,
в беззвёздную пустоту.

Понять бы, да понять не дано,
что нам уже не спастись,
и наша жизнь – лишь намёк, манок,
чем увлекают птиц.

Остынет Солнце, не будет нас,
когда-то погибнем мы.
Но вот ворона поёт... Весна,
весна посреди зимы.

* * *

Снег напал – до колен,
нет метелям укрощенья.
Как алмазное кольцо,
ледяное украшеньё.

Приумерь широкий шаг,
посмотри – тебе не снится:
с веток сыплется куржак –
рукоделье кружевницы.

И, хмельная, как весна,
в небе облачность убавив,
наплывает тишина,
словно речка голубая.

И спасёт тебя опять
от сердечного недуга
то умение молчать
понимающего друга.

Ирина КИТОВА

Родилась в 1977 году в г. Камышине Волгоградской области, школьное детство прошло в Латвии. Окончила Саратовскую государственную академию права, юрист, государственный служащий, работает в суде. Автор трёх поэтических сборников и книги стихов для детей.

Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Алтай», «Волга – XXI век», «Сура», «Дрон», «Формаслов», «Северо-Муйские огни», «Перископ», «Звонница» и других изданиях. Лауреат литературных конкурсов «Хрустальный родник», «Русский Гофман».

Член Союза писателей России. Живёт в р. п. Базарный Карабулак Саратовской области.

ВРЕМЕНА

* * *

...И дым Отечества нам сладок и приятен!

А.С. Грибоедов

А было ли? В окошке – облака,
кирпичная стена многоэтажки...
И выводила детская рука
слова простые, и без промокашки
не обходилась школьная тетрадь,
как форма – без звезды пятиконечной.
По лозунгам учились мы читать
и русскую мирить с латышской речью.

А было ли? Подруга... нет – сестра,
и Цой живой, и ветер переменный,
горелая картошка у костра,
и первое моё стихотворение,
и поплавок, забытый в камышах,
и у страны одно большое имя.
А жалоба, что зрела в латышах,
окурена смородиновым дымом...

Прощался век, он детство сдал в багаж –
и так рыдал со мной на верхней полке! –
и числится оно среди пропаж
на том пути от Балтики до Волги.
Но полустанок встретил чем богат:
крапивой ошетинились откосы.
Что взять с меня? Латышский аттестат,
славянские соломенные косы...

Саратовские тихие сады –
тут шапки гнёзд весной грачами свиты.
И сладок мне смородиновый дым,
и память есть, и станция закрыта.

Яковичи*

*Моей бабушке
Елизавете Ипполитовне Шарай*

То ли расставанье, то ли встреча...
Деревенька эта недалече,
мне найти калитку повезло.
Тишиной проявленная милость –
словно время тут остановилось
и корнями в землю проросло.
А всего-то жизнь. Такая малость...
От избы и камня не осталось.
А, кажись, рожали в ней детей.
Доживать в саду недолго сливам –
чёрным, пустотелым, молчаливым.
У июля нет иных затей,
как пустить туман к сухому логу,
проливая вечную тревогу
на нестойкий мятликовый зной,
и ползти по вспененному склону
к земляным полкам Наполеона –
к черепам, присыпанным землёй.
Тут всегда выкапывали кости
в огородной слипшейся коросте
на забаву местной ребятне –
не серчайте, хлопцы и девчата,
ваши отлучённые внучата
все сейчас расплакались во мне.
То ли расставанье, то ли встреча...
Деревенька эта недалече.
Вот уже от сердца отлегло.
На твои погосты оглянусь я...
А на старой крыше белый бусел**
век рождённый ставит на крыло.

Бабка

Там, где злой петух орёт,
где орда бездомных кошек,
бабка тихая живёт,
пьёт чай и расторопшу.
Суп и каша – на плите.
Фартук чистый, лоб крещёный.

* Деревня в Молодеченском районе Минской области Республики Беларусь.

** Бусел – аист (бел.).

Кошки глупые и те
не достали до печёнок:
тридцать пришлых, три своих...
Говорят, она безумна!
А она, завидя их,
улыбается беззубо,
кормит супом на обед,
над судьбой кошачьей плачет.
Покупает «Китикет»,
леденцы – себе – на сдачу.
А хондроз – так задарма.
И бессонье – по привычке.
Точат мыши закрома...
Лишь бы были соль и спички.
А услышит в небе вой –
гул такой, аж черти пляшут! –
осенит себя рукой
и носки из шерсти вяжет:
тридцать – чьим-то, три – своим.
Всех сынков помилуй, Боже...
С тишиной поговорит
и в носок молитву вложит.
Там не кружит вороньё –
только шорохи и кошки.
На морщинистой ладошке
девять жизней у неё.

Не жена

Как хорошо, наверное, быть женой:
окна затеплить свечкою слюдяной
и, положив головушку на плечо,
слушать, как жар по венам тугим течёт,

видеть, как в щели мается паучок...
Господи, что же надобно мне ещё?
Кто-то починит кровлю, растопит печь.
Кто-то другой захочет меня беречь.

...Только иду отчаянно, наугад
девять военных месяцев, сотни гроз
я по следам того, у кого приклад
если и дрогнул – крепче к плечу прирос.

Слышишь, война-старуха, его не трожь!
Месяц десятый, в жёны меня возьмёшь?..

Времена

Хорошо, когда у каждого – дом,
с пыльным фикусом и сытым котом.

Это то, что понимаешь потом
навсегда.

Дышит облаком, а стены – гранит.
Обнимая, дом с тобой говорит,
если ноющее сердце кровит,
вот беда...

Этот ветер пустословий и лжи
просквозил зачем твои этажи?
Не тужи, воды сырой одолжи –
на ведро:

отмолю-отмою ветхий уют,
пусть на сердце сквозняки заживут,
пусть разлуки не печалят, не жгут
под ребром.

Помнишь, дом, мужей моих имена?
Я прощаю их. Текут времена...
И неведомо, что завтра война
принесёт.

И спасаясь от соседской хулы, –
пожалеть твои пустые углы.
Просто верить. Просто вымыть полы
и всё.

Андрей МАЛАХОВ

Родился в 1967 году в Нижнем Тагиле, Свердловская область. Окончил Свердловский архитектурный институт, служил в армии. Второе высшее образование получил в Российской школе частного права при Президенте Российской Федерации. Работал в Екатеринбурге, Перми и Уральском федеральном округе в области управления.

Окончил несколько курсов в литературной мастерской Creative Writing School (CWS). Публиковался в журналах «Пашня», «Юность».

Живет в Москве.

РОМАШКИ

Есть у меня хороший знакомый. Учились в школе в параллельных классах. Сейчас работает у нас в Екатеринбурге в областной власти. Константином зовут. Мы с ним не то чтобы дружим, так – партнёрствуем. Не люблю слово «бизнес». В пятницу утром девятнадцатого ноября Константин позвонил мне и попросил подъехать, встретиться в маленьком кафе недалеко от его работы. «Обычная встреча, поговорим по делам, – сказал он. – Но есть один вопрос, который не хотелось бы откладывать на выходные».

Когда я зашёл, Константин уже ждал меня. Он сидел в полумраке тесного плохо освещенного кафе за угловым столиком и крутил в руках новенькую курительную трубку. Эту трубку подарили ему неделю назад коллеги по работе. Вручил при всех непосредственный начальник. С тех пор Константин всегда носил её с собой в портфеле и доставал при каждом удобном случае.

Мы попили чаю, потрепались ни о чём. И когда я уже хотел спросить, зачем Константин меня позвал, он вдруг завёл разговор о моём друге:

– Как дела у Кости, тёзки моего?

С чего бы ему делами Кости интересоваться? Не знакомы они и не виделись вроде никогда.

– У Кости этого ведь друзья в Ростове, в том, который на Дону? – продолжил Константин. – Серьёзные люди. Ты сам говорил.

Я и не помнил уже, когда я ему и что рассказывал про Ростов и моего товарища Костю. Но раз говорит, значит, было.

– Есть у одного серьёзного человека просьба по Ростову, – продолжил Константин. – Очень надо. Не про деньги вопрос. Доброе дело надо сделать. Как думаешь, сможет выручить?

– Выручить... – я слегка потерялся от такого напора. – Надо звонить Косте, узнавать. Подробности есть какие-то?

– Позвони. Подробности после. Говорю же – доброе дело.

Доброе дело... Никогда мы с Константином «добрые дела» не обсуждали. Странная просьба. Но я всё-таки набрал Костю. Тот Костя сразу ответил, что всегда готов помочь другу и в Ростове у него «всё хорошо».

– Буквально вчера с ними разговаривал. На футбол приглашали. Но в Москву, не в Ростов. Двадцать пятого. У них сейчас в «Спартаке» сильные позиции. Матч отличный. Еврокубки. Ложа. Все дела. А чего в Ростове надо-то?

– Чего надо, спрашивает, – передал я Костин вопрос Константину. – Что-то тебе пояснить всё-таки придётся.

Константин сделал небольшую паузу, сощурил глаза в дорогих очках. Отложил трубку, погладил чёрную стриженую бороду. Смотрел на меня, подбирая слова. Чиновник.

– Ну, – поторопил я. – Человек ждёт.

– Че-ло-век, – повторил Константин. – Во-от, – он снял очки. Проморгался. – Вот человека и надо найти. В Ростове, – продолжил Константин. – Парня одного. Место его там плюс-минус известно. Так что...

– Подожди, – перебил я и передал суть Косте.

Тот сказал, что тема малопонятна. В любом случае надо самим ехать. Поразмышлял о том, почему бы и не прокатиться. Развеемся.

– Слушай... – Костя как будто что-то решил. – Точно. Давай съездим! Только через Москву. На футбол сходим. Мне одному лететь не охота, а в компании веселее. Потом сразу в Ростов. По-другому никак, – подытожил Костя и пропал из эфира.

– Ты подробности обещал рассказать, – напомнил я Константину.

– Подробности тебе другой человек расскажет. Можно прямо сейчас. Семён Семёнович – зам председателя правительства по социальным вопросам, – Константин быстро посмотрел на меня. Оценил, произвела ли на меня должное впечатление его последняя фраза. – Человек он влиятельный. Ресурсный. Мы ему поможем, потом он нам чем-нибудь. Так всё работает, ты же знаешь. В общем, он звонка ждёт.

Через полчаса мы с Константином вошли в приёмную на шестнадцатом этаже нашего областного Дома правительства. Ждали встречи. Сначала пригласили Константина, минут через пять меня. В глубине просторного помещения за начальственным столом сидел пожилой человек и быстрыми движениями перебирал бумаги.

– Сейчас, сейчас, – приговаривал Семён Семёнович. Затем поднял удивлённые глаза, указал ладонью на небольшой приставной столик: мол, чего стоите, садитесь уже. Молча кивнул вместо приветствия и продолжил своё занятие.

В тишине кабинета было слышно, как шагала стрелка на настенных часах. Кабинет большой, но очень консервативный. Стены отделаны светлым деревом, мебель в тон стенам, качественная, но старая. Видно, что всё это осталось ещё с советских времён. Массивный рабочий стол Семёна Семёновича украшал основательный письменный набор из каслинского чугуна: медвежата с картины художника Шишкина играли вокруг поваленного дерева. Над Семёном Семёновичем висели портреты седовласого президента и губернатора. Наблюдали.

– Нашёл! – Семён Семёнович поднял и показал конверт. – Письмо, – он надел очки, достал и аккуратно развернул двойной тетрадный листок в клеточку. Положил на стол и начал неслышно читать, быстро шевеля губами.

Семёну Семёновичу было под семьдесят. Несмотря на свои годы, он был удивительно энергичным и деятельным. Не зря ему доверили очень серьёзную должность. Многие знали Семён Семеновича ещё по работе главврачом госпиталя для военнослужащих и ветеранов, как очень внимательного и сердобольного человека. От Константина я узнал один факт в его биографии, мало кому известный, но многое в нём объясняющий. Во время войны совсем маленьким мальчиком Семён Семенович был в немецком лагере. И, по словам Константина, даже номерок у него на руке остался с тех времён.

– Не понимаю, – Семён Семёнович посмотрел на нас, положил ладони на стол. – М-да. Стихи. Почти ничего полезного. И странные какие-то. Хотя я в стихах ничего не смыслю. Вот, например, – Семён Семёнович низко склонился над письмом и начал водить указательным пальцем по бумаге. – «На небе синем птиц белый след», – он снова перевёл взгляд на нас, будто ждал пояснений. – «А моя жизнь», – сделал паузу, – «ромашек цвет».

Семён Семёнович откинулся в высоком кожаном кресле, многозначительно повторил:

– Ромашки... – и задумался. Потом повернулся ко мне. – Если хотите, Саша, можете почитать, – он протянул мне письмо. – Но вряд ли это вам сильно поможет.

Я взял листок. Мягкая бумага, явно из старой ученической тетради. С промокашками ещё такие были. Я с ними в школу ходил. Листок вырван из середины. Крупные неряшливые буквы плясали, наскакивая одна на другую.

– Стихи в основном. Сумбур, честное слово, – продолжал Семён Семёнович.

Странное послание. Да, много рифм. Но главное всё-таки изложено нормально – прозой. Из сути можно понять, что письмо написала женщина, которую звали Вера. Она подобрала голодного полуживого «мальчика солдата», который шёл «с плену от бандитов» по железной дороге. Парня зовут Юра. Он попросил написать письмо его матери и сообщить, что он жив и просит мать приехать за ним. Женщина пишет, что начала «сочинять весточку за мальчика, потому что Юра очень просил, а сам был сильно хвор и писать не мог. То в жару, то в ознобе и слабенький совсем», «...сочиняла не скоро, а когда отправляла письмо, он уже и выправляться начал». Не скоро... Не удивительно, стихов столько насочиняла. И что значит: «выправляться»? Выздоровливал?

Я вернул письмо и попросил конверт. Письмо отправлено в деревню под Верхотурьем, что на севере нашей Свердловской области. Обратный адрес меня сильно озадачил. «Ростовская область. Ростов. ЖДБ» – большими почти падающими буквами. И в скобках маленькими: «железнодорожная будка». Дальше слово «разъезд» и номер. Я посмотрел на Семён Семёновича.

– Да, Саша, вот такой «ж/д/б» получается, – понял моё недоумение Семён Семёнович. – Я уточнял у железнодорожников. Обратный адрес корректен. Так они выразились. И это не город Ростов. Но где-то рядом, наверное... Раз она ссылается на этот город. Если бы это был какой-либо населённый пункт – была бы улица, номер дома, – Семён Семёнович поморщился, потёр щеку. – А это «ж/д/б» и «разъезд» с номером означает, что живёт женщина не в населённом пункте, а в этой будке на железной дороге.

– Разъезд и номер... Откуда она знает это? – удивился Константин.

– Для неё эти «ж/д/б», номер и разъезд, как для тебя улица, номер дома и квартира. Да и адрес работы заодно. В чём проблема запомнить? Ты уж про неё совсем плохо не думай, – развёл руками Семён Семёнович. – Одно понятно, что мальчик этот из нашей области, – продолжил он. – И сейчас он где-то около Ростова. Хотя...

– Ну раз адрес точный, – Константин пожал плечами, – может, нам запрос написать в местную милицию. Или военкомат.

– Можно и запрос, – Семён Семёнович тяжело вздохнул. – Сколько он идти будет? Запрос этот. Сколько на него отвечать будут. А сколько искать будут «ж/д/б» эту? И будут ли? Формально отпишутся, и всё, – Семён Семёнович снова взял письмо, положил перед нами и постучал по нему пальцем. – Письмо это пришло к его матери в деревню. Мать в больнице. Состояние тяжёлое. Если честно, плохо там всё. Я узнавал. Нет у нас времени ждать. Если получится быстро привезти, может, успеет с матерью попрощаться.

– А к нам оно как попало? – поинтересовался Константин.

– Соседи отнесли письмо местным районным властям, те нам переслали. Матери не стали показывать. Может, и правильно. Если бы не болезнь матери, письмо к нам вряд ли бы попало... Теперь всё официально. Теперь мы не можем не реагировать. Да и просто, по-человечески, мальчика, если он существует, конечно, надо бы найти и привезти, – как будто убеждал нас Семён Семёнович.

Я вернул конверт.

– Может, конечно, вообще это чей-то бред. В моей практике такое... – продолжал думать вслух Семён Семёнович. – Но необходимо проверить.

– А чего он к тётке к этой пошёл? Почему он к военным не обратился? Или, ну не знаю, в милицию или фээсбэшникам? Там много всяких специальных служб! – вмешался Константин.

– Хороший вопрос. Кто его знает? – вздохнул Семён Семёнович. – Может, что-то мешает. Или кто-то. Или боится чего-то, кого-то. Да и документов у него, скорее всего, никаких нет. Это же огромная проблема. Бумаги должны быть соответствующие. Документы. Без них...

Семён Семёнович замолчал. Наступила тишина. Я опять прислушался, как цокают часы на стене. Семён Семёнович внимательно посмотрел на меня.

– Вы помогите, Саша, пожалуйста. Найдёте парня – отметим вас благодарственной грамотой от губернатора, – Семён Семёнович сделал загадочный вид. Не поймёшь, то ли шутит, то ли серьёзно. Но потом вдруг улыбнулся, хлопнул ладонью по столу. – Что мы ещё можем?

Я молчал. А чего на это скажешь? Потом кивнул.

– Купите рамку в магазине. Таковую А4 формата. Со стёклышком, – почувствовал моё состояние Семён Семёнович. – Вставьте туда грамоту. Повесите на стену. Это важно. Первое лицо области всё-таки. История.

– Я постараюсь, Семён Семёнович, – сбивчиво заверил я и засобирался. Действительно, чего всякие ненужные вопросы задавать? Я посмотрел на Константина, тот дал мне понять, что остаётся.

Вчерне мне было всё ясно. Смушал только адрес. Будка эта... Как её искать? Хотя это не совсем моя забота. В этом от меня проку мало. Вся надежда на Костиных ростовских друзей...

– Совсем забыл, Саша, – остановил меня уже в дверях Семён Семёнович. – Туда поедет одна моя знакомая. Очень энергичная и дельная женщина. В поисках она вам, конечно, вряд ли поможет, но по жизни – точно

пригодится, – Семён Семёнович вышел из-за стола и направился ко мне. – С военными у неё очень не-пло-хие отношения, – чуть нагнувшись, почти шёпотом добавил он. Потом выпрямился и продолжил в прежнем тоне: – И дела у неё там как раз. Двадцать седьмого она в Ростов прилетит. Вы ей тоже помогите, если что. Людмилой её зовут. Людмилой Петровной, – поправился Семён Семёнович. – Наша она. Из Серова. Но чаще здесь бывает или по стране мотается. Дома у неё... Ну, она вам сама всё расскажет, если захочет, – Семён Семёнович протянул мне большую узкую ладонь.

Надо мной белый, с чуть мерцающим светильником потолок вагона СВ. Стучат колёсные пары. Медленно восстанавливается картина происходящего. Вчера мы с Костей прилетели в Москву, чтобы дальше двигаться в Ростов. В тот, который на Дону.

Костя сидит напротив чуть помятый. Но румянец его всё скрашивает. Румяный он всегда. Природа. Смотрит на меня, покачивается в такт с вагоном, улыбается.

На столике на чистой белой скатёрке открытая бутылка коньяка Nine Rare, пузатые большие рюмки с железнодорожной символикой, тарелка с нарезанным сыром и колбасами. Пучок засыхающих цветов, похожих на маленькие ромашки, в голубой вазе. Два яблока, две бутылки воды. Стаканы. Всё как в ресторане. Когда Костя успел всё так устроить? Нас погрузили в вагон ранним утром, и мы долго еще выпивали. Помню, на столе был бардак. Хотя вспоминаю с трудом. Эпизодами.

– Проводницу попросил помочь, – сообщает Костя. Компанейский парень этот Костя. Может, потому что в детстве пел в хоре. Говорит, что в хоре нужно уметь не только петь, но и слушать. Не знаю, так ли это, но сказал он хорошо. Жизненно. Все мы живём в большом многоголосом хоре. – Продолжим? – Костя подмигивает, кивает на коньяк.

Похмеляться я плохо умею. Вот вода – это, кстати. Я поднимаюсь на локте. Болезненное головокружение. Даже Костя расплывается и отдаляется. Делаю усилие, усаживаюсь за столик. Залпом выпиваю стакан воды. Второй. Пытаюсь убедить себя, что мне полегчало.

– Ты что-нибудь помнишь? – начинает приставать Костя.

Чувствую подвох. А чего там помнить? Полетели в Ростов через Москву. Зачем? Костины приятели предложили. У них имелись шикарные билеты на футбол в Москве. В ложу. Кубок УЕФА. «Спартак» с англичанами из Лидса. От таких предложений не отказываются. Дела всегда подождут, да и пару дней у нас в запасе было. Прилетели из Екатеринбурга часов в двенадцать. Нас встретил в аэропорту большой, лысый, в чёрном длинном пальто. Лёсиком представился. Весёлый парень с южным говорком. Потом гостиница, заселились, попили кофе, перекусили. Потом должны были идти на футбол. Что дальше? Поехали на стадион «Динамо». По дороге Лёсику позвонили, сказали, что матч отменили. Отменили... Да, отменили из-за погоды. Скандал ещё какой-то был. То ли поле не готово, то ли англичанам холодно. Ничего удивительного – двадцать пятое ноября, почти зима. Для Кости отмена матча – сродни трагедии. Скис он сразу. Костя – ярый фанат «Спартака», очень хотел попасть на матч. Я тоже фанат, хотя к «Спартаку» равнодушен – топлю совсем за другую команду. Но еврокубки всех объединяют. В общем, мы очень сильно расстроились. Поэтому поехали в ресторан. Костя всю дорогу молчал. В ресторане крепко выпили. Ситуация сгладилась. Потом перебрались в отель. Дальше снова эпизодами. Состояние уже не позволяло ехать в аэропорт, перспектив

попасть в самолёт не было... Или суетиться было не охота. Решение приняли под рюмку, спонтанное и небесспорное: «добираться до Ростова ближайшим экспрессом по железной дороге».

Поезд притормаживает. За окном вечереет, три серых домика, забор, колодец неторопливо двигаются нам навстречу. Подросток в куртке и спортивной шапке «петушком» идёт вдоль железной дороги в сторону леса. С ним чёрно-белая собака, похожая на лайку, хвост крючком. Кто-то же живёт в этих домиках. Однообразной, размеренной жизнью, совсем не похожей на нашу.

– Жизнь вот так проезжает, как этот поезд. Мимо. И дела им не до чего нет, – Костя тоже смотрит в окно и вторит моим мыслям.

– У всех она своя, жизнь эта. Разная. Так, наверное, и должно быть.

– Да нет уж. Чего они видят? Движуха нужна, чтобы кровь бурлила. А это... – Костя кивнул на окно, – дрёма медвежья.

Поезд постепенно набирает ход, ритмичней и быстрее стуча по рельсам. Пролетают остатки забора, покосившиеся телеграфные столбы, колодец-аист, одинокая раскидистая сосна. Подросток с собакой останавливаются и смотрят на поезд. Тоже исчезают. Теперь за окном серое ноябрьское небо, ровное, без облаков, серо-белый от снега лес. Тоска.

Я, конечно, согласен с Костей. Чего лукавить, житель я городской, уединение и однообразие мне были бы в тягость. Но у меня перед глазами картинка с подростком. Стоит, смотрит. Не знаю, как у Кости, он на три года помладше, а у меня последнее время возникает желание остановиться, посмотреть на свою жизнь со стороны. Как этот паренёк с собакой – на наш поезд. Мне тридцать два, в следующем, двухтысячном году будет тридцать три. Магические цифры. Я их с детства ждал. Всегда думал, что мне очень повезло с годом рождения. Да, было бы неплохо перед такими датами остановиться. Выйти на полустанке, отойти подальше, как в музее, для обозрения монументальной по размерам и смыслам картины, встать и посмотреть на медленно движущийся поезд жизни...

– Так, ты помнишь, что вчера было? – возвращает меня Костя в вагон СВ. – Девчонку хотел с собой взять, – он лыбится. Глумится.

– Куда? – Я ещё не совсем вернулся, я пока на своём полустанке.

– В Ростов.

– Какую девчонку? – бурчу я и тут же вспоминаю. Да, в конце были барышни. Из ресторана в отель вместе приехали. Одна осталась со мной до утра, даже на вокзал хотела ехать. Провожать... – Помню. Была. Я человек холостой, свободный. Что тут такого?

– Да ничего. Вроде ехать с тобой хотела.

Шутейный тон Кости мне совсем не нравится. Хотела, не хотела. Чего об этом?

– Кольцо у неё на большом пальце. На ноге. Ты говорил, – не унимается Костя. – Золотое.

Вспоминаю и кольцо. Девчонка была и правда интересная, с улыбкой объясняла, что кольцо это просто необходимо ей как женщине. Всё повторяла, что веселиться любит. Вот и повеселились. Из Холмогор она. Точно. Светловолосая, скуластая. Красивая по-своему, какой-то скандинавской северной красотой. Про Ломоносова рассказывала.

– Ты сказал, что она в Москву пешком пришла, – Костя уже смеётся. – Зачем ей кольцо на ноге?

Я всё-таки выпиваю глоток коньяка, молчу. Второй. Вроде хорошеет.
– Чего молчишь?

Девчонка мне понравилась. Непосредственная. Искренняя такая. Отдавалась вся. Без позы и показухи. Всё про время наше мне говорила, «нехлопотное». «Поэтому и жизнь усложнять не надо, – как будто уговаривала она, – легко надо жить...» Баюнком меня называла. Это на их «поморской говорё» – сказочник. Язык у них там, в Холмогорах, свой – «говоря» называется, с ударением на второе «о». Так она рассказывала. Конечно, помню её. Я даже зажмурился. Забавная девушка. Руки тянет, гладит. Полные мягкие губы. Да... Веселье.

– Але? Саня. Ты чего замер? Ты помнишь, объяснял мне? Зачем кольцо на ноге?

– Что?

– Кольцо на ноге. На большом пальце? Зачем ей?

– Она говорила что-то про Марс и... это. Страсти и фертильности добавляет, – на автомате повторяю я её слова.

Костя гогочет. Костю уже не остановить.

– И как? Проверил? Добавляет?

Я перевожу разговор на него. Он ведь тоже не один ночь провёл. Но Костя это обсуждать не хочет.

Мы говорим о том, что жизнь несётся быстро и ненатужно. О том, что права холмогорская красавица – время сейчас ненапряжное. Нам так представляется, по крайней мере. Полуголодные и диковатые времена начала девяностых в прошлом, живём и работаем в своё удовольствие. Ничего не давит: хочешь – напрягаешься, хочешь – забиваешь на всё, садишься в самолёт и летишь, куда кошелёк позволяет. А позволяет он уже немало и с каждым годом всё больше. Мы вспоминаем нашу совместную поездку в Италию, где мы, возвращаясь из Флоренции, заблудились и до ночи искали маленький отель в предместьях Кортонь.

– Ты хоть помнишь, зачем ты меня в Ростов позвал? – говорит мне Костя, насупив брови.

Помню, конечно. Нам нужно найти человека, парня одного. Как в кино. Он где-то в Ростовской области. Костин местный приятель Николай должен помочь...

– На сколько приехали, Костя? – Николай широко улыбается. И это не фигура речи. Всё лицо его улыбается.

Мы в Ростове, в ресторане. Как сказали ростовские – в лучшем.

– На три дня. Больше не можем. Дела, сам понимаешь, – Костя разводит руками. – Извини. Москва, да и в поезде больше суток потеряли. На хрена мы вообще в него сели?..

– Три дня, – глаза у Николая моментально становятся серьёзными. – Нет, парни. За три дня – маловероятно. Адрес какой-то странный. Где и как мы его искать будем? Пацаны, конечно, всех поднимут и всё перевернут. Это я вам обещаю. Но... – Николай поджимает губы и скептически крутит головой. – Информации почти нет. Костя ничего толком не сказал. Какая-то железнодорожная будка. Что за пассажир, и откуда он к нам свалился?

– Пассажир. По шпалам пришёл этот пассажир. Стрелочница какая-то его подобрала и... – произносит быстро Костя и почему-то обрывает фразу.

– По шпалам? Стрелочница? – видно, что Николай не совсем понимает. – Это феня ваша уральская такая? – Николай возвращает улыбку. – Он вам должен?

Почему Костя сразу не рассказал обо всём? И сейчас разговор куда-то не туда валится. «По шпалам». Похоже, так и пришёл. Я представляю железную дорогу в степи. Высокое выбеленное от зноя небо. Маленькие точки птиц высоко. По железной дороге бредёт человек в изношенной, выцветшей военной форме без опознавательных знаков. Совсем ещё юный, с обожжённым солнцем исхудавшим лицом. Идёт тяжело. Спотыкается... Но это всё я сам себе напридумывал. Как оно там было на самом деле? И было ли?

– Нет, – Костя конфузится. – Стрелочница с железной дороги. В смысле – профессия такая. Не блатная...

– Точно? – Николай пытается сдержаться, но смеётся.

– Стрелочница она. Настоящая. Правда, – вставляю я, пытаюсь, как могу, помочь Косте. – Их же немного, этих стрелочниц?

– Стрелочниц... Вы в Ростове, тут всего много, – отшучивается Николай. – Маневровые районы, перегоны... Адрес? Где искать? Хорошо хоть имя есть.

Николай говорит не спеша и негромко. Но доходчиво. Бывают люди, которым хочется доверять и верить. Люди, располагающие к себе и задающие тон в компании. Николай из таких. Я его вижу в первый раз, но вот уверен, что он найдёт. Сделает всё как надо и найдёт.

Костя рассказывал, что Николай – бывший офицер, и выправка офицерская до сих пор видна в его высокой фигуре. По специальности он системщик-оператор летательных аппаратов, если я всё правильно понял. Когда-то приехал в Ростов из Ворошиловграда. Сейчас успешный деловой человек. У Николая и его компаньонов большая алкогольная империя, которая разрослась далеко за пределы Ростова и перешагнула границы страны.

– Завтра поедем. Скажете, в котором часу, и поедем искать.

В котором часу. Редко, кто так говорит. Вообще Николай представляется мне образованным и деликатным человеком. К тому же не пьёт и не курит. Положительный, в общем. Хоть сейчас в журнал или в телевизор.

– А пока – Ростов, – продолжает Николай. – Главное у нас кухня. Без вариантов – лучшая в мире. Сейчас всё будет. Первое дело – рыба донская. Рыбец, шамайка. Пробовал? – обращается Николай ко мне.

Я отрицательно мотаю головой.

– Несчастный человек, – Николай подмигивает Косте.

Через несколько минут приходят два официанта, приносят водку в графине, две рюмки и тарелку рыбных закусок, чёрный хлеб и чайный набор для Николая. Костя с Николаем болтают, делятся новостями об общих знакомых. Настроение благостное. Весело играют полублатные мелодии, соблазнительно пахнет солёной, подкопчённой рыбой, луком и ржаным свежим хлебом. Николай вспоминает обо мне, настаивает, что надо обязательно посмотреть город, на Левбердон съездить. Без этого, говорит, мой приезд в Ростов теряет всякий смысл.

– Можешь считать, что и не приезжал вовсе, – категоричен Николай.

– А река... – пытаюсь я поддержать разговор.

– Можно было бы и по Дону пройтись. – продолжает он. – Но сезон не тот. Холодно. Скверно на реке...

К столику подходит небольшого роста крепкий парень в короткой куртке и спортивном костюме. Что-то говорит Николаю.

– Выясни, – жёстко бросает Николай парню. Но улыбка при нём.

Парень кивает и уходит.

– Что-то случилось? – спрашивает Костя.

– Да вроде нет, – улыбается Николай.

Он продолжает рассказывать о Левбердоне. О том, что Ростов – это правобережный город. А вот Левбердон – это левый берег. Что правый берег это – Европа, а левый – уже Азия. И удивительно, что граница...

Парень возвращается и уже обстоятельно что-то рассказывает Николаю. Говорит нам неслышно и совсем без эмоций. Только руками активно жестикулирует.

– Ты считаешь, что надо? – улыбка сходит с лица Николая.

– Надо. Точняк, – говорит парень уже громче. – Я с пацанами перетёр. Всё будет по-взрослому.

Николай снова возвращает улыбку.

– Нам надо уходить. Сейчас здесь может стать не совсем комфортно, – обращается к нам Николай и разводит руками: – Мои говорят, что ребята собираются отношения выяснять. Может быть громко. С пальбой и ОМОНОм. Или хотите поучаствовать?

– Как скажешь, – вздыхает Костя. – Командуй.

– Вообще-то у нас город приличный. Но бывают инциденты. Ростовский колорит. Тогда едем сразу на Левбердон! Чего откладывать?

Мы быстро встаём и направляемся к выходу. Парень в спортивном костюме идёт рядом с Николаем. По дороге Николай даёт парню поручения. До меня несколько раз доносятся слова «паренёк» и «стрелочница».

Вечер, солнце неспешно катится за город. На небе редкие размытые облака. Мы едем на Левбердон.

По дороге я пытаюсь привести свои мысли в порядок. Пока Костя с Николаем беседуют на задних сиденьях автомобиля, я погружаюсь в воспоминания и кручу свои картинки. Сегодня двадцать седьмое. Через несколько часов у меня встреча с Людмилой Петровной. «Дельной женщиной», как её представил Семён Семёнович, которая впоследствии может нам «очень пригодиться». Чем? Время покажет. А пока это мне надо её выслушать и попытаться помочь, если такая необходимость возникнет. Сейчас она, судя по всему, ещё в самолёте. По договорённости перезвонит, как только приземлится...

Я смотрю на эту «дельную женщину» – Людмилу Петровну. Не молодая, но и не старая. Полная. Седая вся. Глаза у неё светятся какой-то настойчивой участливостью. Хорошие такие глаза, веришь им. Заметно, что она устала после перелёта, но присутствия духа не теряет. Шутит даже. Говорит, что она, как большой политик, прилетела не одна. С ней ещё «двое ребят». Улыбается: «Парень и девочка». Просит помочь с машиной. Людмила Петровна сообщает, что у нас с ней завтра много работы. Так и говорит: «У нас с вами, Саша, завтра много работы». Я слушаю и не понимаю, почему это «у нас» завтра много работы. Я ей зачем? Но мне уже ясно, что завтрашняя культурная программа отменяется. Звоню Косте, передаю просьбу. Он говорит, что машина будет, и обещает спуститься из номера в холл гостиницы.

«Парень и девочка» появляются через минут десять. Садятся за соседний столик. В «девочке» я узнаю журналистку нашего екатеринбургского телеканала – телеведущую. Парня не знаю. И не удивительно, он, похоже, не из тех, кто светится на экране. Технарь, наверное. Весь в чёрном: джинсы, куртка расстёгнута, под ней футболка с надписью

Nirvana. Коротко стрижен, на голове чёрный берет. Серьга в ухе – в общем, креативный парень.

– Подождите, пожалуйста, – Людмила Петровна встаёт и пересаживается к журналистам.

Всё. Простых туристических будней без напряжения в Ростове не получится. Скорее всего, сейчас начнётся суeta. И так до конца поездки. Предчувствие у меня такое. Но я обещал во всём помочь. Чего теперь?

Людмила Петровна на удивление быстро возвращается. Снова извиняется. Потом мы повторно сверяем завтрашние планы. Людмила Петровна рассказывает, что ей удалось договориться об уникальных съёмках на одном объекте. Говорит, что было совсем не просто, но как ей кажется, съёмки эти важны. Слова её пролетают мимо меня. Мне они совсем не интересны. Но вид у меня серьёзен. Я заказываю нам чай. Людмила Петровна несколько раз повторяет, что очень рассчитывает на меня. Почему? Мне непонятно, но я не спрашиваю. Я узнаю, что завтра с самого утра мы выезжаем. Людмила Петровна будет «занята с руководством», а мне необходимо сопроводить журналистов.

– Вы совсем не задаёте вопросов, Саша, – удивлённо констатирует Людмила Петровна. – Если что-то у ребят не будет получаться, помогите, пожалуйста. Хорошо?

Я молча киваю. А чего вопросы задавать? Что это изменит? Дед всегда говорил мне: «Если решил пособить – делай и не рассуждай. Или изначально не соглашайся».

– Сколько вам лет, Саша? – продолжает Людмила Петровна, с улыбкой смотрит на меня. Глаза у неё... Я не могу избавиться от ощущения, что она спрашивает, не помочь ли мне.

– Тридцать два, – отвечаю.

Людмила Петровна роется в своей старенькой, потёртой уже сумочке. Достает футляр, маленький блокнот и ручку. Открывает футляр, надевает очки, что-то быстро записывает. Внимательно смотрит на меня.

– Саша, вы ведь не женаты? И детей нет? Мне так кажется.

– Не женат, – от неожиданности я даже растерялся. Какое ей дело?

– Плохо, – Людмила Петровна убирает блокнот. – Нельзя так, – как бы между прочим говорит она и улыбается.

Зачем она со мной такие разговоры заводит? Я вроде повода не давал. Что со мной не так? Неловко даже. Хочется в зеркало посмотреться.

– У вас тепла много нерастраченного. Это видно, – поясняет мне Людмила Петровна. Продолжает улыбаться.

Я не знаю, что ответить.

– Делиться надо. Теплом своим... И прирастать родными людьми. В пустом доме холодно. Одиноко и холодно. Тёплых людей должно быть много. Иначе мир замёрзнет.

Я продолжаю молчать. Официант приносит пузатый фарфоровый чайник и две чашки. Разливает. За столиком аромат чабреца и мяты.

– Семён Семёнович удивился, что вы согласились помочь. А я смо-
тру на вас – и мне совсем не удивительно. Вы письмо этой женщины читали? – мне кажется, Людмила Петровна понимает моё состояние и меняет тему.

– Читал.

– И что вы думаете?

Чего мне думать? «С плену от бандитов» пришёл. Там же написано.

А почему я согласился поехать? Есть вопросы, которые ставят в тупик. Попросили, и поехал. Вот Костя сказал бы на это, что я не умею

отказывать. Навык у меня этот хромает, и мне обязательно необходимо над этим работать. Костя считает, неумение отказать может даже разрушить человека. Любит Костя иногда драматизировать и поучать.

– Вы же сами читали – вроде из плена бежал парень. В письме так написано. А что там на самом деле, кто знает? Может, вообще из части сбежал, – отвечаю я и уже с интересом ожидаю, куда дальше поведёт разговор Людмила Петровна. – И вообще, что там в письме правда, а что...

– Мальчик там наш, – эмоционально отрезает Людмила Петровна. – Натерпелся.

Я разливаю чай. Как-то за разговором забыл про него. Чай перестоял, уже почти чёрный. Теперь будет горчить...

– С Кавказа он сбежал от этих, – продолжает Людмила Петровна. – Там сейчас всякой нечисти со всего мира. Я письму верю. Чудеса всякие случаются. Время сейчас такое.

– Какое время?

– Война, – удивлённо и опять с сожалением смотрит на меня Людмила Петровна, как будто я не знаю того, о чём всем известно. – Война. Всё перемешала...

Про контртеррористическую операцию в Чечне и Дагестане я, конечно, в курсе. Всё понимаю и всегда готов помочь, чем могу. Но пока меня никто ни о чём конкретном не просит, и операция эта где-то эхом проходит. Я далеко.

Хотя ещё несколько месяцев назад дома рушились от террористов. Дежурили даже тогда по ночам у подъездов. Жутковато вспоминать. Сейчас уже кажется, что ушло это. Безвозвратно. Всем хочется в это верить...

Про дезертирство я просто так брякнул. Сам впервые задумался на эту тему. Может, и зря сказал. Видно, что это не понравилось моей собеседнице. Но последнее слово Людмилы Петровны меня прямо встрянуло. Война. Для меня это слово совсем из другой жизни, на другой планете, по иной орбите летает. А она произнесла его, как будто давно и многое знает о нём. Живёт им.

То, что сейчас гремит, в моем представлении это не война... Это гремит далеко. И привыкли мы, похоже, к тому, к чему, как казалось, привыкнуть невозможно. Как привыкают к сильной грозе. Небо расколото ослепительными трещинами, грохочет. Страшно. Иногда даже, может, кто-то гибнет. Может, даже знакомый тебе человек. Стихия, так бывает, и ничего с этим не поделать...

Раньше всё было ясно – если война, все в строй. И сейчас большинство с этим согласны. Но сегодня строя нет, и люди разбредаются по своим делам. А их у каждого...

Я никогда не был на войне. И слава богу. Даже представить её себе не могу. Разве что по книгам и кино. Мальчишками в детстве играли. Но в армии, когда я служил во второй половине восьмидесятых, я навсегда усвоил, что это как минимум тяжело. И это не игры совсем, когда твой Т-55 встал, мороз минус сорок пять, пальцы прилипают к металлу и ночевать приходится в палатке. Когда бельё со вшами. Но всё это даже близко не то слово, которое произнесла Людмила Петровна. Одно дело в армии до дембеля потерпеть. Не смертельно. А другое...

– Добрый вечер, – появляется Костя. Румяный, улыбающийся Костя. Очень реальный Костя. И он совсем не про войну, мысленно отмахиваясь я. Да и мы тут чай душистый с чабрецом и мятой пьем...

Я знакомлю Костю с Людмилой Петровной. Костя почти ультимативно сообщает, что нас с ним ждёт машина и наши ростовские «коллеги». Я ничего не понимаю, но по инерции встаю, извиняюсь, и мы с Костей направляемся к выходу из гостиницы.

Мы садимся в огромный чёрный Cadillac Escalade, водитель запускает двигатель. Машина вздрагивает, срывается с места, салон ревёт гитарами ZZ Top. Грохочет Can't Stop Rockin'. Я слегка шалею. Пытаюсь узнать, что случилось. Музыка шумит, и я с трудом слышу Костю. Говорит, что ему позвонил Николай и попросил приехать. Предложил покататься, поужинать... Чего, мол, в отеле сидеть. Не старики. Мы мчим. Мелькают дома, жёлтые фонари. ZZ Top долбит Delirious. Пересекаем Дон. Он к ночи становится чёрным, тягучим. Луна, растягиваясь, скользит и подпрыгивает по поверхности реки.

Мы опять в Левбердоне, или на Левбердоне. Так, наверное, правильнее. Мы подъезжаем к какому-то заведению. Нас встречает Николай. Ресторанчик скромный. Мы быстро пробуем деликатесы, которые нас уже ждут на столе. Заливаем всё водкой. Потом едем дальше. Потом к нам присоединяются друзья Николая.

Я весь на улыбке. Костя тоже. Мелькают лица, ресторанчики, дома, чьи-то родственники, люди из футбольного «Ростова». Водитель постоянно что-то рассказывает про ZZ Top. Мы его не слышим за хриплым вокалом Билли Гиббонса. Периодически я почти отключаюсь. Меня расталкивают, куда-то ведут. Снова чей-то дом, берег. Иссиня-чёрная, жирная, похожая на нефть река. В ней отражаются костёр и мангал. Приятно пахнет горящими дровами и мясом. Начинается дождь. Снова машина и ZZ Top. Мост, Дон, отель. Не помню, как засыпаю.

Утро. Заунывно, волнами звучит будильник. Медленно одеваюсь, чувствую себя в невесомости, как космонавт. Выплываю из номера, но ещё не до конца проснулся. Снова автомобиль. Загружаю на автопилоте. Вижу сердобольные глаза Людмилы Петровны. Мне слегка неудобно перед ней. Даже не пытаюсь вспомнить вчерашнее. Наблюдаю в окно. Очень солнечно. Задрёмаваю. Машина дёргается.

Открываю глаза. Крашенные ворота со звездой. Серая шершавая стена с красной табличкой: «124 Судебно-медицинская лаборатория». Солнце пропало. Закрываю глаза. Снова открываю. Картинка та же. Заезжаем на территорию.

Людмила Петровна несколько раз мне повторяет, что съёмки согласованы с начальством.

– Придёт сопровождающий, проведёт и всё покажет, – продолжая жалеть меня глазами, говорит Людмила Петровна и уходит.

Мы около серого здания: я и журналисты. Людмила Петровна ушла к руководству. У неё свои дела. Но, конечно, первым делом она сообщит, что мы прибыли и готовы к съёмкам.

Мне вручили чехол с чем-то увесистым. Наверное, штатив. Время ползёт совсем медленно. Территория похожа на обычную воинскую часть. Аккуратные асфальтовые дорожки среди стриженных газонов, крашенные бордюры и ограждения. Вдоль дорожек расставлены плакаты. Вдалеке виднеется плац. Побеленные внизу ровно, как по линейке, деревья тянут голые кривые ветки в небо. Там чёрная туча наехала на солнце. Контур тучи ярко подсвечен, отчего она кажется выпуклой, чем-то надутой. Того и гляди, насыплет. Холодно, но безветренно. Мёрзну.

К нам подходит сержант и что-то говорит журналистам. Мне не слышно. Он представляется мне, сообщает, что будет нас сопровождать, забирает у меня штатив (или не штатив) и ведёт нас в сторону каких-то палаток. У палаток нас останавливает другой солдатик, что-то обсуждает с нашим сопровождающим. Чувствую, что мне надо вмешаться. Но сержант предъявляет часовому необходимую бумагу, и нам дают пройти.

– Я начинаю напротив палатки, потом снимаем внутри, – слышу я голос журналистки.

Пока парень и девушка распаковывают и налаживают своё оборудование, я захожу в палатку. Темно. Быстро осматриваюсь... На мгновение замираю. По инерции делаю шаг назад.

В палатке нары. На них выложены трупы. Упираюсь взглядом в длинное тело на верхнем ярусе в испачканной кровью выцветшей гимнастёрке. Голову не видно – тело на треть накрыто плащ-палаткой. С нар свисает потрескавшаяся от грязи и пыли ступня. На большом пальце бирка. Прячу взгляд вниз. Но вижу ещё одно тело, накрытое плащ-палаткой. Ноги без обуви... Бирка. Я пячусь, выхожу.

– Что там? – спрашивает журналистка. Она уже с микрофоном. И думаю, она знает – что там.

Телеведущая что-то вещает, её коллега снимает. А у меня перед глазами бирка. На ум совсем не к месту приходит дурацкое слово «фертильность». Солдатики, наш сержант и часовой, в стороне курят. Журналисты заходят в палатку.

Проходит минуты три или пять, так мне кажется, – они выходят. «Что-то быстро они», – вырывается у меня вслух. Журналисты копаются с оборудованием, поглядывая в прячущее солнце небо. Снова начинают съёмки у палатки. На этот раз съёмки здесь длятся намного дольше. Затем журналисты собираются зайти в палатку.

Мимо проходит офицер в звании капитана, смотрит на журналистов, останавливается. Затем направляется к ним и, похоже, просит уйти. До меня доносятся обрывки разговора о «договорённостях». Сержант показывает офицеру бумагу. Капитан несколько секунд колеблется, но всё же настаивает, что съёмки необходимо прекратить. Он говорит резко и категорично о том, что времени у журналистов было «предостаточно». Я не вмешиваюсь. Всё это как в кино. Я смотрю в мутный экран. Туча дожирает солнце и начинает сыпать редким снегом. Снежинки крупные, летят почти вертикально. Вообще как-то сумрачно для позднего утра. Меня продолжает знобить. Наверное, выходит ночной алкоголь.

Офицер добивается своего. Мы уходим. Сержант извиняется, что ничего не может сделать. Ну если он не может, то я вряд ли чем-то смог бы помочь. Кто я для этого капитана? Это я так с собой договариваюсь. Сержант ведёт нас дальше, по согласованному маршруту. Мы подходим к одноэтажному зданию. Я приотстаю. Пусть журналисты заходят первыми...

Внутри небольшой коридорчик. Несколько дверей. Вдоль стен скамейки. Темновато. На одной скамейке сидят мужчина и женщина. Рядом стоит девушка. Больше никого. Женщине лет далеко за сорок, в светлом пальто и пуховом берете. Опустила голову, в руках платок. Красное, подпухшее от слёз лицо. Мужчина коротко острижен, виски совсем седые. Худое, почти жёлтое лицо изрезано длинными глубокими морщинами. Он недобро смотрит на нас. Я стою поодаль. Ощущение, что всё это не со мной, не проходит. Девушка рядом с мужчиной и женщиной,

похоже, их дочь. Что-то тихо говорит. Слышно только: «мама, мама». Женщина поднимает голову. У телеведущей всё ещё в руках микрофон. Женщина резко встаёт и направляется к нам. Мужчина удерживает её за руку. «Четыре часа уже ждём. П-понимаете. Четыре! Сколько ж можно...» – женщина громко всхлипывает. Душно. Выхожу из здания.

Глубоко дышу. Открываю рот, ловлю медленно падающие снежинки. Гадкая всё-таки профессия у этих журналист. На хрена они везде лезут? И ведь прямо по живому... Чувствую запах табака. Иду на запах. В здании есть другой вход. На высоком крылечке солдатик. Защитного цвета бушлат накинут на плечи. Солдатик курит. Мне тоже хочется глубоко затянуться сигаретой. Но нельзя – полгода как бросил.

– С Петровной приехали? – солдатик щурится от дыма. – С журналистами?

– Ну, – ничего лучшего для ответа не нахожу. Останавливаюсь. А солдатик осведомлённый.

– Хорошая тётка. Повезло вам.

Я смотрю на него снизу вверх. Не знаю, что ответить. В чём нам с ней повезло? И кому это – нам?

– Петровна никогда с пустыми руками не приезжает. Чего привезли? – солдатик свесился через перила крыльца. Скривился, дымит в бок.

Без головного убора. Бледный, русский. Оброс, как на гражданке. Странно. Глаза уставшие, но приветливые. Солдатик не прочь потрепаться, пока курит.

– Петровна нашла сына-то? Несколько лет уж ищет. Союз матерей возглавляет, всем помогает, а себе помочь не может. Вот ведь...

Я пожимаю плечами.

– Чё, не в курсе? То ли Егором, то ли Юркой звали, – продолжает дружелюбно солдатик, щурится от дыма.

Людмила Петровна ищет сына. Несколько лет. Неизвестность. Я пытаюсь уложить это в голове. Не получается. Она не производит впечатление раздавленного горем человека.

– Сильная она – Петровна. Мощи в ней, как у бульдозера. У нас ее уважают... – медленно проговаривает парень, но спотыкается. Похоже, ему кажется, что его не слушают.

Но я слушаю. Молчу. Мне нечего сказать о Людмиле Петровне. Осматриваю здание. Оно совсем небольшое. Зачем два входа?

– Чего разглядываешь? – моё молчание начинает вызывать у собеседника вопросы.

– А что у вас тут? – скорее для поддержания разговора спрашиваю я.

– Тела выдаём.

В смысле тела? Так это...

– Получается, родители сидят в коридорчике, а сын их за стенкой. В нескольких метрах от них. Так, что ли?

– Так, – солдатику вопрос не нравится. Да и я у него, кажется, доверие теряю. – И чё?

– Ничё, – вырывается у меня. – Родители четыре часа сына ждут. Вы совсем... – я пытаюсь сдержаться.

– Чё совсем? Ты договаривай. Ты вообще кто? С ними приехал? Ты...

– Я с Людмилой Петровной приехал, – зачем-то уточняю я. – Со мной всё нормально А вот...

– Чё вот? – Солдатик смотрит на меня сверху вниз. Лицо его уже нарочито равнодушно. – Ты его видел, парня этого? Сына. Пошли покажу, – солдатик машет рукой, приглашает: – Поднимайся.

Я не двигаюсь.

– И журналистов своих зови. Можете ещё к рефрижераторам сходить, посмотреть. На ледяных. Их там много. Парня этого сегодня привезли, он как рыба заморожен. Видел в магазине? Или курица...

У меня звонит телефон. Костя. Сбрасываю. «Ледяных» – слово ещё придумал.

– Паяльной лампой его размораживаем, – солдатик делает последнюю затяжку, бросает окурок в банку из-под тушенки, стоящую рядом на перилах крыльца. – А мне его ещё подготовить, одеть. Как я его мороженого?

Костя настойчиво звонит.

– Четыре часа, – солдатик смотрит на часы. – И не четыре вовсе. Да хоть бы и четыре. Иди попробуй. Руки, ноги отломятся, чё потом делать? Ты, дядя, слышал, как трещат руки у замороженного человека? А как ломаются?

Зря он это сказал. С воображением у меня всегда всё было в порядке. И треск этот я явственно слышу. Мне нехорошо. Стараюсь этого не выдать.

Солдатик что-то ещё хочет сказать, но только снисходительно, деланно улыбается, качает головой, сплёвывает сквозь зубы, скрипит тяжёлыми дверьми и уходит.

«Дядя». Какой я ему дядя? Сказал же... и ушёл дальше размораживать. А я стою тут как... Впервые ощущаю какую-то свою неуместность. Чужеродность. И перед глазами рыба. Кусок льда, и в нём рыба...

Опять звонит телефон. Костя.

– Привет, Костя, извини. В разговоре был. Неудобно.

– Неудобно ему. Это мне неудобно! Нашли пару похожих стрелочниц. Машина ждёт у ворот.

– Ты, Костя, откуда узнал, где я? – ловлю себя на мысли, что Костин звонок очень вовремя. Я рад поводу отсюда уехать. Мне немного стыдно, но это так.

– Слушай, что с тобой? Проснись. Ты же вчера сам мне говорил, куда вы утром поедете, когда машину просил. Адрес давал.

– Да, точно.

– Всё, давай бегом. ZZ Тор – водитель вчерашний копытом бьёт.

Я направляюсь к КПП. Меня не выпускают. Режимный объект. О чём я думаю? Звоню Людмиле Петровне, спрашиваю. Она говорит, что сейчас организует, чтобы меня пропустили. Интересуется журналистами и съёмками. Я говорю, что всё нормально. Людмила Петровна желает мне удачи. Выглянуло солнце, снега нет. Ветер.

В салоне автомобиля навязчиво пахнет ванилью. Водитель оживляет мощный шестилитровый двигатель, поднимает плечи, напрягается, почти наваливается на руль. Поворачивается ко мне, спрашивает:

– Вы какой альбом ZZ Тор больше любите?

– Восемьдесят пятый год, – машинально отвечаю я.

– Классный альбом, – водитель хочет ещё что-то сказать. Но я перебиваю:

– Можно без музыки сейчас? Голова болит после вчерашнего, – неправдоподобно улыбаюсь я.

Мы едем за город. Я вяло рассказываю Косте о том, что видел. Он задаёт вопросы – я отвечаю. Хочется превратиться в улитку. Свернулся бы сейчас, залез в раковину – не вытащить. Косте сегодня меня не по-

нять, хотя мы обычно, как говорят, на одной волне. Это неудивительно, Кости со мной не было. Костя вслух размышляет, что солдатик тот – ещё совсем пацан. Сам ничего не видел, «кроме средней школы в какой-нибудь деревне и этого морга». Костя, как всегда, говорит спокойно и убедительно. Но сейчас его слова плывут мимо меня фоном. Голос его. Хорошо знакомый мне голос. Но я слушаю и думаю о своём. Вспоминаю маленький полустанок из окна поезда. Парня с собакой. И Костины голос: «Жизнь вот так проезжает, как этот поезд. Мимо. И дела им ни до чего нет...» О ком это?

Вот мне скоро тридцать три. Живу себе и вроде ничего предосудительного не делаю. «Живём и живём. Хлеб жуём», как у меня бабушка говорила. Всё ровно и гладко... Живу в домике своём в небольшом коттеджном посёлке. Сытно и спокойно. А где-то гремит и грохочет. Но мне не слышно. Потом вдруг грохот этот накатывает вылетает, как товарняк, чуть притормаживает, оглушает и исчезает. Вроде далеко, а тебя чуть с ног не сбило. Стоишь, качаешься, контуженный, около своего домика, смотришь вслед растворяющемуся отгрохотавшему силуэту...

Дребезжит телефон у Кости. Он слушает, кивает. Потом кликает водителя, передаёт ему трубку. Cadillac сворачивает на обочину, тяжело вздыхает и замирает. В машине звучит местная радиостанция. Новости.

– Да, я понял. Я знаю, где это находится. Долетим, Николай Васильевич, не волнуйтесь. Сделаю всё в лучшем виде, – водитель поворачивается к нам, отдаёт Косте телефон. – По одной стрелочнице отбой. Внук там с ней, пацанёнок совсем – максимум лет четырнадцать. Не наш вариант. Едем дальше – машина урчит, снова оживает, резко разворачивается, газует и с рёвом стартует. Нас с Костей мотает вправо, вжимает в спинки сидений. Смотрю на спидометр: стрелка быстро двигается вверх, вправо по кругу и падает почти до упора. Летим.

Автомобиль приближается к железной дороге. Она в нескольких километрах от нас, внизу. Её хорошо видно среди белёсых от снега холмов. Над холмами нависает тёмное до свинцовости, тяжёлое небо, но сквозь тучи пробиваются бледные солнечные лучи, которые рассеиваются и рассыпаются сквозь серость снежной жемчужной пылью. Узкое двухполосное шоссе ведёт прямо к железнодорожному переезду, но мы съезжаем раньше на грунтовую дорогу – к одиноко стоящему домику с ветхими хозяйственными постройками. Сейчас кажется, что все эти строения находятся прямо под нами, в конце опадающей зигзагами к железнодорожному полотну грунтовки. Около домика небольшой огород, в нём копошатся две согнутые фигуры. Небо, квадраты полей за железной дорогой, огород и косые солнечные лучи. Происходящее напоминает мне картины Ван Гога, но гораздо сдержанней и беднее по колористике. Подъезжаем.

Дорога ведёт нас вдоль строений, мимо огорода. Фигуры разгибаются, смотрят в нашу сторону. Полная невысокая женщина в телогрейке и спортивных штанах с тройными лампасами. На голове светлый платок, на ногах короткие резиновые сапоги. Рядом с ней парень. Высокий, давно не стриженный, косматый. Очень худой, угловатый какой-то. На нём старая, явно не по размеру болоньевая куртка. Рукава куртки несуразно короткие, чуть ниже локтя, широкие серые штаны намного выше щиколоток, под ними длинные шерстяные носки. На ногах видавшие виды армейские ботинки без шнурков.

Мы останавливаемся около невысокой покосившейся изгороди, выходим с Костей из машины. Какое-то время все молчат. Гудит,

посвистывает ветер. Тишина затягивается. Я пытаюсь подобрать слова – не получается. Ситуация дурацкая.

– Здравствуйте! – слышу громкий Костин голос. – Юрий? Юра? – сбивчиво продолжает Костя. Он тоже бывает нехладнокровен.

Снова тишина. Мелкой крупой косо летит редкий снег.

– Юра, – неуверенно отвечает угловатый парень. Молчание.

Женщина и парень недоверчиво следят за нами. Я поворачиваюсь к Косте. Мой взгляд призывает: «Ну, продолжай, раз уж начал».

– Домой поедешь, Юра? – без подготовки предлагает Костя. Костя улыбается. Молодец. Румяный, добродушный. – Домой.

– Домой? – переспрашивает парень. Голос его глухой, протяжный. Он смотрит на Костю, потом на женщину. – Пое-ду, – парень трёт грязной рукой под носом, бубнит, соглашается. Где-то далеко в его голосе угадывается радость, он тоже начинает улыбаться странной для такого взрослого человека, смущённой детской улыбкой. Убирает с глаз длинные волосы. Замечаю достаточно много седых. Седой парень с пушком вместо усов и совсем детской улыбкой...

Из другой земли по земле,
По железу и дереву шёл,

– вдруг затягивает женщина. –

Не спал и не ел – болел,
Здесь спасение и кров нашёл.
Добрые люди всегда придут,
Божьи птицы домой унесут,

– голосит женщина, смотрит в небо. -

Вон, на небе их белый след,

– взмахивает она рукой. –

А моя жизнь ромашек цвет...

Женщина продолжает декламировать свои стихи и размахивать руками, затем резко замолкает и убегает в дом, как неваляшка, быстро переваливаясь с бока на бок.

Ромашки, ромашки. У меня ощущение, что я внутри сюрреалистического кино, снятого гением типа Луиса Бунюэля. Скромное обаяние жизни. Я уже и не знаю, чего дальше ждать.

Женщина появляется, приносит рюкзак и почти белый от изношенности и солнца, отглаженный хэбэшный китель. Судя по весу и виду, рюкзак почти пустой. Парень переодевается, китель ему тоже не по размеру. Большой, плечи чуть свисают. Он обнимается с женщиной. Мне кажется, так обнимаются люди после хорошо сделанного дела или встречая долгожданный праздник. Женщина крестит парня, он неуклюже то ли кланяется, то ли кивает, разворачивается и идёт к нам.

– Я ждала и знала, этот день настанет,
И счастливая разлука между нами встанет,

– снова заводит свою песнь женщина. Голос её тонкий и удивительно звонкий для её возраста.

Парень перелезает через изгородь, подходит к нам с Костей. Чуть сутулится. Улыбается. Смотрит вниз. Костя протягивает руку, парень тянет свою. Я тоже здороваюсь. Ладонь у парня большая, шершавая,

вся в мозолях и глубоких царапинах. Парень не перестаёт улыбаться. Усаживаем его на заднее сиденье. Костя рядом. Я впереди. Водитель ZZ Тор почему-то напряжён. Мы опускаем стёкла и громко, почти хором, прощаемся с женщиной. Она не реагирует, продолжает декламировать. Парень смотрит перед собой и улыбается.

Скоро лето принесут пташки,
Будут вокруг меня хороводом ромашки.
У беды и счастья не бывает меры,
И ведёт меня по жизни,
Знаю я, – моя вера...

– последнее, что доносится до меня.

Поднимаю стекло. Cadillac рычит, медленно начинает движение.

Вот и всё...

Я часто пытался представить, как произойдёт эта встреча. В голове всплывали пафосные картины. А получилось просто, буднично и заняло не больше пятнадцати, ну, может быть, двадцати минут.

Автомобиль быстро набирает скорость. Пахнет ванилью и чем-то горьким, похожим на полынь.

Вечер. Я, похоже, заболеваю. Костя выдал мне таблетки аспирина и уехал к Николаю. Надо поблагодарить человека. А я пью в холле гостиницы горячий чай с мёдом. У меня ни аппетита, ни сил.

За угловым столиком у окна Людмила Петровна разговаривает с офицерами. О чём они говорят, мне не слышно, но видно по лицам, что разговор у них не клеится. Офицеров двое. Один – майор с артиллерийскими петличками, второй – подполковник. У него петлицы общевойсковые.

Я наблюдаю за офицерами и прихожу к убеждению, что они совсем не пехота и не артиллерия. Они по другой части. В общем и не удивительно. Парень этот всю дорогу промолчал. Костя пытался с ним заговорить. Вопросы про плен задавал. А парень только смотрел перед собой и улыбался. Сказал, что пришёл по железной дороге. Шёл долго. Сколько – не помнит. У нас с Костей и то вопросы к парню остались. Но в нашем случае вопросы необязательные и, может быть, даже неуместные. Не хочет человек говорить, чего к нему лезть. А у этих мотострелков-артиллеристов всё гораздо серьёзней. Парнем они, похоже, остались сильно озадачены.

Людмила Петровна слушает офицеров как-то отстранённо. Говорит редко, резко бросая фразы. Это совсем другая Людмила Петровна. Костя не верит, что её затея – переправить парня без документов на самолёте до Екатеринбурга осуществима. А я верю. Я вижу её лицо. Бледное, не выражающее никаких эмоций. Парня этого она им вряд ли отдаст. Будет бороться за него, как за сына. Майор-артиллерист бросает пристальный взгляд на меня. Я быстро допиваю чай и ухожу в номер. С армии не люблю особистов.

Хотя я совсем расклеился и меня сильно морозит, я всё же на позитиве. Мы с Костей собой довольны. Кого надо нашли, и нашли быстро. С этими приятными мыслями я быстро засыпаю.

Весь следующий день я валяюсь в номере. Появляется сухой кашель. Чувствую, что температуру. Пью горячий чай, ем мёд и глотаю Костин аспирин. Надо как-то прийти в себя. Рано утром мы с Костей улетаем в Екат. Жалко, конечно, оставлять здесь всё как есть. Людмилу Петровну

и парня этого с их проблемами, но у меня и у Кости уже другие дела. Да и какой из меня сейчас помощник? Я даже не пытался уговаривать Костю поменять планы... До позднего вечера общаюсь только с телевизором. Засыпаю под предвыборную рекламу демократов из СПС. Молодой человек, выходящий из метро, говорит, что «хочет жить, как на Западе»; женщина против того, чтобы её сын воевал...

Я всё-таки сильно разболелся тогда. Говорить мог с трудом, сипел, дышал с громким свистом и булькающим хрипом, который было слышно даже по телефону. Напугал и Константина, и родителей. Константин настаивал на моей срочной госпитализации, организацией которой он безотлагательно собирался заняться в лучшей областной больнице. Родители умоляли приехать лечиться к ним. Если честно, я и сам испугался. Испугался одиночества и бессилия. Между больницей и родителями я выбрал родителей. Я уехал, отключил телефон и выпал из жизни недели на две. Мне было очень плохо...

Мы не виделись с Константином с момента моей поездки в Ростов. Два раза поговорили по телефону. Первый – в день моего приезда, второй – спустя две недели.

Сегодня Константин ждал меня в нашем офисе, здесь он всегда чувствует себя очень комфортно. Приехал заранее. Разложил какие-то тряпочки, маленькие занятые металлические приспособы для трубки, ёршики. Пакет с табаком. Включил зачем-то настольную лампу, хотя за окном предновогодний хрустящий морозный полдень.

– Как твоё здоровье? Как дела у Кости, тёзки моего? – Константин даже не смотрит на меня, ковыряется со своей курительной трубкой. Хоть бы поздоровался.

А я, если честно, очень рад его видеть. Насиделся в одиночестве. Теперь готов весь мир обнять. Но Константин серьёзен и поглощён своей трубкой. Вежливо приветлив, конечно, но не более. Константин тоже рад встрече. Я знаю. Но чиновничья работа научила его надевать маску. На моё настроение, конечно, это никак не влияет. За окном солнце, в кабинете приятно пахнет жареным миндалём и восточными пряностями. Трубка Константина играет на свету роскошью породистого дерева. Да и праздник скоро!

– С какой целью интересуешься? Нам снова в Ростов? – я не скрываю весёлой иронии.

– Нет. Просто узнать. Ты, например, с воспалением провалялся недели три? Или больше? Уехал, не предупредил. Две недели на звонки не отвечал. Семён Семёнович с больницей договорился. Ложа царская, а не палата. Лучшие специалисты. А ты? Перед ним и главврачом даже неудобно...

– Мне у родителей лучше. Отлежался ведь. Мама – мой самый главный врач. С детства. Да и позвонил же я тебе сразу после поездки. Доложил, что парня нашли. Как полегчало, снова набрал. Чего ещё? – улыбаюсь я.

– Шути, шути. Тебе уже четвёртый десяток, а ты всё «мама», – Константин сопит, не отвлекается от трубки. – Я вам грамоты от губернатора привёз. Вернее, письма благодарственные. Тебе и Косте твоему. В стекло и багет одел. Вон в пакете. Специально перед тобой положил. Хоть бы посмотрел, – Константин говорит как бы между прочим. Скорее ворчит.

– Спасибо.

– Пожалуйста. Семён Семёнович хотел сам вручить. Но тебя же не найти...

– Ты обиделся? На тебя не похоже, – я искренне удивлён.

– Как говорили в одном хорошем фильме. Про войну, как ты любишь...

Я достаю из пакета одетое в багет и стекло благодарственное письмо. Читаю.

– ...Мужчины не обижаются, они расстраиваются, – продолжает бубнить Константин.

Бумага под стеклом адресована мне. Размашисто подписана первым лицом области. Но бумага странная. Как будто и не мне совсем...

– Слушай, Константин, тут ничего не напутано?

– Я так и знал, что на тебя не угодишь, – Константин активно натирает бархатной тряпочкой чашу трубки.

– Но тут написано: «за активное участие и помощь в предвыборной кампании». Какой кампании? Я нигде не участвовал.

– Я этот текст не готовил. Извини, – Константин наконец оторвался от своего курительного инструмента. Встал, положил руки за спину и подошёл к окну. – Погода прямо праздничная. Солнце. Снегу бы ещё чуть-чуть. Хлопьями.

Я сижу, молчу. «Хлопьями». Чего это его понесло? Сухарём всегда был. Мне некомфортно от прочитанной «награды», скрывать я это не хочу. Но обижать Константина не могу. Да и вторая «благодарность» не мне предназначена. Чего я за всех решаю. Мне некомфортно, а кто-то, может, и рад будет.

– А что тебе не нравится? Всё по делу, – Константин включил чиновника. Говорит сухо. Чётко выговаривая слова. Готовился, наверное. – Предвыборная кампания была? Была. Закончилась. Успешно, кстати. Есть и ваша с Костей заслуга. Парня попросили найти? Нашли. Телеканалы взхлѐб власть нахваливали. «Мы своих нигде не бросаем». Помогло это на выборах? Помогло, конечно. Трудно спорить.

– Вовремя я заболел. Не видел ничего, – мне становится безынтересно. Было и было.

– Так что правильно там всё написано, – продолжает Константин говорить в окно.

– Молодец, всё объяснил. Да мне уже...

– А что там писать ещё? – Константин перебивает. – Про парня этого? Как ты это себе представляешь? И что писать? И вообще, вопросов по нему... Ничего толком сказать не может. Неизвестно ещё, чем всё закончится. Чуть больше года отслужил, оказывается... и пропал. Запрос послали, говорят, – продолжает Константин, смотрит в окно, не поворачивается. – И ответ какой-то невразумительный пришёл. Там вообще что-то непонятное со всем его подразделением. Вроде армия, порядок должен быть.

– Так война же. Всякое...

– Да какая война? – Константин несколько секунд молчит, затем ровным голосом, подчёркнуто сухо поправляет меня: – Не война, а контртеррористическая операция. В общем, конкретика мне неизвестна. Да и знать не сильно хочу, если честно. Нас попросили. Мы сделали. Дальше пусть без нас разбираются.

– Тебе совсем неинтересно? – зачем-то спрашиваю я.

Конечно, неинтересно. С чего бы ему хоть как-то переживать? Константин даже не видел этого парня. Как чиновник, он прав. Сказали – сделал.

Когда меня просил помочь, говорил, что для дела надо. Всё по-честному. И обижаться я на него не могу. Да я и не обижаюсь. Зачем я вообще этот разговор затеял? У него своё понимание жизни, свои координаты. Жалко только стало его. Почему, не могу понять. Уверенный такой...

Константин не реагирует на мой вопрос.

– Семён Семёнович тоже в списках был. Но свою кандидатуру снял. Может, тебе от этого легче станет, – Константин опускает жалюзи. Возвращается за стол. – По коньячку? У тебя же есть? И, я думаю, очень хороший. Праздник впереди. И какой!

После коньяка Константин веселеет. Видно, что ему полегчало. Выговорился. Щурится сидит сквозь очки, но по-доброму, табаком трубку набивает. Рассказывает про большой проект в соседнем регионе. Раскуривает трубку, вкусно дымит. Рисует заманчивые финансовые перспективы. Понятно, к чему подводит.

– А чего? Возглавишь, работу наладишь. Денег поднимешь. Сейчас праздники – отдохнёшь как следует и поедешь. Новое время – новая работа и новая география. Что тебя держит?

Я пожимаю плечами. Вроде ничего.

Я в Москве, в Шереметьеве. Шагаю по аэропорту, разговариваю с Костей по телефону. Точнее, слушаю его, не перебиваю. Мы теперь видимся редко. После болезни я почти сразу уехал в другой регион. Затем перебрался в Москву. Иногда созваниваемся, конечно. Но телефон – бутафория общения. Больше разъединяет, чем сближает. Привыкаешь общаться издалека.

– Мир совсем маленький, Саня, – даже через телефон передаётся Костино нетерпение. – Видел вчера Николая. Приехал к нам в Екат. И этого твоего «подельника» Константина встретил. Познакомились наконец-то, – Костя смеётся.

– «Подельника»... Ты слова-то подбирай. И что за Николай? – я озадачен.

– Николай, приятель мой. Тот, что нам в Ростове помогал. Бывший военный. Фонд какой-то свой у нас презентовал. Про построение брэндов и систем рассказывал. НТВ о нём сюжет даже показывал. Растут люди... и меняются, – вздохнул Костя.

– Систем? Зачем это ему надо?

– Слушай, на себя не похож. Лысый, бородатый. Чистый араб. И гламурный такой, утянутый, в очках с вычурной толстой оправой. Я его давно не видел. Не узнал даже сначала. Посидели потом с ним и с Константином твоим. Поговорили. Ростов вспомнили. У меня благодарность от губернатора до сих пор на стене висит. В рамке. Мелочь, а приятно.

Костя говорит сбивчиво, перескакивая с темы на тему. Чувствуется, хочет быстро и много мне рассказать. Я далеко не всё понимаю. Зачем Николаю фонд?

Я останавливаюсь, смотрю в огромное окно на плоское, уходящее вдаль небо. Белые следы расчерчены по всему синему небесному потолку.

– Алё? Ты слышишь? А ты где вообще? – теряет меня Костя.

– В аэропорту. В Шереметьеве.

– Да? – Костя притормаживает. – Ладно, потом расскажешь. – Константин твой про парня, солдата потерявшегося, рассказал. Немного. Ты знаешь что-нибудь?

– Немного... Константин мне тоже говорил о нём, когда что-нибудь узнавал...

Да, я знаю, что с парнем всё нормально разрешилось. С матерью он успел увидеться за несколько дней до её смерти. По правде говоря, даже не увидеться, а только попрощаться. Мать его уже была в коме и никого видеть не могла. Дослужил он, вроде, недалеко от дома. Разобрались, в общем, во всём. Подробностей Константин не говорил. Последнее, что я слышал от него года два назад: «Живёт и учится твой парень сейчас в Серове, у тётки этой, с которой вы ездили. Не помню, как её зовут. Семён Семёнович отслеживает, помогает».

– А я ведь так и не знал ничего. Даже и не интересовался. И с тобой мы об этом никогда не говорили. Странно. Да?.. – размышляет вслух Костя.

Я вспоминаю поездку, Людмилу Петровну, солдатика, учившего меня жизни, потерявшегося парня, чудаковатую тётку-поэтессу. Когда это было? Кажется, очень давно, совсем в другой эпохе. В прошлом веке.

– Ты чего в аэропорту? Рассказывай, – спохватывается Костя. – Отдыхать? Один?

– Нет. Не один.

– Нашёл, значит, – голос Кости замедляется и совсем меняется. Ему уже весело. Чувствую, сейчас что-нибудь ляпнет. – Она не с Холмогор?

– Уральская девушка. Не хохми.

– Давно? Как зовут?

– Давно. Наташей зовут.

– Давно... – Костя задумался. – Как давно? Хоть бы познакомил.

– Ты опять смеяться будешь. Сегодня ровно месяц. Вот подарок ей по такому случаю подбираю в duty free.

– Месяц. Подарок. Серьёзно? Смешной ты, Саня, всё у тебя...

– Всё серьёзно, Костя, – мне почему-то тоже весело. – Серьёзной некуда...

Я возвращаюсь в бизнес-зал, сажусь в кресло. Наташа улыбается, кладёт мне на плечо голову. Молчим, смотрим в чуть мерцающий экран.

«Прцветание страны – это благосостояние каждого из её граждан», – вещает большой плоский телевизор. На экране – салон частного самолёта, кресла цвета слоновой кости. Три пассажира. Уверенные, энергичные мужчины и стильная, обаятельная дама. Спокойные, вдумчивые лица. Приятные, располагающие к себе, успешные люди. Их знает вся страна.

– Хрустящее всё. Как в целлофане, – говорит мне Наташа.

– В смысле? – отвечаю я.

– Не живое. Не веришь им.

– А что живое? – мне, правда, интересно.

– Цветы, например.

– Цветы. Букет?

– Да нет. Простые цветы. Полевые. Ромашки, например. Бросили бы их на свои люксовые кресла. Хоть какой-то кусочек простой нормальной жизни.

Марина СОЛОВЬЕВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский медицинский институт и всю жизнь работает врачом – дерматовенерологом, онкологом, лазерным хирургом.

Автор романов «Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет», «Время неискушенных», сборника рассказов «Разные двери». Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Север», «Подъем», «Бельские просторы», «Традиции и авангард», «Русская мысль» (Париж), «Наш современник» и других. Переведена на китайский язык и опубликована в русско-китайском сборнике «Хочу в семью» (2023).

Финалист премий «Гипертекст», «Болдинская осень», им. Левитова, «Петроглиф», «ЭтноПеро», «Современный российский рассказ», форума-фестиваля «Капитан Грей»; Международного литературного конкурса «Данко», литературного конкурса им. Курбатова, лауреат I открытого межрегионального литературного конкурса имени Алексея Пичкова «Снежные дали», Международной литературной премии им. М.В. Исаковского.

Живет в Нижнем Новгороде.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

– Представляешь, встретила тетю Нину, нашу соседку по старой квартире, помнишь ее? Такая чудесная женщина, часто ее после отъезда вспоминаю! – Мама живенько крутилась по кухне, выкладывая из большой хозяйственной сумки продукты, хлопала дверцей холодильника и параллельно успевала делать еще несколько дел. – Совсем она плохо выглядит, еле ходит, давно и тяжело болеет. Боюсь, не жилец. Напрямую не говорит, что с ней, думаю, онкология. Ей предстоит сложнейшая операция по пересадке печени. Поговорили очень хорошо, поспоминали прошлое и... попрощались. Я сразу поняла, что навсегда. Иду домой и отчетливо чувствую: не увижу ее больше, будто сам Господь мне в ухо шепнул.

– Ты бы поменьше по улицам бегала – ковид опять набирает силу, кругом уже говорят про «вторую волну». Мы тебе все купим и принесем сами! – Я невольно залюбовалась своей жизнерадостной и деятельной мамой, уверенно перешагнувшей восьмидесятилетний юбилей. Язык не поворачивался назвать ее бабушкой: идеально уложенные волосы модного шоколадного оттенка, со вкусом подобранная одежда с полным неприятием мрачных темных расцветок, гладкое ровное лицо и веселые морщинки вокруг глаз, появляющиеся при улыбке. Пару лет назад она лихо освоила подаренный нами ноутбук и, ежедневно прокачивая интернет, восхищала окружающих глубокими знаниями политической обстановки в мире. Бесконечные семейные политинформации, проводимые при каждом удобном случае, будь то поездка в автомобиле

или очередь в банке, стали нормой жизни. Бывший хирург с решительным характером и презрением к любым проявлениям сентиментальности, не допускала в своем присутствии никаких проявлений «телячьих нежностей». Для мамы не существовало прошлого, только устремлённое к будущему настоящее. У нее всегда имелись самостоятельные уверенные суждения по любому вопросу, частенько не совпадающие с общественным мнением. Владела она и убедительными знаниями о новой ковидной заразе, с нереальной скоростью расплывавшейся по всему миру.

– Уверяю тебя, проблема слишком преувеличена и не заслуживает такого сильного внимания! Не так страшен ковид, как его малюют! Я изучаю эту тему ежедневно, слушаю лучших медицинских светил. Поверь мне – это в первую очередь политика и только потом все остальное!

– Я записала тебя на прививку! Смертность растет, это невозможно отрицать. Уже слишком много вокруг семей, кого это коснулось. Пойдем все вместе, – тихо произнесла я и замолкла в ожидании урагана.

– Когда уже, наконец, ты включишь голову? Вот придумала! Прививки еще сырые, отдаленных результатов нет и быть не может, полно побочных эффектов. Это самоубийство чистой воды. Весь этот ковид придуман для уменьшения численности населения. Большинство из тех, кто привьется, погибнут в ближайшие пять лет от разных диагнозов! Нет уж, увольте, дождусь коллективного иммунитета! – в мамином голосе чувствовалась сталь.

– Да я даже не осмелилась бы тебе предлагать прививку от ковида, зная твои убеждения. Речь идет всего лишь о пневмококке. Старая добрая вакцина, проверенная временем. Будет шанс, что при болезни она спасет легкие от осложнений. Я записалась с большим трудом.

Утро следующего дня выдалось солнечным и теплым. На земле ярким лоскутным одеялом расстелились терракотово-медовые листья, а ободранные сильным ночным ветром деревья стыдились своих обнаженных фигур. Мы с мужем, теряя терпение, ждали маму у входа в прививочный центр и с каждой минутой все яснее понимали, что делаем это напрасно.

– Я не приду, некогда! – уверенный голос в трубке телефона не допускал возражений. – Сегодня день по секундам расписан. Не до ваших глупостей. Скоро правнучка родится, а мы не готовы. Я потрошу шкафы, вещи нахожу для новорожденной, у нас же много чего сохранилось! Потом пойду присматривать подарки для малышки. А что вы сделали для рождения нового человека?

– Мама, ну ужели этим нужно заниматься именно сегодня? Все необходимое есть, остальное купим, когда ребенок родится. Разве ты не понимаешь, как опасно ходить по публичным местам? Сиди тогда дома и носа не высовывай!

– Может, мне еще дверь гвоздями заколотить? Ты правда веришь в стерильную жизнь?! А на балконе гулять можно? А без маски?.. Или тоже нельзя? Ты увязла в этой всепоглощающей тревожности. А она нагнетается специально! Легче всего управлять людьми, загнанными в страх. Политика правит миром! – мама положила трубку, давая понять, что тема закрыта раз и навсегда.

Получив свои инъекции дефицитной вакцины, мы смогли и мамину дозу забрать с собой, объяснив, что являемся врачами со стажем и сами уколом пожилого человека на месте без лишних рисков.

– Это дело бесполезное, она неподдающаяся на уговоры! – сказала я мужу, выйдя на улицу. – А вот Димку уколем обязательно, ему уже тринадцать лет, и противопоказаний нет.

– Решено, сделаем вакцину младшенькому! – отозвался муж. – А ты предупредила маму о нашей предстоящей поездке в Петербург? Можем, конечно, отказаться, но такое заманчивое предложение по работе у меня вряд ли еще будет.

– Она всегда очень боится наших отъездов, хоть виду и не подает. Я давно это заметила.

Мы неторопливо двинулись в сторону дома, приспустив маски, и с наслаждением вдыхали густой исцеляющий осенний воздух, пропитанный запахом хвои, прелой листвы и дождя.

– Ковид рано или поздно закончится, а шансы и перспективы интересного предложения будут уже потеряны. Нужно ехать в разведку.

Вечером за ужином было громко и весело. Приехали из столицы всего на несколько дней старшая дочь с мужем, пришла мама с очередными мировыми новостями, мешком детских вещей и рассказами, кто из внуков в каких ползунках, чепчиках и пинетках рос. Наша командировка была утверждена на первой же минуте «семейного совета», и мама торжественно пообещала переехать к Димке сразу после нашего отъезда. Впервые с начала ковидной изоляции мы собрались всей семьей и общались не через экраны компьютеров, а вживую, смеясь не столько над шутками, сколько от ощущения неожиданного счастья быть вместе. Я отчетливо ощущала, как каждая моя клеточка кричит: «Я соскучилась по таким встречам, по семейным ужинам, которые раньше были обычным делом, а сегодня стали настоящим праздником». Я раскладывала по тарелкам традиционный мамин торт наполеон и, глядя на разгоряченные родные лица, понимала: не только мне хочется, чтобы этот вечер не заканчивался как можно дольше.

– Совсем забыли, Димке же нужно «пневмококк» кольнуть! – заметил муж, аккуратно разливая остатки шампанского по фужерам.

Младший сын скрючился на стуле, всем видом выражая свое недовольство. Под громкое улюлюканье развеселившейся мамы и четы старших детей, я достала шприц с вакциной и решительно вогнала иглу в Димкину дельтовидную мышцу. В эту секунду меня будто накрыло, и я замерла, попав в необъяснимый стоп-кадр. За столом перешли к разным дурацким советам и рекомендациям, а сын в тягостном ожидании повернул ко мне хмурое лицо. Я невольно тряхнула головой, пытаюсь отогнать странное наваждение, и надавила на поршень.

Утро следующего дня началось с Димкиной высоченной температуры. Он лежал в кровати и слегка постанывал, периодически проваливаясь в тревожный сон. Таблетки не действовали, скорая не ехала, мама по телефону проклинала «пневмококка» и мои глупые инициативы, а все друзья-врачи, которых я успела обзвонить, удивлялись такой необычной реакции на эту проверенную и вроде бы «спокойную» вакцину. Через три дня температура спала, общее состояние заметно улучшилось. Мама переехала к нам, а мы стартовали на машине в Питер.

Почти два дня пути дались непросто. Цель была совсем рядом, когда на меня вдруг навалилась такая усталость, что я почти не могла двигаться. Голова раскалывалась от боли, веки тяжелели с каждой минутой.

– Что-то со мной не так! – Муж ослабил педаль газа и повернул к отелю. – Чувствую озноб, а к ногам будто гири привязали.

– Устали просто, дорога сложная! – тихо проговорила я, не веря ни единому своему слову, и достала мешок с лекарствами, без которого давно не обходилась ни одна наша поездка.

Дальше все пошло по известному сценарию: зашкаливающая температура, ломота в суставах с выкручиванием мышц и полная потеря обоняния. Звонить домой не стали, отделались дежурным сообщением, что добрались. Когда становилось чуть лучше, мы как сомнамбулы начинали неуклюже передвигаться по тесному номеру отеля. Состояние снова ухудшалось, и мы заползли в постель. Преследовало странное ощущение, будто тебя поместили в скафандр, лишаящий нормально-го движения, общения и чувствительности. В голове было гулко, как в тоннеле с сильным сквозняком. Каждая фраза подолгу резонировала, оставляя неприятный гудящий отзвук, а потом выдувалась из головы насовсем, не задерживаясь в памяти. Переспрашивать не было смысла, и мы почти перестали разговаривать, лишь иногда перебрасываясь короткими деловыми фразами.

– Не хотела тебя расстраивать, но, похоже, у нас ковид! – в конце концов, призналась я маме. – Думаем, подцепили в дороге!

– Нет, это от Димки. Тогда, перед вашим отъездом, у него была не реакция на прививку. В его классе, оказывается, уже несколько человек болеет с подтвержденными диагнозами. Их на карантин закрыли. Я тоже не хотела тебя расстраивать. Димка на голове скачет, радуется – в школу ходить не нужно. Чувствует себя хорошо, а я что-то сегодня хандрю, нет ли температуры?!

В трубке раздалось характерное шуршание и звук выдвигаемой коробки. Я поняла, что мама достала градусник. Внутри меня все сжалось как тогда, перед Димкиным уколом. Она еще не успела ничего сказать, а я уже знала...

Мы разговаривали каждый день. Мама хорохорилась, подтрунивала над собой, утверждая, что ее голыми руками не возьмешь. Она была уверена, что справится, лишь бы не попасть в больницу, откуда мало кто выходит. Ей было то лучше, то хуже – такие странные качели. Мамин голос чаще звучал по-боевому, но иногда казался утомленным. Димка по первому требованию бегал в аптеку. Мои подруги находили и доставляли дефицитный дексаметазон и нужные антибиотики. Хорошо помню тот день, когда мне стало лучше. Я набрала маму, торопясь поделиться радостной вестью, и после долгих гудков услышала тихий невразумительный шепот. Ей было совсем худо.

– Все, едем домой! – командовала я мужу. – Ждать больше нельзя. К черту эту твою работу!

– Меня мотает, мы еще на улицу-то ни разу не выходили. Голова будто отдельно от тела живет. Кислорода не хватает. Как доберемся?

– Как-нибудь...

Мы смело мчались по скользкой трассе, не отдавая себе отчета в существующей опасности. Видимо, часть мозга, которая отвечает за страх, еще не включилась. Получалась адская смесь бесстрашия и слабоумия с риском улететь в кювет на крутом повороте. Звонки от Димки участились. Он искал поддержки, сообщая, что бабушке совсем плохо, а скорая помощь никак не едет. Я бросилась узнавать, в какой клинике лучшее лечение и кто из однокурсников работает на скорой.

До дому мы добрались поздней ночью. Маму уже увезли в больницу. Кругом разбросанные при сборах вещи, в раковине невымытая посуда, на столе гора таблеток. А на диване перед работающим телевизором спал

мой осунувшийся и неожиданно повзрослевший ребенок. Дикая усталость накатила мгновенно, обрушилась на меня, положив на лопатки и окончательно лишив сил. Понимание, что мы все-таки добрались, что мама под контролем врачей, позволяло чуть-чуть выдохнуть. Привычное ощущение вакуума в голове почти не мешало. Я стала на автомате хватать то, что попадалось под руку, и раскладывать по местам. Потом налила в ведро воды и неистово, с каким-то непонятным остервенением, принялась надраивать пол, будто отмывая все события прошедшей недели.

– Бабушка сказала, что едет умирать, – тихо произнес за моей спиной Димка.

Я, вздрогнув и замерев со шваброй в руке, обернулась и снова поймала оглушающий «стоп-кадр». Через секунду в голове все ожило, засуетилось, забегало. Мысли, перескакивая друг друга, кричали, что нельзя мыть пол за живым человеком, уехавшим на лечение. Плохая примета.

Металлическое постукивание в голове усиливалось. Я отшвырнула половую тряпку и медленно сползла по стене. Появилось давящее чувство неизбежности, неотвратимости. И предчувствие большой беды.

– Это все ковид и гипоксия, не дают нормально мыслить, – я буквально захлебывалась слезами. – Голова совсем не работает. Не контролирую себя. Не могу сосредоточиться. Я боюсь!

– Перестань, ерунда все это! – подоспел муж, поднял меня и усадил на диван. – Помнишь мамины слова, что все воздается по вибрациям? Не паникуй, формируй спокойное поле. Все будет хорошо. Завтра поговорим с врачами и все узнаем. Главное, мы добрались, мы рядом, подключим всех, кого можно, и справимся.

Первый звонок был маме.

– У меня, конечно, ковид. Анализы взяли, но... все и так ясно! – она говорила с большим трудом, останавливаясь на полуслове. – Условия нормальные. С соседками по палате повезло. С врачами говорить бесполезно. Приходит то лор, то офтальмолог. Ничего не понимают в этой заразе, лечат по протоколу. Всех переделали в ковидологов. Ушам и глазам болеть теперь запрещено. Антибиотики с собой привезла, отобрали. Нет их в приказе по лечению. А приказы уже раз десять менялись. Раньше антибиотики были, а теперь нет. Все ответственности боятся. Разговаривать нужно только с заведующим реанимацией. Он – царь и бог, заставляет лежать исключительно на животе и слушаться. А кто здесь специалисты, я уже говорила.

– Мама, ну, пожалуйста, делай, как тебе говорят, не спорь! Спорщики раздражают.

– Раздражают свободно мыслящие люди. Всегда!

Общение с реаниматологом облегчения не принесло и понимания тоже не добавило. Глухой голос, со зловещими подсвистывающими нотками, отвечал лаконично или даже односложно. А я, наоборот, говорила много и сумбурно, пытаюсь заполнить возникающие пустоты. Разговор не клеился.

– Как будто поговорила с роботом, сидящим в подzemелье. Голос серийного убийцы, а не врача, возвращающего с того света, – поделилась я с мужем.

– Главное, она в больнице и на кислороде, под наблюдением и ее лечат.

Маме становилось то лучше, то хуже. Привычные командные нотки незаметно сменялись тихим отстраненным шелестом с долгими пау-

зами. Ей стало нравиться больше слушать, чем говорить. А я в непривычной для себя манере пыталась ее постоянно развлекать, прекрасно понимая, что этим только утомляю.

– В шкафу, на верхней полке, лежит все. Приготовлено для похорон, – прервала мама мой веселый щебет. – Там же найдешь и деньги.

– Не хочу этого слышать! – закричала я, а во рту сразу пересохло.

– Человек всю жизнь готовится к смерти, а я уже будто готова. Нет, еще не проиграла, но сил сопротивляться почти не осталось. Мы должны быть реалистами.

– За что же нам все это, Господи?

– Не за что, а зачем. Чтоб делать выводы. Недооценила я этот коронавирус, вот он меня и наказывает, – мама глубоко вздохнула, издав свистящий звук.

– Мама, соберись! Как меня учила, помнишь? Нельзя превращаться в тряпочку. Тряпочка годится только, чтобы в нее высморкаться. Как мы без тебя? Кто нам будет читать политинформации, кто наполеон испечет на Новый год?

– Купите в магазине, сейчас не проблема! – Сухой кашель мешал ей нормально говорить.

– Прости, опять я не о том... Но надо же быть бойцом до конца! И нельзя бояться.

– Да я и не боюсь. Просто тяжело до невозможности. Дышать совсем не могу. И двигаться тоже. Знаешь, я соседку Ниночку вспомнила. И эту нашу встречу... Ей-то сейчас еще тяжелее... Ты не звони так часто, я сама наберу, как смогу.

Я подняла на уши всех, кого только можно, дойдя до главного врача клиники. Все заверяли, обещали, прогнозировали, рекомендовали перевестись в инфекционную больницу. Даже робот-реаниматолог немного смягчился, сообщив, что ему нужно подумать, случай непростой.

– Хватит уже думать, пожалуйста! Самые большие возможности теряются после слов «надо подумать». Начинайте лечить. Дайте ей антибиотики! Любая вирусная пневмония рано или поздно становится бактериальной! – я понимала, что своим криком пугаю и раздражаю, но ничего не могла с собой поделать.

Мама позвонила через пару дней. Ее голос звучал гораздо увереннее.

– Мне лучше. Заметно лучше. Думаю, кризис миновал. Не поехала бы в больницу, умерла бы точно. Собери мне посылочку с чем-нибудь вкусненьким. Положи новую теплую пижаму, помнишь ту, яркую с красными цветами и зелеными листочками, улучшающую цвет лица? Обязательно проверь и полей моих декабристов. Говорят, если хозяин болеет, они вянут и умирают!

– Слава богу, ты вернулась! – выдохнула я и бросилась в магазин за продуктами. Очень хотелось порадовать ее, да и себя тоже, за тревожные дни, оставшиеся в прошлом. Я скупала все подряд, на что падал глаз, и не могла остановиться. Затем помчалась в мамину квартиру. Декабристы стояли в задумчивом ожидании с набухшими плотными бутонами в обрамлении толстой мясистой зелени. Новенькая пижамка цвета весны и свежести нашлась сразу, словно давно ждала своего выхода с важной лечебной миссией. А я впервые за прошедшее нервно-валидольное время вспомнила о своих накопившихся делах и с разбегу переключилась на них. Хорошие новости придавали сил. Я быстро доставила маме посылку, а потом еще долго носилась по городу,

договариваясь, созваниваясь и встречаясь, словно сорвалась с привязи или неожиданно для самой себя вынырнула из неволи душного скафандра на свежий воздух.

Утром меня пощекотал солнечный луч, сумевший пролезть в узкую шелку меж плотно задвинутыми занавесками. Ну надо же, вяло подумала я, не торопясь просыпаться, будто не глубокая осень за окном, а теплое бесшабашное лето. Луч не сдавался, продолжал охотиться за мной, мешая спать. Я забралась с головой под одеяло. Но не тут-то было – телефонный звонок прорезал тишину спальни.

– Ну кто еще в такую рань? – пробормотал муж.

Я нашарила телефон и поднесла к глазам. Увидев знакомый номер реаниматолога, включила громкую связь.

– ...Ваша мама скончалась сегодня утром в 6.45. Реанимационные мероприятия не принесли результата. Мы сделали все, что могли, – низкий ничего не выражающий голос звучал на одной будничной ноте.

Я не ответила. В трубке еще что-то говорили, потом раздались оглушительные гудки. Медленно поднявшись с кровати, я широко раздвинула занавески. Яркое солнце ворвалось в комнату. Блики затанцевали по стенам. В голове пусто и холодно. Слез не было.

– Что это?

– Цепочка трагических случайностей! – Муж сосредоточенно накапал пустырника в стакан с водой и заставил меня выпить.

– ...И какое-то непонятное лечение у лоров и офтальмологов, а не в инфекционной больнице, у настоящих специалистов! Почему мы не смогли настоять на антибиотиках?

Больница. Черный мешок с маминими вещами. Сумка с нетронутыми фруктами, соками и такая неуместная веселая пижама. Заказ гроба со стеклянным окошком. Похоронная одежда на полке шкафа с подобранным в тон шелковым платочком для шеи. Фотография молодой очень красивой мамы... Рядом аккуратный пакетик с двумя моими детскими платяницами. Я не видела их так давно. Понеслись воспоминания о последней елке в садике, о моем первом дне рождения в новой квартире, о выдерганном гвоздем клочке на самом видном месте. Мама потом долго воевала с этой дыркой и в конце концов победила.

Вдруг отчетливо вспомнилась наша последняя совместная поездка на дачу. Я застала маму на заднем дворе, сжигающей в костре свои фотографии. У нее такое выражение лица, словно она сжигает свою жизнь. Заметив меня, непривычно тихо объяснила: избавляюсь от того, что вряд ли кому будет интересно. На мои протестующие вопли мама только грустно улыбнулась.

Держать чувства в себе стало вдруг невозможно. Я открыла створку шкафа, обняла мамину одежду с чуть заметным запахом «Шанель № 5» и зарыдала.

Прости меня, родная, я не спасла, не настояла, в лучшее место не отправила! Господи, сотри мне память!.. Нет, оставь. Хочу помнить до мельчайших подробностей: и веселые дачные посиделки с игрой в лото, и жжение от горчичников, которые ты накрепко приклеивала к моей спине, и неповторимый вкус твоего наполеона. Я присела на край дивана. В квартире тепло и чисто, все вещи, как обычно, аккуратно разложены по своим местам. Казалось, мама на минутку вышла из квартиры и очень скоро вернется. В углу на большой подставке, уходящей под потолок, вопреки всем народным приметам, буйно цвели де-

кабристы. Я осторожно приблизилась к ярким цветам, напоминающим звездочки, погладила упругие зеленые листья и по привычке понюхала. Знакомый терпкий запах, напоминающий мускус, объявил, что ко мне вернулся нюх.

Сороковой день выпал на большой праздник – день Рождества Христова. Ночью кладбище завалило снегом. Пробирались долго и с большим трудом, утопая в сугробах. Абсолютная неестественная, обезоруживающая тишина обволакивала. Все мысли и разговоры – про вечность души и ее переселение. В это всегда хочется верить.

Вдруг огромными хлопьями повалил снег, будто наверху стали трясти бескрайнее одеяло... А затем раздался неожиданный, но такой долгожданный телефонный звонок из глубины сумки. Внучка родилась! Именно в этот день и час. Снегопад прекратился так же неожиданно, как и начался. Похоже, эта сложная штука жизнь начала очередной заход на новый круг.

Ближе к лету я встретила нашу бывшую соседку по старой квартире тетю Нину. Она с трудом передвигала ноги.

– Мне ведь пересадку печени провели. Сложнейшая, говорят, операция. Тяжело, но заставляю себя двигаться, врачи так велели. Все время маму твою с теплом вспоминаю. Мы ведь с ней в последний-то раз почти на этом месте и повстречались. Поговорили хорошо, повспоминали прошлое да и... распрощались. Я сразу поняла – навсегда. Ковыляла домой и чувствовала, не свидимся больше. Будто сам Господь на ухо шепнул.

Александр ЖАРКИХ

Родился в 1964 году в Москве, окончил Московский полиграфический институт по специальности «редактор массовой литературы». Книги прозы публиковались в издательствах «Гриффон», «Наш круг» и «Де Либри». Живёт в Московской области.

АЛЕКСЕЙ

«Да все мы через это прошли, Лёха. Неужто будет баба молодая, красивая свои годы самые лучшие губить? Да ни в жисть!» – снова вспомнил Алексей слова своего хлебника Витьки, который почти ласково осаживал его, молодого первохода, чтобы там, на воле, особо ни на что не рассчитывал. Витька был чуть старше, считался корешем и сидел уже в третий раз, но его слова никак не могли успокоить, дрянно и гнило становилось на душе, особенно по вечерам после работы в отряде. Хотелось вырваться за дверь барака и бежать, бежать, перемахнув через высокий забор, наматывая на себя колючую проволоку и срок за побег. Поэтому Алексей лишь мрачнел своим и без того жёстким, по-мужски красивым лицом, сжимая зубы и не желая поддерживать эту тему в разговорах. Он и без того за время отсидки наслушался историй, как женщины на воле бросали своих горячо любимых мужей, надолго попавших за решётку.

И вот теперь, стоя обеими кроссовками в мелкой ноябрьской луже с краями, которые ночной минус уже закрепил тонким хрустящим ледком, Алексей показывал двум сержантам полиции, остановившим его почти сразу после выхода из здания вокзала, своё свидетельство об УДО и решение суда об освобождении.

– Что, домой приехал? – взглянув на документы, спросил один из них, тот, который был постарше, на безымянном пальце которого желтело широкое золотое кольцо с печаткой. Через несколько секунд он неожиданно подмигнул, возвращая бумаги: – А чего жена-то тебя не встречает?..

– Не знает ещё, – набычился Алексей, стараясь не встретиться с ним взглядом. До этого рамку металлоискателя на выходе из вокзала он успешно прошёл, и его не стал останавливать никто из стоявших рядом людей в форме.

– Сюрприз, значит... – хотел было продолжить интересную беседу исповедник в погонах, но исповедоваться Алексею сегодня совсем не хотелось, тем более что такие умельцы занимались этим обычно только за деньги.

Тут в рации другого сержанта, который молча стоял рядом и был помоложе, что-то пикнуло и захрюкало близко дышащим в микрофон голосом:

– Полста тридцать второй, ответь, сука, где вы?.. Опять люля у Чингиза жрали?.. Я щас вам таких люлей... Бегом, мля, на вторую, там у таджиков... – рация продолжала ругаться и хрюкать, но молодой мент уже развернулся и быстрым шагом пошёл к зданию вокзала, унося с собой всё величие уличной власти и рацию, наполненную чьей-то неприкрытой злобой.

– Ладно, иди, – обдавая запахом только что съеденного лука, сказал на выдохе сержант, возвращая документы. Затем, смахнув кусок жвачки, закрывавший объектив наружной камеры, закреплённой на его форменной куртке, тоже двинулся к дверям вокзала, исчезнув за ними, как исчезали все, кто туда входил.

Разоривший две большие урны, беспощадно переполненные мусором и стоявшие на улице по обе стороны от дверей вокзала, ветер резкими порывами задувал откуда-то сверху, срывая с высоких карнизов и крыш домов мелкие, сверкавшие на солнце льдинки, и бросал их в мёрзнувших внизу людей, ожидавших такси и автобусов на вокзальной площади.

Алексей поднял лицо и посмотрел в это самое «сверху», туда, где ветер нервно рвал серое покрывало облаков на отдельные ватки, гоня их куда-то на юг, в сторону Сочи, и открывая на короткое время бездонные колодцы голубого неба. Ни у кого, кроме ушедших ментов, молодой человек в джинсах, поношенной осенней куртке и с очень коротко стриженными красноватыми волосами не вызвал особого интереса. И неважно было, что он остался стоять в холодной луже на асфальте, в которой отражались и облака, и колодцы, и его сосредоточенное лицо. Главным было то, что ноги его наконец-то ощутили твёрдую поверхность родного города.

Ну как родного – родился, то есть был принят в огромную семью всех ныне живущих на свете людей, конечно, он где-то не здесь. Своя маленькая семья в лице матери бросила его двадцать пять лет назад недоношенного, с низкими показателями здоровья сразу после рождения. Он узнавал потом в роддоме, сказали: какой-то водитель на машине с иногородними номерами привёз и оставил у входа. В этом городе его вывели и отдали в дом для таких же детей, у которых родной семьёй должны были стать все остальные жившие рядом люди. Этими людьми поначалу были только врачи местного дома ребёнка, а затем воспитатели и ребята в детдоме, а потом и весь город, его город. То есть, наверное, всё-таки наоборот – это он стал принадлежать городу и считал себя его сыном, ну почти, как сын полка. И в этом городе несколько лет назад у него появился свой бесконечно близкий и душевно тёплый человек, с которым он мог встречаться сначала только в мечтах и желаниях, где-то на перекрёстках снов. А потом Алексей увидел её наяву.

Мать называла её Алёночкой, а позже и он тоже стал так называть. Встретились случайно, что называется, город познакомил его, просто-го и молчаливого парня из шиномонтажки, и её, домашнюю девчонку, студентку пединститута. У неё был приятный девичий голос, и он смущался, когда звонил ей по телефону и разговаривал своим, немного резким и грубоватым, поэтому чаще всего переписывались эсэмэсками. Она любила красную помаду и тоже курила. В пепельницах на столиках кафешек и столовок, куда они по вечерам забегали вместе, часто оставались её тонкие «окровавленные» окурки. Между ними ничего такого вроде и не происходило. Но при этом происходило *всё*. Своего

человека всегда можно узнать с первых фраз, с первых слов, потому что с ним легко и хорошо. И говорить легко. И молчать.

Однажды он попросил, и она бросила курить. Потом она попросила, и он перестал задерживаться на работе. А после она познакомила его со своей мамой, и он понравился ей. Потом он познакомил её со своими друзьями, и они стали завидовать ему.

Пожились быстро, хотя никто и не торопил. Она призналась своим подружкам из института на свадьбе, что сразу влюбилась и поняла, как увидела: на самом деле он добрый и надёжный, захотелось варить борщи и рожать ему детей. А он, пригласив на свадьбу всех, кого мог из своих детдомовских, так и сказал, что теперь его жизнь будет состоять только из всяких мелочей, связанных с этой девушкой. И после, даже когда она, как обычно, рано утром провожала его на работу и стояла в коридоре заспанная, взлохмаченная, тоненькая, с острыми коленками, зябко кутаясь во фланелевый халатик, он всё никак не мог оторвать от неё любящих глаз, становилось непонятно даже, как вообще раньше мог жить без неё.

Она была умной девушкой и старалась не обижаться даже тогда, когда Алексей пытался глупо шутить. Он, конечно, мог, например, набрать в телефоне её номер и притворно строгим голосом спросить:

– Алё, ночка?

А она отвечала, весело хмыкнув:

– Нет, пока ещё только вечер! – и интересовалась: – Милый, ты к ужину придёшь, или у тебя много работы? А то мама спрашивает...

Пёстрая толпа людей с вещами и чемоданами, которую наскоро выселил из вагонов уехавший куда-то дальше в другие города поезд, быстро покинула платформу и сам городской вокзал, разбежалась, разъехалась, незаметно растворилась, присоединившись к другим людям города. Высокие дома, столпившиеся вокруг широкой вокзальной площади, привычно смотрели на это ежедневное действие превращения приезжих в местные. Алексей закурил, прикрыв ладонью огонёк зажигалки от ветра, и выпустил первый дымок через немного искривлённый после давней драки на зоне нос, подтянул ремешок сумки на плече и не пошёл к стоянке такси. Поезд довёз его до города в самой середине дня, а до вечера, до такого вечера, чтобы жена с дочкой уже точно были дома, оставалось ещё несколько часов. Пройти весь путь от вокзала до дома пешком была так себе идея. Старая куртка, набитая свалявшимся китайским синтепоном, почти не грела, болтаясь теперь, как балахон, на исхудавшем теле, его тонкий свитерок с высоким воротником под горло тоже был весь из синтетики, и только один предмет мог по-настоящему согреть его – зелёный в мелкую клеточку шарфик из кашемира, когда-то подаренный Алёночкой на день рождения и замотанный вокруг шеи, действительно защищал от слишком любопытного ветра.

Алексей поднял воротник куртки и повернулся так, чтобы ветер задувал ему в спину, но ветер не слушался и временами зачем-то пытался заглянуть в лицо. В его лице не было никакой досады по этому поводу, там было только смятение от скорой встречи с женой и дочкой. Он и так все последние месяцы, надеясь на УДО, не знал, как заглушить противные до отвращения, беспокоящие мысли, забывая себя только под утро, устало утыкаясь головой на своей шконке в жидкую казённую подушку, не раз сильно избитую его кулаками, чтоб не каменела под тяжёлой головой и не мешала правильно думать.

Иногда на него накатывало какое-то щемящее и страшное чувство потери, когда не знаешь, сколько всего потерял, но чувствуешь, что очень-очень-очень много. Сам был виноват, что столько пропустил: первые детские слова, первые шаги, бессонные ночи у кровати и вот это вот всё-всё-всё, что оставил тогда дома... Вместо этого и не заметил, как быстро сжился, привык к людям, с которыми вместе провёл на зоне целых три года. Но с некоторых пор они все казались ему одинаково затравленными и поникшими, плохо справлявшимися со своей внутренней одинокостью и жизнью без любви. Они незримо впитали в себя обшарпанную серость низких стен лагерных бараков и жгучую неприступность высоких заборов. Они все были разными, с разными сроками и статьями, по которым отбывали взаперти часть своей жизни, по обыкновению деля её на до и после. Но Алексей со скрытой горечью понимал, что никто из них не сможет стать ему настоящим другом там, по другую сторону заборов, в городе, где он когда-то жил, работал и был счастлив. Большинство из них, скорее всего, пропустят свою жизнь, ту настоящую, для которой родились, совсем другую, о которой в детстве так мечтали, чтобы она у них была. Все эти неслучившиеся космонавты, капитаны океанских кораблей и машинисты огромных экскаваторов, великие учёные и музыканты выйдут и не воскреснут, сотрут в пыль крылья своих ангелов-хранителей, не веря уже в изначальный смысл своего существования, и, скорей всего, снова вернуться на зону. Он же хотел выйти так, чтобы больше не возвращаться...

Дочке было семь месяцев, когда его посадили. Алёночка в первые полгода писала каждую неделю, пыталась отправлять редкие посылки. Алексей особо их и не ждал, знал, что они с Антониной Васильевной, ее матерью, и без него еле сводили концы с концами. Деньги от государства, положенные ему как бывшему детдомовцу, давно были истрачены на то, чтобы однокомнатную Алёночки с мамой обменять с доплатой на двухкомнатную с балконом и отдельным санузелом. Тёща лечилась от онкологии, периодически проходила курсы лучевой и химиотерапии, получая пенсию по инвалидности, а Алёночка тогда ещё была на последнем курсе, готовилась получить диплом преподавателя химии и биологии, старалась заниматься репетиторством, в основном удалённо, но денег всё равно не хватало из-за болезни мамы. От присланных ими гостинцев ему становилось только тяжелее и страшнее — они воспринимались как укор. А в последний год пришло всего три ответных письма и только одна открытка на Новый год. Короткие, всего на одну страничку, какие-то прохладные, отстранённые и скупые на подробности строчки в письмах об успехах дочки. Но он помнил запах этих писем, землянично-гвоздичный, такой же, как запах их домашнего мыла. В один из конвертов с письмами были вложены несколько фотографий дочки в коротком детском платьице из ткани в светлый горошек с непонятной игрушкой в маленьких ручках. Уже давно почему-то не было в конвертах ни одной фотографии самой Алёночки. Но была ещё одна фотография, с которой Полинка смотрела прямо на Алексея большими удивлёнными глазами, такими же, как у него самого, серо-голубыми, с мелкими тёмными точечками по краям радужки.

Вспомнилось, как смалодушничал и захотел умереть, тяжело заболел на зоне ковидом. Тогда многие болели, в бригадах по два-три человека оставалось. Сам бредил, сознание терял, задыхался, думал, что погасло всё вокруг. И тут пришла мысль: чтобы тебя совсем больше не было, надо всего лишь завтра не проснуться. Так чуть и не выдохнул

свою жизнь в больничную форточку. А фотография Полинки помогла, та самая, с удивлёнными глазами. Вложили в его ослабевшую руку так, без особой надежды, а он проснулся, увидел и у-у-у как жить захотел, потому что стал бессмертным, неумираемым... то есть неумирающим стал, как будто обратно домой захотел срочно вернуться, будто вспомнил, что свет забыл погасить, утюг не выключил, газ включённым оставил, что сигарету до конца не затушил, что... В общем, *вернуться*.

Алексей знал, что первое время жена и теща как-то справлялись, особенно не бедовали, распродавая старые вещи. Но полтора года назад Алёночка написала, что Полинка уже пошла в садик, сама она работает там же, иначе дочку не взяли бы. Зарплата небольшая, но можно брать домой оставшуюся еду. Ну и некоторые люди помогают. Вот эти слова про «некоторых людей» ранили больше всего, доводя до путаницы в мыслях и потери в смыслах, погружая в восходящие потоки ревности и злости. Ему казалось, что какие-то холодные люди досаждают его семье и за свою помощь обязательно чего-то требуют. По-другому обычно не бывает, тюрьма научила. Тяжёлые мысли ожесточали подробностями воспоминаний о семье. Уже казалось очевидным, что семья постепенно отдаляется от него.

Да как же это можно? Как можно терпеть то, что совершенно невыносимо?.. А те глаза Алёночки после приговора, когда его выводили вместе с другими из зала суда? А её протянутые в его сторону руки, которыми она так и не смогла до него дотронуться, не смогла поймать в прощальные объятия? Господи, да нельзя, чтобы такое на самом деле случилось в жизни!..

Он даже пытался запретить себе что-то такое вспоминать, но быстро сообразил, что так станет не нужен и самому себе. Алексей не вступал в переписку с «заочницами», как это делали многие сидельцы на их зоне, не искал такой любви. Как-то сразу осознал, что игра в любовь с незнакомыми женщинами, вступившими в переписку с зеками, – это одна из самых унижительных форм взаимного самообмана потерявших и запутавшихся в жизни людей. Ему было противно, когда кто-то из их отряда начинал хвастать такими отношениями.

Жена единственный раз смогла приехать к нему на короткое свидание во второй год отсидки. На длительное, трёхдневное, так и не получилось, совсем никак не могла она надолго оставить больную маму с маленькой дочкой. И хорошо, что это было летом, зимой бы совсем измучилась, бедная, замерзая на КПП и ожидая в очереди на проверку привезённых продуктов. Её огромные светлые глаза на красивом лице светились нежностью и горем. Даже растёкшаяся под глазами тушь, которую она потом размажет по щекам, не сможет испортить это лицо, как ни пыталась. На том свидании Алёна взахлёб рассказывала о дочке, показывала разные фотографии в телефоне и не смогла сдержать слёз, увидев, как он похудел и осунулся.

– Милый, родной, – говорила она, сотрясаясь от нахлынувших чувств почти как в лихорадке, – мы очень ждём тебя...

А он только смотрел на её разгоревшееся лицо и слушал, словно оглушённый звуком её родного голоса, но не мог ничего сказать. От радости, умиления, горя и невозможности как-то помочь вместо слов у него получались только мычащие звуки, какие случаются у человека в немислимых мучениях, будто язык во рту набух, а сжатые челюсти никак не могут разомкнуться. Он испытывал смущение оттого, что вся эта её нежность и красота имеют отношение к нему и находят-

ся так близко. Пытался прятать разбитые костяшки на сжатых кулаках и загрубевшие пальцы с обгрызенными жёлтыми ногтями. Но она всё видела и, он знал, всё чувствовала. Ни слова упрёка не услышал Алексей тогда. Прощаясь, она только сказала, опустив глаза:

– Ночью в дождь бывает страшная тоска... Ну такая... наверное, ты знаешь...

И вот теперь он приехал в свой город. До самого последнего момента Алексей не был уверен, что всё получится с УДО, поэтому ничего об этом не писал и не стал звонить, хотя такая возможность появилась. Неделя перед выходом на свободу показалась ему длиннее, чем вся предыдущая жизнь. Но нужно было выдержать ещё и долгую дорогу домой. За воротами зоны он оказался рано утром, даже успел на станцию к поезду, и потом полтора дня добирался на верхней полке в плацкарте, питаясь только чаем и конфетами с печеньем, которыми его угощала одна добрая маленькая женщина с нижней полки, чем-то похожая на его тещу Антонину Васильевну. Заметив, что бритоголовый парень с верхней полки совсем ничего не ест, она несколько раз вставляла и пыталась всучить упаковку с галетами прямо в его загрубевшие от работы на лагерной пилораме ладони. Алексей сначала отказывался, но когда он, бывший детдомовец, увидел её уставшие глаза, наполненные какой-то материнской взволнованной заботой, то осёкся на полуслове и крепко сжал в ладонях пачку печенья, чуть не раскрошив её прямо в упаковке. Женщина ехала к сыну, который служил в армии по призыву, и пыталась что-то рассказывать о нём мягким голосом с характерным северным выговором.

Алексей подолгу лежал на верхней полке без движения с закрытыми глазами, как ещё совсем недавно делал это в лагере на нарах. Он старался не вслушиваться в дальние и ближние разговоры соседей по плацкартному вагону. Даже крики и шумная беготня чьих-то детей, игравших друг с другом, не отвлекали от собственных мыслей. Вместе с доброй северной женщиной они иногда выходили курить на коротких остановках поезда, и он наконец тоже рассказал ей, куда и зачем едет. А ещё проговорился, что совсем не может спать, то ли от радости, то ли от тоски. Женщина покачала своей начавшей сесть головой и произнесла слова, которые он хорошо запомнил:

– А вот потому, что нельзя расставаться с родными и любимыми надолго. Если мы их совсем не видим, они постепенно начинают для нас умирать. И мы для них тоже.

Перед тем как сойти с поезда в своём городе, Алексей пообещал, что обязательно позвонит по оставленному женщиной на бумажке номеру телефона, после того, как купит свой, и обязательно расскажет ей, какой приём он встретит дома. Перекрестив его через вагонное стекло уже отходившего от перрона поезда, женщина поехала дальше к своему сыну. А Алексей даже не заметил, как перед выходом она положила в его дорожную сумку небольшой свёрток.

Он неуверенно переступал начавшими мёрзнуть ногами по равнине вокзальной площади, чуть не споткнувшись о первый же бордюр. Напряжение в ногах, наверное, было равно напряжению в ногах космонавта, только что спустившегося на Землю. Он косился на большие рекламные щиты, ещё издали поразившие его своим разнообразием и яркостью красок, смотрел на суматошных людей с сумками и рюкзаками, затаив в уголках губ улыбку человека, вернувшегося в родной

город, как на родную планету, где он сможет свободно дышать. Сквозь запахи кислородного горячего мяса, жаренного на масле дрожжевого хлеба, копчёностей всяких и пригоревших сальных шкварок Алексей прошёл, даже не ощутив каких-либо голодных позывов со стороны желудка. Там, в желудке, словно лежал камень, или привокзальные точки общепита не отличались вкусовым разнообразием.

Алексей почему-то порадовался, что за время его отсутствия привокзальные запахи почти не изменились, — он знал эти чебуреки, эту шаурму и эти сухие пирожки, которые, будучи съеденными, никогда не могли убить в нём чувство голода. Свернув на одну из центральных улиц, прошёл несколько домов и остановился, увидев своё отражение в темноте одной из витрин неработавшего магазина. Увидел — и сразу отвернулся. Захотелось выдохнуть из себя всё то, что сделало его похожим на это страшное отражение в витрине. Он сделал глубокий вдох так, что в носу слегка зашипало и отозвалось в мозгу мыслью о том, что это его родной воздух, тот самый, в котором он вырос, учился и работал, а главное — любил и был счастлив. Хотелось забыть все запахи, все воздуха земные и небесные, зимние и летние, весенние и осенние тех мест, из которых прибыл...

Его выгнуло дугой, потом перегнуло пополам, тошнило и выворачивало на выдохе и на вдохе почти пустым желудочным соком и слюной. Разом из него выходила вся зажатость и напряжение последних дней. Прилившая к голове кровь запульсировала в висках. Наконец его отпустило. Он медленно выпрямился, утёрся тыльной стороной ладони и подобрал упавшую с плеча на сырой асфальт сумку. Открыв её, чтобы найти, чем вытереть рот, увидел внутри рядом с полотенцем и парой поношенных футболок небольшой прозрачный свёрток с огурчиком и варёной куриной ножкой. Догадался о его происхождении и не стал вскрывать, снова закрыл сумку. Только в этот момент он почувствовал всю накопленную им чудовищную усталость. Прошло три с половиной года с тех пор, как его посадили, и два дня, как он находился в дороге домой. Или нет, на самом деле в долгой дороге домой он и был всё это время...

Он присел на корточки, привалившись спиной к холодной стене магазина с тёмными витринами, обхватил голову руками и закрыл глаза. В уши сразу же стал пробиваться шум дневного города с близким и далёким гулом машин, цоканьем трамваев по рельсам, степенным рокотом грузовиков и шелестом колёс легковушек по высушенному ими асфальту; неразборчиво слышались распотрошённые на отдельные фразы разговоры прохожих. Алексей уже знал, что если сейчас откроет глаза, то откроет новый для себя мир, в который он вернулся, и уже больше ни за что не захочет отпустить от себя...

— Мама, а он спит? — услышал Алексей рядом с собой детский голос. Открыл глаза и увидел мальчика лет четырёх, которого за руку держала какая-то милостивая женщина в красивом шерстяном пальто. «Хорошо, что первой, кого увидел, была эта женщина с ребёнком», — подумал Алексей и встал.

— Молодой человек, с вами всё в порядке? — спросила женщина, внимательно глядя на него.

— Да, теперь уже всё в порядке, — уверенно ответил Алексей и попытался неуверенно улыбнуться.

— Возьмите платок, у вас к губам что-то прилипло, — она достала из кармана приготовленный на всякий случай для сына платок и протяну-

ла его тонкой рукой без перчатки. – Я на скорой работаю, сразу поняла, что у вас не алкогольное опьянение. Запаха нет, вы очень бледный... давление, наверное, упало. Сердечник? – скороговоркой заговорила женщина.

– Да, у меня это с детства... Бывает, но сейчас уже лучше. Спасибо вам! Сынок у вас хороший, не капризничает, стоит ждёт.

– Он вас и заметил... – сказала женщина и улыбнулась. – Сейчас бы вам чайку горячего с сахаром выпить и съесть что-нибудь. Приезжий? Деньги-то есть?.. А знаете что, давайте я вас угощу. Как вы к этому отнесётесь?

– Нет, что вы! – На этот раз уже Алексей внимательно посмотрел на женщину, опустив глаза на кисть её правой руки, которую та немного приподняла в ожидании: розовый маникюр и пара колец были, но не было главного, обручального. В возникшей между ними неловкости, он не знал, куда деть уже испачканный платок. – Я местный, к жене и дочке иду, они меня дома ждут, – ответил Алексей так, словно был в этом уже совершенно уверен. Теперь он точно знал, куда обязательно зайдёт после того, как спокойно посидит в знакомом кафе, огни которого уже видел впереди, напьётся чаю и пообедает куриной ножкой с огурчиком.

Женщина же заметила, что он смотрит куда-то мимо неё, и разочарованно сказала:

– Платок можете оставить себе...

– Мам, пойдём! – мальчик уже начал дёргать её за рукав. И уже совсем тихо, уткнувшись ей в пальто, сказал: – Я знаю, это не мой папа...

* * *

Алексей быстрым шагом двигался по берегам больших и малых тёмных луж, по-хозяйски расположившихся на асфальте широких тротуаров в центре города, иногда промахивался и давил белесую кромку льда с пузырьками воздуха под ней. Один раз чуть не поскользнулся и не попал в лужу, но ноги уже особо не чувствовали ни холода, ни усталости. Обрамлённые бордюрным камнем газоны источали запахи прелой листвы, этой самой фальшивой валюты, которой деревья пытались хоть как-то расплатиться с землёй за своё летнее зелёное великолепие. Он проходил мимо остановок автобусов, на которых люди стояли, молча ожидая возможности оказаться внутри тёплого салона, чтобы потом сидеть и спокойно думать о чём-то своём, почти не глядя в широкие окна, за которыми стояли другие люди и ждали другие автобусы. Те ездили под знакомыми номерами маршрутов, а у него сейчас был свой единственный, по которому он уверенными шагами приближал себя к дому.

Глаза словно промывались видами родного города, которые постепенно вытесняли из его памяти надоевшие картины лагерной жизни. Быстро начало темнеть, почти как в кинозале перед сеансом, включилось уличное освещение, словно в зале настенные фонари во время показа рекламы. И рекламу действительно показывали на светившихся и переливавшихся электрическими красками больших щитах.

По дороге он зашёл в ярко освещённый магазин товаров для детей и почти на все деньги, которые были, купил большую интерактивную куклу в подарочной коробке с окошком. Она хорошо умела говорить множество разных слов, используя мимику лица, могла рассказывать сказки и петь песни, её можно было научить ходить и держать в руках

всякие предметы. Он даже не понял, что его уговорили купить одну из самых дорогих кукол из тех, что были в магазине.

Уже в темноте давно наступившего вечера он, наконец, добрался до своего района панельных пятиэтажек. Люди возвращались с работы и торопились домой, а он всё как-то не решался войти в подъезд и присел на тонкую спинку холодной скамейки, подпиравшую столб с никогда не светившим фонарём во дворе его дома. Ветер утих, ему наверно надоело рвать и метать целый день. Да и беситься днём гораздо интересней, чем ночью, – в бесснежной темноте этого почти никто не видит.

К ночи похолодало, и с неба посыпались редкие снежинки, увлажняя едва отросшие волоски на неподвижной голове Алексея и делаая лицо мокрым, словно заплаканным. Одним быстрым движением он провёл ладонью сверху вниз по волосам и лицу, сбрасывая ненужную влагу, и сунул руки в карманы своей куртки, в которой его забирали из дому весной в наручниках. Из одного кармана достал зажигалку и пачку, в ней оставались две последние сигареты, закурил, глубоко затягиваясь.

В другом кармане куртки он сжимал в кулаке ключи от подъезда и квартиры. Алексей до дрожи в пальцах помнил каждую мелочь в этой квартире. Вид комнаты, где они с Алёной спали на раскладном диване и где стояла кроватка маленькой дочки, целых три с половиной года ранил его память. Он помнил, как дребезжали ножи и вилки в ящичке кухонного стола, когда тот закрывался, помнил, как в его самом дальнем углу справа жена хранила цветные бумажные салфетки и доставала оттуда их по одной, когда её мама начинала надсадно и долго кашлять. По ночам они через стенку слышали стоны, тогда Алёночка вскакивала с дивана в одной ночнушке и босиком бросалась в соседнюю комнату, пропахшую запахом валерьянки и каких-то других лечебных трав. А сам Алексей тоже вставал и принимался укачивать проснувшуюся от внезапного шума малышку.

Перед тем как его увели из квартиры, защёлкнув наручники на глазах стоявшей в коридоре и растерянной жены с ребёнком на руках, Антонина Васильевна спокойно позвала:

– Алёша, милый, подойди ко мне... – Тёща лежала в своей кровати и тянула к нему свои прошитые тёмными венами руки. Он невольно наклонился к ней, и тогда, чуть приподнявшись на подушках, она больно схватила его за плечи и притянула к себе, чтобы поцеловать в середину лба мягкими губами. Опустив руки и, словно прощаясь с ним навсегда, произнесла: – Ты ведь вернёшься и не бросишь их, правда?..

– Правда, мама, – ответил он, ощущая неловкость и стыд перед всей своей семьёй, ещё не прочувствовав до конца всю глубину данного им тогда обещания.

* * *

В пятиэтажных рядах тёмных окон вспыхивали жёлтым прямоугольниками один за другим, светясь разными оттенками, кое-где мерцали всполохи от включённых телевизоров. Алексей надеялся в одном из трёх окон своей квартиры на четвёртом этаже увидеть знакомый женский силуэт. Светились только два, на кухне и в маленькой комнате, но к окнам никто не подходил. «Они уже должны быть дома», – Алексей нервно всматривался в окна, светившиеся через тонкие занавески тёплым светом люстр, которые он сам когда-то повесил. Вдруг кто-то подошёл к окну и отодвинул занавеску на кухне... Да, это была она – в тёмном силуэте жены

он не мог ошибиться. Наверное, что-то заметила в законной темноте. Алёна посмотрела во двор, но не смогла понять, кто там сидит внизу на скамейке, и вновь задёрнула занавеску. Может, ждёт кого-то... И, может быть, не его, совсем не его, зачем-то опять засомневался Алексей. Резко отбросив сигарету в холодную тёмную жижу рядом со скамейкой, уже начавшую затягиваться плотным ледком, вскочил и направился к подъезду, выпуская по пути оставшийся в лёгких дым через нос.

– Разберёмся, – сам сказал себе и поднёс магнитный ключ к замку.

В подъезде воняло подвальной гнильцой и чувствовался застоявшийся в воздухе запах выкуренного табака. Поднимаясь по лестнице, он зачем-то заглянул в почтовый ящик с номером своей квартиры. Ящик был пуст. На подоконнике между третьим и четвёртым этажами Алексей увидел стоявшую в углу плоскую консервную банку, в которой, как в пепельнице, было густо натыкано тонких, слегка испачканных в помате окурков. Раньше такой банки здесь не было. «Может, заехали новые соседи... или она снова...» – мелькнула мысль. На этаже он потоптался перед дверью квартиры, прислушиваясь к голосам внутри. Голосов не было. Хотел нажать на кнопку звонка, но потом передумал и решил попробовать открыть своим ключом. Она открылась...

Алёна бросилась к двери с кухни, потом просто охнула и попятилась. Думал, замок сменила, но нет. Он машинально прикрыл за собой дверь и остался на пороге, большой, мокрый и нелепый. На лице жены одновременно появились удивление, страх и растерянность. Алексей сразу увидел за её спиной дочку, сидевшую за кухонным столом. На миг все как будто застыли, но Алёна вздрогнула, шагнула вперёд и уткнулась головой ему в грудь, ещё и стукнула по ней своим маленьким кулачком. Он не стал обнимать, не понимая пока своего положения в этом доме. Полина так и смотрела на них через весь коридор, открыв рот.

Отпрянув от Алексея, Алёна подняла к нему сухие глаза:

– Проходи, раздевайся. Я ужин готовлю... – Её голос был всё тем же, только немного дрожал. Опустив голову и поправив халатик, она быстро вернулась по коридору на кухню к дочке. Халатик был другой, но тоже фланелевый.

– Мама, кто это? – услышал он тонкий голосок Полины.

Вместо ответа Алёна прямо с кухни стала выкрикивать вопросы, пока Алексей раздевался:

– Почему не предупредил?.. Выпустили раньше срока?.. Как доехал?..

Она торопливо ставила тарелки на стол, нарезала хлеб, задавала ещё какие-то вопросы и старалась не смотреть в сторону мужа. Алексей снимал куртку молча, знал, что все эти вопросы она задаёт, чтобы скрыть растерянность. На вешалке была только женская и детская одежда, но на самом видном месте зачем-то висело его старое полупальто, а внизу стояли его утеплённые ботинки. От вешалки исходил сладковатый запах табака.

Он аккуратно повесил куртку, размотал шарф, снял кроссовки и всунул в них носки, поставил сумку на пол и босиком прошёл в ванную, чтобы умыться. В ванной стоял знакомый запах, там было землянично-гвоздично, светло и привычно, тесно и очень лично. На кривом колёне настенной сушилки висели полотенца, стиральная машина медленно крутила какое-то бельё. В пластмассовом стаканчике на полке перед зеркалом стояли аж четыре зубных щётки. Алексей плеснул холодной водой в лицо и взглянул в зеркало. Там на минуту поселился молодой скуластый мужчина с каким-то потерянным взглядом уставших глаз

на заросшем двухдневной щетиной лице. «Вот дурак, что ж ты забыл побриться-то?» – сказал Алексею мужчина из зеркала.

Умывшись и насухо вытерев чистые ноги тряпкой из-под раковины, он как-то боком осторожно прошёл на кухню и уселся на табуретке напротив дочки, которая сосредоточенно что-то рисовала цветными карандашами на листе плотной бумаги и прятала от него свои глаза, словно чего-то боясь.

– А что ты рисуешь? – решил спросить у неё Алексей.

Полина медлила с ответом, потом посмотрела в сторону мамы, которая была занята у плиты, и протянула свой рисунок ему. Там по неровной дороге шла женщина, державшая свою дочку за руку смешными растопыренными пальцами-палочками. Такими же палочками, только длиннее, были и сами их ноги и руки. И шли они к высокому забору тоже из длинных палок, а из-за забора торчала какая-то круглая смешная голова без волос.

– Это вы с мамой? – спросил Алексей и, что-то сообразив, вернул рисунок Полине, которая снова ему ничего не ответила.

Алёна обернулась, посмотрела на стол и на Алексея, быстро достала откуда-то початую бутылку водки. «Ну да, у неё точно кто-то есть... и она снова курит», – догадался он и нахмурился.

– У Полинки ушки болели, купила вот на компрессы, – поспешила оправдаться жена, почувствовав настороженный взгляд Алексея. Она постояла немного возле стола, потом схватила бутылку за узкое горлышко и хотела убрать, но Алексей, резко вытянув руку, сжал её пальцы в своей большой ладони. Пальцы оказались ледяными.

– Оставь! – сказал он.

Алёна осторожно высвободила пальцы из его ладони и достала из шкафа две гранёных стопки. Они выпили, почти не глядя друг на друга. Ничего не почувствовав, от следующей стопки он отказался. Посмотрев в сторону окна, Алексей случайно, но неожиданно громко чихнул, как делал это на зоне, забыв прикрыть рот ладонью. Алёна вздрогнула, а дочка вскочила со стула и прижалась к маме. Ему стало неловко, захотелось извиниться, но вдруг он понял, что кроме громкого звука, на мгновение застрявшего в ушах, в тёплом домашнем воздухе кухни отчётливо повисло что-то ещё, нелепое и непонятное. Это была какая-то незримая завеса, которая отделяла его сейчас от жены и дочки, как прозрачная занавеска в ванной комнате отделяла того, кто за ней принимал душ, от того кто мог это видеть. Он внимательно посмотрел на Алёну: она опустила голову и, зная, что он смотрит на неё, не поднимала глаз и не отвечала ему взглядом.

Он молча встал из-за стола и прошёл по коридору к вешалке. Достав из кармана своей куртки пачку и выудив из неё последнюю сигарету, открыл входную дверь и вышел на лестницу. Там закурил, усевшись на подоконник окна между третьим и четвёртым этажами рядом с банкой окурков. Он ждал, что к нему выйдет и Алёна. Но нет, она не вышла.

Когда вернулся, на столе появились тарелки с жареной картошкой и котлетами. Только тогда он понял, насколько голоден, но есть стал медленно, с наслаждением вдыхая давно забытый запах домашней еды.

В комнате зазвонил мобильный телефон, и Алёна побежала туда, прикрыв за собой дверь, но было слышно, как она кому-то говорила:

– Нет... Сегодня не получится. Нет... – Быстро вернулась за стол, снова посчитав нужным оправдаться: – Ученики звонят, хотят прийти заниматься.

Алексей молчал, а Полина ела неохотно и всё время посматривала на маму. Алёне пришлось её подгонять, но когда начала убирать со стола, за входной дверью послышалось что-то похожее на топот ног по лестнице. Алёна замерла, прислушиваясь.

– Ждёшь кого-то? – напрямую спросил Алексей.

– Нет. Соседка должна зайти, я ей сегодня деньги обещала отдать, а звонок на двери у нас не работает, – Алёна шагнула к выходу, но Алексей остановил, успев взять за руку:

– Сядь, – притянул к столу.

Она торопливо поправила прядку светлых волос за ухо и послушно присела рядом. Но Алексей не знал, не нашёлся ничего сказать, как тогда, на свидании в зоне. И они снова сидели молча, не глядя друг на друга и дожидаясь, когда дочка доест картошку. Наконец последний кусочек оказался у неё во рту, и Алена вскочила, подхватив у Полины тарелку, опустила в раковину мойки и включила электрический чайник, стоявший рядом. Алексей заметил, что жена вскочила с видимым облегчением, прервав затянувшееся молчание.

Домашний чай показался ему необыкновенно вкусным. Он держался за горячую чашку обеими ладонями, и казалось, что тепло через руки проникало куда-то глубоко в грудь, поддержанное короткими глотками, сделанными по-мужски, с громким прихлёбыванием. Полинка с удивлением посмотрела на него, смутив своим взглядом.

Неожиданно Алексею стало трудно дышать, и только тут он спохватился, не услышав других громких звуков:

– А Антонина Васильевна уже спит?

– Мама умерла... Четыре месяца как... – ответила Алёна и отвернулась, ухватившись за край шкафчика рядом с плитой. Её острые плечи под халатиком напряглись.

Алексей в растерянности посмотрел на её спину, потом на Полинку, которая снова молча принялась рисовать каких-то человечков. Тогда он неуклюже поднялся из-за стола, чуть не опрокинув стоявшие на столе чашки с остатками чая. Хотелось обнять и успокоить жену, но подойти не успел – она остановила его вопросом:

– Так тебя досрочно выпустили... освободили? – поправилась Алёна, по-прежнему стоя спиной к нему.

– Да, за хорошее поведение.

– И что делать собираешься?

– Ну... устраюсь на работу, а там ...

– Я всё-таки схожу, отдам долг соседке, а то неудобно как-то, – не дослушав и всё так же стоя спиной к нему, сказала Алёна.

– погоди, успеешь! – Алексей не удерживал, но Алёна вернулась к столу, присев на свободный краешек стула рядом с дочкой и прижала её к себе.

– Спасибо за ужин... Антонина Васильевна... э-э-э... Я сейчас уйду... – мысли путались, но Алексей решил сказать то, что уже приготовился произнести. Он смотрел на дочку и увидел, что на этот раз она тоже смотрит прямо на него, широко открыв глаза, такие же серые с голубоватым оттенком и маленькими коричневыми точечками по краям радужной оболочки, как у него самого.

– Ты не знаешь, кто я, да?.. А я три с половиной года мечтал тебя увидеть, посмотреть в твои глазки... посмотреть... Торопился к тебе и маме, потому что... потому... Прости меня! – Алексей запнулся, увидев, насколько же Полина похожа на него, только вот цвет волос,

собранных в две аккуратных косички, был светло-русый, как у Алёны. «Красавица будет», – подумал и, опустив голову, сказал: – Ну ладно, пойду я, а то вроде как засиделся...

Он встал, а Полина подняла своё удивлённое лицо, чувствуя, что пришедший к ним с мамой большой человек на самом деле совсем не хочет уходить.

– Разве ты не останешься? – спросила Алёна, и Алексей уловил в её голосе нотку облегчения. Или ему так показалось?..

– А надо? Ничего не говори, не слепой. Устроюсь на работу, буду помогать. Если можно, с дочкой хочу видиться. Телефона пока нет... – говорил быстро, словно писал короткие эсэмэски.

Алёна стояла в коридоре и молча смотрела, как Алексей влезал в свои кроссовки и надевал куртку, которые уже наполнили воздух возле двери каким-то непривычным для квартиры запахом, ни на что не похожим. Она не просила остаться, просто смотрела, как бегунок молнии на его куртке медленно ползёт вверх. «Тяну время. Она же это видит...» – ругал себя Алексей, поднимая с пола свою сумку и закидывая её на плечо.

– А ты плидёшь ещё? – вдруг услышал он мягкий детский голос, не выговаривавший «р». Рядом с Алёной стояла такая же, как она сама, худенькая девочка, оказавшаяся выше, чем он думал, когда та сидела за столом.

Алексей присел на корточки рядом, и его глаза оказались прямо напротив глаз Полины.

– А ты будешь ждать меня? – ещё немного – и он бы, забыв себя, совершенно растерялся, но тут же опомнился: – Погоди-ка, совсем забыл... – расстегнул сумку, сползшую с плеча, когда сел на корточки, и достал большую яркую коробку с куклой, поставив прямо перед дочкой: – Это тебе!

Полина украдкой посмотрела на маму и робко взяла коробку, отчего глаза куклы внутри коробки открылись, они были серо-голубыми. Алексей глубоко вздохнул и почувствовал запах стирального порошка, исходивший от домашнего платица девочки, а ещё – какой-то совсем детский – от её головы. Непроизвольно сглотнув, он провёл рукой по мягким волосам девочки и хотел уже подняться, но тут её тонкие руки обвилились вокруг его шеи. Все удивительные запахи усилились, заполняя лёгкие, голову и вообще всё его существо большого и отчаянно потерявшегося человека.

Алексей закрыл глаза и покачал головой из стороны в сторону, защищаясь от нахлынувших чувств.

– Я знаю, ты же мой папа, плавда? Не уходи, – сказала Полина тихо, почти шёпотом, щекая его ухо своим тёплым дыханием и по-прежнему обнимая за шею.

Алексей взглянул на Алёну, не успевшую отвести глаза. В них он снова увидел растерянность и ещё что-то, чему не было названия.

– Да! – сразу вздохнул Алексей и осторожно прижал дочку к себе.

Ради неё он мог пойти на что угодно. И сделать всё что угодно тоже мог. Вот и отсидел за участие в хитрой комбинации, вписаться в которую его подбил детдомовский приятель, работавший в банке. Тогда не хватало денег, для маленького ребёнка много чего нужно было покупать, больную тещу тоже хотел отправить на лечение в платный санаторий, потому поддался на уговоры. А теперь им всем нужно заново привыкать друг к другу.

Были у них и злости, и обиды, но всё помогло преодолеть рождение дочки. Это было счастье. Получилось так, что теперь они были в разлуке почти в два раза дольше, чем вместе...

Алёна словно очнулась, увидев, что Алексей уже стоит вместе с дочкой на руках и смотрит на неё, подошла, взяла с рук на руки Полину, опустила её на ноги рядом с коробкой, в которой была подаренная ей кукла, и попросила отнести коробку в маленькую комнату, в которой теперь стояла кровать дочери. Девочка вздохнула, оглянулась большими серо-голубыми глазами на молча стоявшего Алексея, обхватила двумя руками свой подарок и нехотя послушалась маму.

Проследив взглядом, как Полинка уходила в свою комнату, Алёна повернулась к Алексею и начала расстёгивать молнию на его куртке:

– Оставайся, Алёша. Это твой дом. Прости, мне было очень трудно, я растерялась. Мне нужно время. А мама всегда верила, что ты обязательно вернёшься...

Он перехватил её руку своей, видя, что Алёна снова не поднимает на него глаза, и потянул её близкие холодные пальцы с силой вверх вместе с бегунком молнии так, чтобы куртка застегнулась, а рука жены осталась под его подбородком. Другой рукой он притянул её к себе, наклонился и поцеловал в пробор волос на голове.

Когда дверь за ним закрылась, Алёна, еле держась на ногах, сняла с вешалки его старое тёплое полупальто, прижала к лицу и вместе с ним опустилась на пол, дёргаясь от беззвучных рыданий, беспокоясь, чтобы её не услышала дочка, но услышал кто-то, кого она только и могла молить о пощаде.

Игорь ПАЛАШОВ

Родился в 1971 году в Горьком. Окончил Нижегородский технический университет. В 1990-х работал режиссером на региональном телевидении. В начале 2000-х был главным редактором окружного информационного агентства «Интерфакс-Поволжье». Затем – заместителем директора Нижегородского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», начальником управления АО «Росэлектроника». В настоящее время развивает ремесленные проекты.

Живет в Нижнем Новгороде.

УЛЬЯНА

Ульяна Роднина торопилась домой, выглядывая в мартовских сумерках твердую утоптанную тропинку под ногами, но тут и там проваливалась отороченными мехом ботильонами в предательски подтаявший у земли рыхлый снег. Под снегом открывались стлтые черные лужицы, они охватывали ее ноги холодом и липли к обуви студенистой влагой. Хотелось перепрыгнуть, перебежать поскорее, но на мостовых и тротуарах было скользко, и потому Ульяна, сосредоточенная всем телом, словно канатоходец, порой поскальзываясь на каблуках, невольно взмахивая то правой рукой, в которой несла портфель, то левой – с намокшим свертком свиных отбивных, старалась ступать, напротив, осторожно. Чувствуя своё бессилие перед неубранной грязной дорогой, она едва ли не в голос смеялась тому, как, должно быть, нелепо выглядит сейчас со стороны. Пожалела, что не взяла извозчика, но тут же сама себе ответила: ехать-то недалеко и чего уж теперь, и шагала дальше, поправляя постоянно съезжающую на лоб беличью шапочку.

Вдруг остановилась. Вдоль улицы, в наливающимся синью воздухе один за другим зажигались фонари – кто-то невидимый для нее поодаль впереди рассаживал в каждой стеклянной пустой голове по бодрому огоньку. Ульяна в смешливом настроении подумала, что строгие эти головы похожи на домики из убранства рождественских елей, пусть и очень большие.

А другие невидимые разжигали лампы в темнеющих по сторонам улицы, уже настоящих домах, и те будто открывали желтые глаза окон, наполняясь изнутри теплым светом. Ульяна придумала, что это всё делалось для нее – невидимые и незнакомые добрые люди открывали для нее проход под зреющим чернотой пологом, у земли – плотным и тягучим, а выше, там, где еще проглядывалось серое небо, – путано-ворсистым из-за раскидисто кривых ветвей спящих деревьев.

Или ей казалось, что этот парад животворящего света сотворяется не в честь нее, но самим ее появлением – окажись она сейчас в дру-

гом месте, быть может, все здешнее осталось бы скучным, неуютным и сонным. Огляделась с улыбкой и засемила, будто пританцовывая, дальше.

Весело и радостно было в душе Ульяны и от дурашливых мыслей, кружащихся в ее голове, и потому, что день сегодня выдался удачный, а еще оттого, что Дмитрий наконец приедет. К нему торопилась, к человеку, которого однажды встретила, как сокровенное девичье чудо, и потому так и не подобрала для него в своем сердце надлежащего имени, переполненная радостными событиями дня, в надежде успеть с ужином и ничего не забыть, пока, разглядывая его, трогая его руки, его лицо и волосы, будет всё-всё-всё ему рассказывать.

«Уже приехал», – кольнуло сердце, когда Ульяна увидела свет и в своих окнах. Остановилась и облегченно вздохнула; счастливая почти детская улыбка осветила ее лицо.

Этот домик на Большой Печерской, сложенный из красного фабричного кирпича, тесный, но в два под высокой крышей этажа купил ей отец в качестве приданого в то время, как Ульяна, окончив университет, покинула родительский кров. Всего-то две комнатки: та, что внизу, с выгородкой под кухонную чугунную печь служила и гостиной, и столовой, а наверху, куда приходилось подниматься по узкой лесенке из крохотной передней, почти от самой входной двери, было ее личное интимное царство, которое она решила разделить с кем-то еще, только встретившись с Дмитрием.

Ульяна очень любила свой домик и, подходя, частенько останавливалась у калитки, оглядывая его. По сторонам – две старых липы и стройная, словно резная елочка. От самой отмотки тянутся плети плюща – она и радовалась ему, и боролась с ним, тревожась, что из-за густых зарослей могут отсыревать стены. Каждое лето произвольно прореживала напористое растение – пилила у самого корня древесные коряжистые стебли, карабкалась по приставной лестнице, распутывая цепкие пружинки молодой поросли, вытягивала из зарослей длинные, как щупальца, от общего корня плети. Всё делала сама, завела даже специальное огородное платье, нарочно строгое, глухое и серое. А под окнами у нее палисадник – здесь Ульяна разводит цветы, преимущественно кустовые, с крупными яркими соцветиями.

Но сейчас весь двор укрыт лежалыми сугробами, а поверх них – густо-синим вечером с легким фиолетовым опалом там, где стелются пятна желтого света, льющегося из окон; липы высятся огромными мохнатыми шапками гвардейцев-великанов.

Ульяна проскочила сквозь калитку, брякнув щеколдой, взбежала на крыльцо и распахнула дверь. Первое, что увидела – громоздкие мужские ботинки в калошах с распушенными шнурками и обмякшее на вешалке длинное пальто с бобровым воротом. Застучала каблуками на соломенном коврикe, сбивая с ботилонов влажный снег и как бы заявляя невидимому еще гостю о своем появлении. Подняла глаза – Дмитрий показался в дверном проеме гостиной, чуть наклонившись, выглядывая к ней с полотенцем на плече.

– Здравствуй.

Шагнув навстречу, высокий и красивый, с жаром обнял мягким вельветом своего пиджака. Ульяна, вспорхнув на цыпочки, обхватила его всего, шлепнув по спине и портфелем своим, и свертком со свинными отбивными, тесно-тесно, что было сил прижалась к нему. Они целовались, не способные сдержать улыбки, так, что не столько

соприкасались губами, сколько зубами сталкивались. И смеялись, и путались носами. Ульяна видела его глаза близко-близко, видела и свое отражение в них, и переливчатый от серо-желтого до зеленого, как у кота, цвет роговицы. Кружилась голова, и было очень сладко, она вся наполнялась радостным щекотом. Вот только это мокрое пальто, эта шапка, которая теперь съехала на затылок и вот-вот упадет с ее скрученной косы, эти холодные ботинки и портфель с отсыревшим свертком сковывали, тревожили ее. Ульяна словно задохнулась, сбила дыхание и отстранилась.

– Подожди минуту, милый...

Дмитрий взял ее вещи, быстро отнес в комнату и вернулся, помогая раздеться.

– Я так рада тебя видеть. Так рада!

Принимая пальто, Дмитрий поцеловал ее в ухо.

– Давно приехал?

– Час, может, чуть больше.

– Голодный?

– Я нашел у тебя печенье, – улыбнулся он.

– Ну сейчас, сейчас...

Прошли в гостиную. Ульяна увидела, что печь уже растоплена, уже булькает чугунок, а на столе заправлены свечи и расставлены приборы; на краю стола, нарушая порядок, лежала убранный лентами коробка с пирожными.

– Ты ждал меня... – Ульяна уже только в платье вновь прильнула к Дмитрию, спрятав руки на груди, и теперь уж с нежностью, не страстью, поцеловала его в уголок рта.

– Не знал, что у тебя есть, а потому купил картофеля, селедки, огурцов соленых и колбасы.

Дмитрий с хозяйским видом подхватил полотенце и подошел к плите, неловко снял крышку с чугунка, едва не бросил ее, горячую, ухватил обожженными пальцами мочку уха и заглянул в глубину вскинувшего пара. Потыкал в чугунке вилкой – «Скоро будет готово, мой руки».

– А у меня вот что есть, – сказала Ульяна, разворачивая наконец принесенный сверток.

– Ух ты! А я поленился ехать к мяснику.

– Ничего.

Дмитрий полил ей на руки над тазом, шутливо подталкивая плечом – она в ответ сказала ему на нос хлопья мыльной пены, – подал полотенце. Ульяна загрохотала было сковородой, но сразу отставив ее, принялась надевать фартук. Они оба затолкались у плиты.

– Все, садись, теперь я буду хозяйничать, а ты рассказывай, как съездил.

Вместо ответа Дмитрий произнес неопределенное «О!», вскинув брови и устремив указательный палец правой руки вверх, быстро отошел в дальний угол комнаты к кофейному столику у венского деревянного кресла, застланного клетчатым пледом, и вынул из дорожного саквояжа книгу. Он легонько подбросил ее в воздухе и, насвистывая что-то, поигрывая в такт плечами, повернулся к Ульяне с игривым выражением небрежности на лице, демонстрируя плотный увесистый том. Он словно бы говорил ей: «Суди сама, как я съездил. Знаю-знаю, что это достойно восхищения, но все-таки ничего особенного».

Но Ульяна уже топила масло на сковороде и уже держала в руках отбивную, чтобы уложить ее жариться, а потому не следила за Дмитрием,

лишь мельком обернулась, желая узнать, что он делает за ее спиной. Сразу всё поняла, протянула веселое «А-а» и вернулась к своему занятию.

Дмитрий подошел к ней, выставив книгу на поднятых руках обложкой вперед. Ульяна повернула к нему голову и, вытянув шею, не столько прочитала, сколько угадала в неясных бликах золотую на коричневом поле надпись: «Дмитрий Старостин. Там, где начинается тайга».

– Здорово! Ты доволен? – спросила она, вновь сосредоточившись на своей шкворчащей сковородке, на которой один за другим распластывала куски мяса. Уже не видела, как Дмитрий раскрыл жесткую еще в корешке книгу, согнул весь блок страниц и пролистал ее, распутив сухо шелестящим веером. Потом с шумом захлопнул, заметив, что Ульяна вовсе не смотрит на него.

– Доволен, да. В Петербурге уже выставлена в магазинах, скоро будет и в Москве.

Он повертел книгу в руках, словно в нерешительности, и понес ее к саквоюжу.

– Не убирай, я посмотрю потом. Но как твои встречи?

– Нормально. В Географическом обществе очень тепло приняли. Познакомился с разными людьми...

– С кем? Это и интересно. Рассказывай же!

Дмитрий причмокнул губами, садясь на стул, видимо задумавшись, о чем и о ком стоит рассказать.

– Ну, вот Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович, Иван Васильевич Мушкетов...

– Замечательно!.. О, картофель же! – опомнилась Ульяна.

Не закрывая сковороду, она загремела крышкой чугунок, фыркая на пар.

– Готов. Сольешь воду? Да вот прямо в таз.

Дмитрий бросил книгу в кресло и принялся помогать, они вновь затолкали у плиты. Зажав полотенцем сдвинутую на чугунок крышку так, чтобы оставалась небольшая щель, стал сливать, обжигаясь, кипящий картофельный отвар.

– Ставь на стол, – командовала Ульяна, переворачивая на сковородке куски свинины. – И достань, пожалуйста, из подпола сметану и масло подсолнечника – у меня где-то был сушеный укроп, очень хорошо будет с картошечкой.

Дмитрий, управившись наконец с чугуном, метнулся в переднюю, где под лестницей размещался небольшой подпол.

– Где она тут?

– Поищи. В горшочке. Лампу возьми.

Дмитрий закричал и вернулся в комнату. Пошел обратно, прихватив керосиновую лампу. В подполе было уставлено больше десятка глиняных пузатых горшочков, прочно запечатанных, обвязанных тряпицами или попросту накрытых блюдами. Принялся их перебирать – сметана нашлась лишь в пятом, масло – в восьмом.

– Давай сюда, спасибо, – Ульяна уже накрыла сковороду и доставала из буфета миску, в которой собиралась замешивать соус, – Тян-Шанский, Мушкетов... А еще? Ты не думай, я слушаю.

Дмитрий снова сел, усмехнувшись на это «я слушаю», ожидая, что Ульяна вновь прервет его рассказ.

– А остальных ты не знаешь, взять хоть ответственного секретаря Общества Добронравова – просто серые, как стена, чиновники от науки.

Дмитрий не хотел говорить, что само по себе этнографическое исследование Заветлужья, которому он посвятил три года своей жизни, не вызвало интереса среди именитых членов Географического общества, занятых преимущественно Сибирью и недавно присоединенными к империи азиатскими землями. Не хотел упоминать, что его приняли в Обществе лишь благодаря усилиям издателя, который, используя книгу Дмитрия, намеревался установить связи с важными в научных кругах людьми. Тот выпускал преимущественно романтическую беллетристику во французском стиле, а время от времени – английскую драму, но теперь на волне русской промышленной революции увидел новые возможности литературы практической и озаботился составлением репутации издателя серьезного и основательного.

– Сравнили с Мельниковым-Печерским, – ухмыльнулся вдруг Дмитрий, – представляешь?

– Это же хорошо, да? Лестно, должно быть, – отозвалась Ульяна, размешивая соус.

– Неплохо. Но вторым, сравнимым с кем-то еще, не хочется ведь бывать.

– Наверное.

Дмитрий даже и вспоминать не хотел, как буквально с первой же минуты своего появления, с первой же пожатой в Географическом обществе руки почувствовал себя чужим и лишним здесь человеком. Члены Общества, с которыми ему довелось увидеться, все эти заслуженные и умнейшие люди своего времени, были настолько погружены в собственные будничные дела, что остались холодно-безучастны и безразличны к его усилиям и достижениям. И Дмитрий, возбужденный выходом своей книги в свет, охваченный обостренным желанием признания, подобно влюбленному, который убежден, что весь мир непременно должен разделять с ним радость его чувства, услышал во встреченной отстраненности едва ли не враждебность.

Он надеялся предстать перед знаменитейшими мужами во славе первого исследователя бытового уклада староверов, замешанного на верованиях лесных марийцев, но ему досталась нелепая роль рекламной афиши своего издателя, верткого, крепко и ладно собранного человека, который везде оставлял экземпляр свежего издания «Там, где начинается тайга», собирал визитные карточки и договаривался о визитах. А когда они с ним вышли на улицу, то сразу же расстались, и Дмитрий в ожидании обратного поезда провел два дня, одиноко слоняясь по ветреным улицам Петербурга.

Сейчас он не хотел думать обо всем этом, находя главную ценность и настоящий результат не только недавней поездки, но и всех трудов последних лет в собственном издании этой первой его книги. Что ему было за дело, если тот же Добронравов, нисколько не смущаясь его присутствием, сравнивал краеведов с собаками, которые «грызут одну и ту же пустую кость».

– Год ведь за годом в одном и том же копаются. Но нужно отдать должное – со всем упорством и изворотливостью даже. Совсем ведь не замечают, как огромен мир вокруг, как истории, настоящей истории народов, нет никакого дела до их местечковых радостей. Пресное вульгарное бытописание!

Так говорил ответственный секретарь Общества, крупный, с гордо посаженной головой мужчина, который, едва поднявшись из-за стола, открыл несколько короткие для своего роста с женскими бедрами ноги.

Английский сюртук, изумруд в шейном платке и явственно наметившиеся брыли вокруг презрительно искривленного рта. Он повертел книгу в руках, пролистал ее и положил на стол.

– Дерзновения вам желаю, молодой человек. Будущее России на Востоке, большом неохватном Востоке. Хватит нам уже топтаться на месте. В европейской толпотне нам все-таки тесновато, – помахал указательным пальцем. – Когда решитесь – милости прошу.

Он произнес свое собственное «толпотне» с видом шеф-повара, пробовавшего на вкус вновь изобретенное блюдо. Было видно, что Добро нравов прислушивается, в нужных ли пропорциях объединены в этом слове «толкотня» и «толпа» и не стоит ли добавить сюда чего-то еще.

При этом в тоне его сквозил тот пустой пафос, который позволяют себе старшие в обращении к младшим, в минуту, когда даже их всегдашнее желание придать себе веса не способно скрыть небрежного безразличия ко всему происходящему вокруг.

Ульяна же, пережившая радость профессионального признания своего возлюбленного еще в прошлом году, когда издатель предложил Дмитрию контракт, и без того привыкшая гордиться и искренне восхищаться своим мужчиной, была почти равнодушна к тому, что вот наконец пресловутая книга вышла, теперь она стала свершившимся фактом и скоро разойдется по библиотекам с тем, чтобы остаться в них уж навсегда. Ей не важно было даже и то, как отпечатанная книга выглядит. Ульяна словно бы перелистнула эту страницу их жизни и теперь интересовалась каким-то другим новым настоящим, о котором еще ничего не знала и вот даже из скупых слов Дмитрия не могла в нем разобраться. А еще ее занимал приготавливаемый ужин – и потому, что любила кормить своего мужчину, и потому, что они приготавливали этот ужин вместе, и потому, что она сама к вечеру сильно проголодалась. Эта ее сиюминутная забота досадовала Дмитрия – он ожидал более яркую реакцию на явление своей книги, – но и защищала саму Ульяну от досады, что он так мало ей рассказывает после почти недельного отсутствия.

– Но ты какой-то отстраненный, словно расстроен чем-то. Нет? – Ульяна вернулась к плите, тронула жарившееся мясо ножом, склонилась над сковородой и, верно, оставшись удовлетворенной, повернулась, раскрасневшаяся.

– Нет, отчего же. Просто устал немного с дороги.

– Но теперь ты дома – отдохнешь. Все готово, давай ужинать, – добавила она, снимая фардук.

Дмитрий отошел к своему саквоюжу и вынул из него бутылку смирновки.

– Надо обмыть.

– С удовольствием, – отозвалась Ульяна.

Расселись наконец, рядышком, с двух сторон на углу стола. Дмитрий разлил водку, кончиком ножа подхватил немного из своей рюмки и, посадив капельку на обложку книги, сразу, словно боялся, что водка оставит неустранимое пятно, смахнул ее на пол.

– Аккуратист! – блеснула влюбленной улыбкой Ульяна, – Ну что ж, поздравляю, милый, ты хотел – у тебя получилось, – нежно пожала его руку, лежащую на столе. – Ты сделал, ты добился – очень тобой горжусь. Пусть теперь продажи пройдут удачно и пусть вслед первой будет вторая, – и уже смеясь, добавила: – А потом еще и еще.

– Спасибо, Уля, – ответил Дмитрий с чувством, перехватывая ее ладонь; нащупал на суставе ее левого безымянного пальца, там, где она

прижимала вязальную спицу, с силой затягивая петли, шероховатую мозоль.

Полноценная порция водки взбудрила их, с аппетитом принялись за еду.

– Ой, надо бы сходить наверх, совсем забыла... – вскочила вдруг Ульяна, со звоном откладывая вилку и нож, бросая на стол салфетку.

Но Дмитрий удержал ее за руку.

– Я уже растопил, не беспокойся.

Ульяна ласково тронула его коротко стриженную голову, умиленная предусмотрительностью, и села обратно, потаенно улыбаясь.

– Но стоит подбросить еще дров, – сказал Дмитрий, подмигнув, и сам пошел наверх.

В их домашней кухонной суеде Ульяна находила то же радостное волнение, тот же теплый и бесстыдно близкий шепот кого-то невидимого, которые отмечают предчувствие самого сладкого праздника. Она хотела бы остаться в неге этой ласковой суеты навсегда – толкаться у плиты локтями, разыскивать по углам съестные припасы, которые, бывает, и не помнишь, остались ли еще, даже радостно сердиться неизвестно на кого за то, что не нашел, торопиться с приготовлением разных блюд с тем, чтобы все они поспевали к одному времени, расставлять тарелки и потом вот так, вместе, сидеть за столом, не замечая, как за окном закатывается день.

На стене очнулись часы, зашуршали, щелкнули, скрипнули и из слухового окна резной избушки с закопченным размалеванным циферблатом вытянулась на пружине кукушка. Она так вскидывала крылья и распахивала клюв, словно кто-то крепко-накрепко держал ее за хвост, не давая выпорхнуть, – семь раз пыталась вырваться и устала. Эти часы с их старческой жестяной чахоткой порой надоедали Ульяне, и она останавливала их, но все-таки не убирала вовсе и всякий раз запускала заново.

Дмитрий вернулся, обтирая ладони одну о другую.

– Теперь уж, верно, хватит, – сказал он, усаживаясь.

По привычке холостяка Дмитрий положил в тарелку сразу всего, что было на столе, но теперь оглядывал собранное блюдо, словно сомневаясь, сочетаются ли его ингредиенты – тот же сливочный соус с селедкой, например.

– Ну а ты как, что? – спросил он.

– Ох, не знаю с чего и начать, – сказала Ульяна, с явным удовольствием приговарывая к обстоятельному рассказу. – Мне попало дело о краже, – начала она, но тут же себя перебила: – Подожди, все по порядку. Началось с того, что местный торговец обнаружил у себя в магазине недостачу, – принялись проверять гроссбухи, поднимать архивы, и выяснилось, что кто-то из служащих понемногу, но регулярно таскал из кассы на протяжении нескольких лет, – она говорила быстро и еда нисколько не мешала ей при этом. – Под подозрение попал один из приказчиков – нареканий прежде не вызывал, но больше, кажется, и некому, только он по должности мог так долго покрывать воровство. Разумеется, возможны также и сообщники. Но торговец не стал разбираться дальше и обратился в полицию. А спустя всего один день старшего приказчика того же купчины находят зверски убитым.

– Господи... И охота тебе возиться со всем этим, – тихо пробормотал Дмитрий, замешивая в распаренном облитом соусом картофеле кусочки селедки и свинины.

– Подожди, дальше еще интереснее, – воодушевленно продолжила Ульяна. – Все улики указывают на одного фабричного, который на допросе во всем сознается и объясняет свой мотив тем, что убитый-де склонил к сожительству его сестру, которая работала у все того же торговца продавщицей. Видишь, как лихо сюжет закрутился? Та якобы забеременела от приказчика, пыталась избавиться от плода, но не совсем удачно и попала в больницу – кажется, ничего серьезного, без угрозы жизни, но все-таки.

– Уф, запутался... Она беременна от какого приказчика?

– Того, которого убили.

– Это не тот, кого обвиняют в краже?

– Нет, другой. Вор – младший приказчик, а этот, убитый, – старший.

Дмитрий посмотрел на Ульяну, словно говорил: «Ты и сама видишь, что ничего здесь понять невозможно».

– Ну что непонятного? – воскликнула Ульяна с некоторым раздражением. – Торговец, кража из кассы – это раз, убитый за совращение продавщицы приказчик – это два.

– Хорошо. И?

– А потом появляется предположение, что эта самая продавщица и воровала те деньги из кассы, представляешь? Это еще не доказано, кстати, сама она упорно молчит, со всех сторон до смерти запуганная. Якобы старший приказчик наш убитый поймал ее за руку и шантажом к сожительству-то и склонил.

– Ага, – Дмитрий замер с вилкой в руке, словно внутренне собирая разрозненные обстоятельства дела воедино, а затем, видимо сложив некоторое представление, качнул головой. – И к чему ты это рассказываешь? Давай по существу, пока я рекогносцировку не забыл.

– Этим делом я сейчас и занята.

Дмитрий нахмурился, опять помолчал и спросил:

– Кого из них защищаешь?

– Всех.

– Как это?

– Сегодня мне удалось объединить два дела – о краже и об убийстве – в одно производство. Брат и сестра – мои клиенты.

– Убийца и воровка?

– Можно и так сказать.

– Одного я все еще не понял, – сказал Дмитрий, касаясь салфеткой губ, – зачем тебе это нужно?

Он выделил «тебе» особой интонацией, словно выдавил это слово.

– Я – адвокат, – твердо, но формально ответила Ульяна.

– Ты знаешь, что я спрашиваю не об этом.

Дмитрий налил еще и откинулся на стуле, одной лишь фразой вернув за их стол что-то из прошлого, совместным усилием пережитого и, казалось бы, преодоленного.

– Не начинай, – перебила его Ульяна. – Знал бы ты, какая интересная профессиональная задача – объединить в одно производство такие дела. Прокурор и потерпевшие стороны – все были против, как ты догадываешься, отдельно выделенное убийство, без родственного мотива более отягощено...

– Постой. Мотив родственной мести остается при любом раскладе обстоятельств, вне зависимости от того, воровала ли девушка, – и так, и эдак выходит, что брат убил ее совратителя. Кстати, истинный ли это мотив – вот вопрос. Возможно же и совпадение, может, убил он за другое,

а этим совращением, которое, кстати, тоже еще нужно доказать, лишь прикрылся. Другое дело, что в одном случае убитый приказчик овладел продавщицей, – допустим, что это действительно было так, – с помощью шантажа, а в другом – каким-то иным образом, можно предположить, что попросту воспользовался своей над ней властью. Как ни посмотри – мерзавец, но его жертва может вызвать сочувствие присяжных в разной степени...

– Ну да, я неточно выразилась, – махнула рукой Ульяна, давая понять, что Дмитрий увлекся несущественными деталями ее истории.

– Чересчур эмоциональное дело – нет? – с целой цепочкой недоказуемых допущений. Насколько могу судить, публика уже подустала от таких историй – «он богатый злодей, она бедная несчастная жертва»... – продолжил он нарочито спокойным и твердым тоном.

– Что же делать, если эти истории вновь и вновь повторяются...

– И тогда, – Дмитрий выставил руку немного вперед, давая понять, что еще не закончил и намерен договорить, – если уж касаться объединения дел в одно производство, стороне обвинения, в частности, торговцу тому, выгоднее обвинять младшего приказчика, которого изначально подозревали в краже, – с него ведь проще ущерб взыскать, чем с продавщицы. А кто виноват в действительности – не так уж и важно, лишь бы убедить присяжных в своей правоте, для того адвокаты и нужны, разве нет?

– Теоретически выгоднее, – ответила Ульяна, игнорируя иронию Дмитрия в адрес адвокатуры. – Но вот всплыли свидетельские показания против девушки. Заседание суда откроется послезавтра – посмотрим, насколько серьезны улики против нее.

– И много украли?

– Да рублей двести всего.

– За несколько лет?

– Да.

Дмитрий брезгливо фыркнул.

– Было бы из-за чего...

– Не в сумме же дело.

– Я понимаю. И все-таки. Липкая какая-то мерзость...

Дмитрий поднял рюмку, чокнулись без тоста.

– ...из-за двухсот рублей затевать судебное разбирательство, взыскивать крохи через приставов... За двести рублей продавать себя... Двумястами рублей насильничать девушку...

– Вот представь себе.

– Нет, не могу представить, какое удовольствие ты находишь копать в этой грязи, – вновь вывернул Дмитрий на тему, которая, видимо, больше прочего интересовала его в рассказываемой истории.

– Чего ты от меня хочешь? – вдруг вскрикнула Ульяна, словно заметила наконец за их столом призраков прошлого, которых Дмитрий возвращал своим монотонным голосом. – Я адвокат, это моя работа.

Отложенный ответ на что-то, сказанное ее мужчиной прежде, гораздо более резкое, быть может, и грубое, нечто, что причинило ей боль тогда и болью же отозвалось сейчас, когда он лишь недовольно ворчал. Словно в душе ее дрожала невидимая пружинка, натягивалась его нудными колкими замечаниями, а теперь сорвалась. Ульяна знала, что за хладнокровной монотонностью Дмитрия скрывается растущее раздражение, она знала, чем именно он раздражен, но изменить ничего не могла.

– Это не работа твоя, это твое желание, – продолжал давить Дмитрий, все более возвращая настроение того прежнего разговора, когда он взял эту ноту язвительности и теперь уж не мог ее оставить, не замечая ту боль, которую причиняет Ульяне своими словами, или этой болью унимая свое раздражение.

– Ты говоришь, двести рублей, но даже представить себе не можешь, что значит эта сумма для нее, для этой несчастной девушки, – горячилась Ульяна. – Двести – это сколько? На что хватит этих рублей, для чего их достаточно, а? Мы всякий раз считаем себя достойными чего-то большего, чем другие. Ты думаешь сейчас, сколько хлеба и колбасы можно купить на эти деньги, мол, не нищенствует же она, чтобы ее кража была извинительна. Но она молодая девушка, которая так же, как все, хочет быть не только сытой, но и красивой, хочет наряжаться, нравиться, понимаешь? Хочет чего-то в будущем! Или это уже избыточно для таких, как она, а? Красивые вещи, бытовой комфорт достойны лишь нас, людей умных и образованных, но являются непозволительной роскошью для этой простушки, так, что ли?

– Я не понимаю, о чем ты, – сказал Дмитрий, понизив голос под давлением внезапно резкой отповеди Ульяны.

– О живом человеке. Который попал в беду. Вот я о чем!

– Каждый день какие-то люди попадают в беду...

– И это ужасно. Это попросту до слез. Это невозможно допускать, не только уж мириться.

– Потому я и говорю, это твое желание. Не они тебя находят в мольбе о помощи, а ты их отыскиваешь со всею страстью эту помощь предложить, буквально навязать.

– Я могу помочь – значит, должна помочь.

– Чем? Обвинительного приговора не избежать...

– Можно смягчить наказание, можно привлечь благотворительную поддержку их семьям.

– ...ты попросту теряешь время – суд будет тянуться и закончится твоим поражением как адвоката. Защита сырых и убогих – вот что напиши над входом в свою контору, а вовсе не «адвокатура».

– Ты злой, – тихо проговорила Ульяна, склонив голову.

– Нет. Просто я говорю то, что тебе не скажет никто другой. Будет думать, но не скажет. Я как раз с твоей стороны смотрю на это дело и прочие такие дела. Я за тебя. Будешь еще? – Дмитрий вновь разлил водку.

– Давай.

– Я помню твое первое дело – вечный студент, возомнивший себя писателем, – сейчас ведь кто только не пишет! – запутавшийся в интрижке с прекраснородушной матушкой своего собственного ученика. Помнишь, муж тогда не только со двора прогнал и побил его, так еще и добился, чтоб ему в квартире отказали, а? Ты и его пожалела, когда он с требованием к арендодателю в суд пошел.

– Ты злой, – повторила Ульяна.

Дмитрий склонился к ней и обнял за плечи.

– Я люблю тебя и очень за тебя тревожусь.

Ульяна отстранилась, насуплено глядя в тарелку, толкнула его рюмку своей, как обиженный ребенок отталкивает примиряющую руку отца.

– Я так решила, и хватит об этом. А то дело со студентом я выиграла!

Ульяна прямо посмотрела на него, и Дмитрий заметил блеснувшие в ее глазах слезы.

– Ну, брось, пожалуйста, что ты...

Он вновь потянулся к ней, но едва коснулся напряженного плеча, сам отстранился и вздохнул, уронил руки на колени, повел взглядом по сторонам, желая, может быть, найти новую тему разговора, как-то отвлечься. Вид его книги, без особой радости принятой, теперь и вовсе казался нелепым – его задело, что Ульяна к ней так и не вернулась.

– Давай чайник поставлю, – проявление заботы вышло у него холодным.

Дмитрий поднялся, пошел к плите.

Повисло молчание. Он слышал, как Ульяна водит по тарелке вилкой. Она слышала, как Дмитрий, поставив на огонь чайник, ходит взад и вперед.

– Скажи что-нибудь хорошее, – проговорила она, сворачивая паузу, с обмякшей жалобной улыбкой. Пыталась предотвратить. Но не предотвратила.

– Ты не сможешь помочь всем, – в такт шагам заговорил Дмитрий, не способный сейчас отыскать ничего хорошего вокруг. – Невозможно никому помочь, попросту растрачивая себя, понимаешь? Невозможно это делать постоянно, быть занятым только этим. Так ты вычерпаешь себя до дна, досуха.

– Перестань, пожалуйста, – уже холодно прервала его Ульяна. – Пока только ты меня вычерпываешь, вымучиваешь своим давлением.

– Я лишь хочу, чтобы ты нашла свою собственную жизнь, осознала ее, укрепились в ней. Не жизнь других, которую ты себе придумываешь, а свою собственную, единственную, за которую ты по-настоящему отвечаешь. В чем она заключается, ты можешь сказать?

– Из раза в раз ты возвращаешься к одному и тому же. Давишь и давишь, словно тесто раскатываешь.

– Но я не понимаю! – Дмитрий выговорил «не понимаю» с нажимом, даже склонился и ударил себя по коленям, выпрямился, всплеснув руками. – Мне нужно объяснение, но я его не нахожу, – вновь заходил в разные стороны. – Кажется, говорю вполне разумные вещи, совершенно же простые, банальные, но ты словно не слышишь – попросту не отвечаешь. Вот я и бьюсь в эту стену. Как ее обойти, скажи! Как не замечать, что ты готова бросить свою жизнь под ноги любому, самому даже никчемному?

– Вот я такая, смиришься с этим и перестань уже. Бесталанная, слабая, глупая – как угодно назови – ни на что иное не гожусь. Но перестань уже!

– Это не так, не юродствуй. Но если даже и так, – Дмитрий остановился, – подумай хотя бы о том, что своим самоуничтожением ты унижаешь и всех, кто рядом, кто любит тебя. Во всяком случае, я на это не подписывался.

– Что это значит? – Ульяна быстро вскинула на него испуганный взгляд.

Дмитрий в слепой попытке в очередной раз достучаться до нее со своей упрямой правдой вдруг понял, что его слова прозвучали совсем иначе, чем он настраивал их. Хотел воззвать к ее гордости, но прозвучал угрозой.

– Да ничего это на поверку не значит, в том и всё дело, – сказал он, устало растирая руками лицо и ероша волосы. Так делает человек, снявший наконец надоевшую шапку, размотавший колючий шарф, что душил его, избавляясь от зуда, охватившего всю голову.

Чайник заклокотал. Он отставил его в сторону, вернулся к столу, уселся вполоборота, уперев локти в колени, уставившись в пол.

– Не надо. Пожалуйста, – едва ли не взмолилась Ульяна дрогнувшим голосом, с мягкой певучестью надежды, тронула его руку. – Все было так хорошо. Такой хороший был день...

Дмитрий не смог бы сейчас выдержать ее подбирающиеся к горлу слезы. Высвободил свою руку из ее рук, встал.

– Извини, я не хотел, – Ульяна услышала, что в его голосе было одно лишь жесткое корявое раздражение. – Пойду, поздно уже.

– Не останешься?

Она прятала глаза, и, глядя на нее сверху, он видел, как болезненно сжавшееся сердце отзывается в плечах ее и ее спине. Но Дмитрий не мог справиться с жаром охватившего его упрямства, пошел к двери, подхватив саквояж, но вернулся за книгой. Сейчас он ни о чем не думал, изнутри жестко расклиненный спазмом звериной гордости.

Ульяна не поднялась проводить его. Поднялась, лишь когда стукнула закрываемая снаружи дверь и в доме опустилась гулкая пустотой тишина. Заперла дверь и остановила, словно придушила, часы.

Потушила плиту, принялась убирать посуду со стола, заметила коробку пирожных, щелкнула по ней пальцем; бессильные слезы свободно текли из красивых грустных каштановых глаз.

«Он меня себе придумал». Это была не то чтобы мысль, вдруг поразившая ее или ею постепенно овладевающая, не убеждение даже, которое окончательно сложилось и требовало какого-то практического решения, это было всепроникающее ощущение, ощущение едва ли не самой жизни в ней. Ульяна не знала, когда оно появилось, не помнила, когда впервые отыскала его в себе, не сказала бы даже, при каких обстоятельствах это ощущение сформулировала для себя в ту еще пору ослепительной всепоглощающей влюбленности первого прикосновения. Тогда Дмитрий взял ее за руку просто потому, что они вместе смотрели, как садится за реку умытое майское солнце. В сплетении пальцев они передавали друг другу то, что не могли еще друг другу сказать. Уже тогда Ульяна ощущала, что этот мужчина не может любить ее настоящей, действительной. И затем, все эти годы, которые они проживали вместе, над словами, во взгляде его, в его манере обхождения с ней она явственно осознавала одно: «Он меня себе придумал». Она такая, а он совсем ведь другой. Как вообще мы оказались вместе?

Поначалу Ульяна смущалась этой мыслью – сейчас она уж с досадой вспоминала, что даже пробовала угадать, какой же он хочет, чтобы она была, пробовала этой другой действительно стать. Потом решила, что пусть уж будет как будет, как и должно, наверное, быть, что если и конечна их любовь, то пока она все еще длится. Она лишь строго следила за тем, не обманывает ли она его, не обманывает ли, по крайней мере, сознательно, чтобы подольше казаться ему такой, как он ее себе выдумал. И оттого едва ли не нарочно старалась бывать именно другой.

Но он не столько обманывался, сколько не замечал. Ульяна даже благодарила Бога за этот самый слепой и глухой, но такой крикливый мужской эгоизм, который, как она видела и по отцу своему, не столько отступает в мужчине с годами, сколько растворяется бессилием безразличия. Благодарила за то, что эгоизм мужчины этого, ее мужчины, был способен застлать для него весь мир, не только уж маленькую ее сделать совершенно для него незаметной. Она лишь радовалась тому, что вот был еще один день, когда она видела его, трогала его руки, лицо,

волосы, слушала его горячечные слова, совершенно не интересуясь, чем именно эти слова были разгорячены, счастливая одним лишь тем, что они все так же горячи, как и много лет назад. Биение ненасытной жизни в нем словно бы искупало ее непреходящее недовольство собой.

Все ее тревоги, постоянно терзавшие полную сомнениями душу, таили и утихали тогда лишь, когда они бывали вместе и он ее обнимал. В эту минуту никто из них не думал, какая она настоящая, та ли она или другая, и как это всё вообще возможно – они были вместе, и он ее обнимал.

Потом Ульяна словно ожигалась невесть как произрастающим в ней чувством вины. Она вдруг спохватывалась мыслью о том, не удерживает ли она Дмитрия около себя теми женскими хитростями, совершенно естественными и почти произвольными, перед которыми мужчины так безвольны и слабы. Та или другая, как есть настоящая или выдуманная – совсем бывает не важно, если животно вцепится. И Ульяна оглядывала себя, не замаралась ли, не случилось ли такое и с ними, как-нибудь случайно, стечением обстоятельств, совпадением душевных неосознаваемых движений – где-то в мутном нутре их любовного сплетения не образовался ли хищнический бабий кровавый переток. Она так его любила, что страстно оберегала их взаимную чистоту. Не только не посмела бы принять, но брезгливо отвергла бы любую жертву.

Но иногда Ульяна уставала. Ей казалось, что уставала все чаще. Не могла уже сдерживать ни себя, ни его. Ее любовь, так жадно в свое время отыскивавшая для нее Дмитрия, с годами становилась всё шире, всё глубже и проникновеннее. Она встретила его как себя, удивилась, что вот такое бывает, и пошла, любясь им, рядом. Но покой при этом не настаивал. В ее жизни сформировался плод, она оберегала его как нечто единственное настолько ценное и важное. Но умиротворение не снисходило в ее душу. Подобно матери, которая вновь и вновь распеленывает свое дитя, чтобы проверить, не мерзнет ли, и тем скорее простужает его, Ульяна суетилась тревожной щепетильностью, не всегда способная объяснить, в чем именно она сомневается, о чем именно беспокоится. Ее всегдашнее внутреннее волнение, словно безжалостный инструмент хирурга или художника, всякую нелепость окружающего мира проявляло для нее остро очерченной картинкой, которая немедленно отпечатывалась в ее собственной отдельной сокровенной жизни. И разрастающееся с годами множество этих нелепиц накрывало Ульяну уже с головой ощущением растерянности перед этим грузом неисчислимым множеством. Она не умела справиться, компенсировать этот груз иначе, чем все той же чистой, не принимающей никаких жертв любовью. Все той же, в свете которой золотистым ангелом сиял и ее Дмитрий.

Ее любовь становилась всё шире, глубже и проникновеннее, становилась всеохватнее. Со временем она расширилась настолько, что Ульяна уже не мыслительным допущением, а физически, кожей, всем своим существом начала ощущать предел своих сил – горизонт действительно существует. И теперь поверх слов Дмитрия и во взгляде его она слышала и видела не возможность конца, но его неизбежность. «Мама! – кричала Ульяна в душе своей. – Почему я такая?»

Особенно в те дни, когда все выпадает из рук и ничего не складывается, Ульяна путалась в себе все отчаяннее. Охватываемая жалостью к себе она надеялась хоть на какой-то отклик, простейшее слово в подтверждение того, что ее хотя бы слышат. В такое время Ульяна чувствовала себя настолько уставшей и вымотанной тревогами, что

уже и требовала этого отклика, усваивая манеры капризного ребенка. Но именно в такие дни бывало особенно заметно, что этот родной, самый близкий человек бывает не способен поддержать ее, сам на поддержку претендуя со всею алчностью.

Ульяна была готова и действительно стать уже какой угодно другой, лишь бы удержаться от распада, многое бы за то отдала. И в то же время твердо знала, что не отдаст за это ничего, что ее любовь сильнее ее самой, она охватит всё, что только повстречает в этом мире, пока выдерживает сердце. Тогда слезы отчаяния теплели в ее лучистых глазах и оборачивались слезами щемящего жалостливого умиления. Ульяна сворачивалась калачиком, как раненая собака, и засыпала.

Дмитрий вышел на улицу, бросил саквояж под ноги и, застегиваясь, огляделся по сторонам – вдалеке в стороне Сенной казались извозчицьи повозки, но в темноте было не разобрать, едут ли, стоят ли они. Решил выждать и принялся набивать трубку; раздраженные пальцы роняли липкую стружку табака на снег.

Первая мысль, которая посетила его, когда он вышел от Ульяны, была об одиночестве. Уверенно, словно в очередной раз повторяя это, он говорил себе об одиночестве – «полное и беспросветное». Зажал трубку зубами и, поднеся зажженную спичку к ее чаше, принялся пыхать, пересаживая огонь на табак. Ароматный дым успокаивающе окутал его. Дмитрий отбросил спичку, сунул руки в карманы – «Ну что же, значит, так». В голове стремительно, одна за другой, наперегонки и скручиваясь, летели обрывки обстоятельств разных их размолвок, вызывая горькое сожаление, что все его попытки объяснить ей, договорить, наконец, полноценно, так, чтобы она поняла, снова и снова ни к чему не приводят, словно бы он говорит на неведомом для нее языке. И если он злится, то вот именно на то, что она даже, кажется, и не слушает, всякий раз перебивает, путает незначительным, отвлекает на стороннее, заводя в тупик всякий разговор, взвинчивает его на те уровни, где уж только упреки и остаются. Как вот так получается? Почему опять? Невольно оправдываясь, Дмитрий про себя настаивал, что злится он на эту ее особенность скользить, уворачиваться от его доводов, но не на саму Ульяну. Ее он искренне, со всею нежностью, со всею страстью любил. Скажешь так и словно бы какое-то особое право получаешь. Да он и сейчас бы, если бы она выбежала за ним, был готов принять и приласкать ее. И снова пытался бы терпеливо объяснить, в чем именно она не права.

Дмитрий многожды пытался сдерживаться, ретроспективно старался понять, где именно находится та поворотная точка, после которой им уже не удастся вернуться в равновесие взаимопонимания, что-то себе представляя и впредь пытался предвосхитить опасность ссоры, но никогда не предвосхищал. С досадой находил себя уже в безвозвратном положении, когда мог только уйти. Все было нормально еще минуту назад, а вот – будто кто-то невидимый все вмиг перепутал и переменял местами – уже словно чужие. Зачем мне всё это нужно?

Неторопливо подкатила двуколка. Вороной конь шел шагом, высоко подгибая узловатые ноги, словно остерегаясь вымочить их в намокшем снегу, и качал головой. Извозчик сутулился на козлах, спрятавшись в высоком вороте тулупа.

– Куда?

– На Новую. Там покажу.

– Садитесь.

Дмитрий запрыгнул в повозку, которая неожиданно низко просела под ним на рессорах, и теснее устроился в углу, поставив саквояж рядом с собой на сиденье. Покатили. Напоенный влагой тяжелый воздух был к вечеру стыл и все тело, как ни кутайся, обдавал ознобом. Дмитрий пыхал трубкой и думал, что сейчас придет в свою крохотную квартирку, которую использовал как перевалочный пункт и где давно уж не бывал, – там нет ни куска хлеба, и он не помнил, найдется ли чистое постельное белье.

Поворотили на Осыпную к Покровке. У Земельного банка стоят два автомобиля, один – красный, весь вычищенный, сияющий в свете подъездных фонарей. Дмитрий видел такие лишь в Петербурге, прищурившись, разглядывал его.

Зачем мне всё это нужно? Это одно из тех каверзных восклицаний, которые лишь лингвистической формой своей представляются к кому-то направленными, нуждаются в крючковатом знаке, с помощью которого их можно за что-то зацепить, куда-то подвесить, но являются лишь бессмысленной репликой, множественным междометием. Подобную реплику в сердцах бросает человек настолько жалкий, что свою жгучую потребность в отклике оборачивает в самый жестокий для тех, кто любит его, вопрос. Дмитрий понимал это и удерживался от того, чтобы произнести его даже внутри себя. Этот вопрос лишь рыбьей волосяной косточкой, застрявшей в гортани, саднил задние стенки его естества.

Ведь тому тридцатилетнему уже студенту, что считал, что он призван познавать и описывать этот мир в качестве беспристрастного, но пытливого наблюдателя, нисколько не заботясь о том, за чей собственно счет он должен бездельничать всю свою жизнь, Ульяна не только вернула право проживания в квартире, в которой ему за долги отказали, но и подыскала работу, и – Дмитрий знал это – одалживала денег; правда, тот их честно вернул и был искренне благодарен. Но все-таки это ее участие в заботах и нуждах совершенно незнакомых людей, постоянно выходящее далеко за пределы адвокатского долга, было чересчур. Глупо это было – окружать себя и все глубже погружаться в неустроенный, шаткий, грязный, полный злобной истерики мир душевной низости, который разрешается единственно постоянным насилием.

Дмитрий находил простейшее объяснение в слабости женской натуры, беззащитности, отсутствии всякой твердости в характере Ульяны и старался ее, как мог, защитить. Бывало, метался в этих попытках и сам до надрыва, поражаясь тому, как она, этот умный, гордый, а порой упрямый человек, может быть настолько наивной, неразборчивой в своей доверчивости, настолько неаккуратной в поступках при всей своей щепетильности. Ульяна словно притягивала все возможные проблемы, как дворовая собака, вся покрытая ссадинами, собирает на свою шерсть цепкие цветки репейника.

Прошлой осенью был случай, когда Ульяна зашла в галантерейный магазин купить перчатки и просила его обождать – ничего своего дамского она никогда не покупала при нем и никогда не позволяла заплатить за себя. Дмитрий неторопливо направился вдоль по тротуару в ожидании, но приметил скамейку, подошел к ней и, смерив взглядом расстояние до магазина, решив, что заметит, когда Ульяна выйдет, присел...

Но уж выбрались на Новую площадь.

– Да, вон к тому дому с высоким крыльцом прошу, – сказал Дмитрий извозчику, нащупывая в кармане деньги. Спрыгнул в подмерзший снег, расплатился и, взбежав на крыльцо, стукнул дверным молотком. Открыла хозяйка, вдовствующая полноватая мещанка в домашней кофте, с павловским платком на плечах, с лампой в руке, – «Ах, это вы... Заждалась уже, милости прошу, проходите». Хозяйка, переваливаясь, повернулась от двери и тяжело заковыляла в комнаты, болезненно фыркая и словно поддерживая спину согнутой сзади левой рукой. Она маялась ревматизмом и теперь, видно, переживала новый приступ; Дмитрий заметил под болтающимся на широких бедрах подолом ее шерстяного платья контрастный орнамент по резинке вязаных чулок, выглядывающих поверх валенок.

Прошел в свою комнату, зажег лампу. Здесь не прибрано и пыльно, предметы и вещи словно обмякли без человека, омертвели, иссохли. Но было тепло – дотошная хозяйка время от времени протапливала все углы дома. «Сегодня уж не будет рассказывать о своих офицерах», – подумал Дмитрий, имея в виду болезненное состояние хозяйки, но хотел рассчитывать на то, что самовар ее горяч и найдется что-нибудь съестное. Разделся и принялся разбирать, наконец, саквояж; пресловутую книгу не глядя положил на полку, поверх многих других.

...Вот даже тогда Ульяна сочла виноватой именно себя. Он уже издалека, как только она вышла из дверей магазина с коробкой в руке, заметил в ее лице напряжение – брови то вскидывались удивлением, то сдвигались к переносице досадой, рот полуоткрыт, словно бы Ульяна что-то проговаривала. Остановилась, выглядывая его, – Дмитрий помаhal рукой и пошел навстречу.

– Что такое? Что случилось?

– Да представляешь, глупость какая...

Они пошли рядом, Ульяна смотрела себе под ноги, сосредоточенная, не отвлекаясь ни на него, ни по сторонам.

– Расплачиваюсь – все сосчитала, по одной купюре из кошелька доставала, выходило ровно. А он мне говорит, что не хватает еще одного рубля, ну продавец-то. Как так, говорю, без сдачи, пятнадцать рублей, как вы просили. Он перебирает купюры – выходит четырнадцать. А вокруг люди, витрины рассматривают, не вот уж близко, но все-таки – так глупо! Тут я вспомнила, что когда я деньги выкладывала, продавец их собирал стопкой, стучал еще ими о прилавок, как игральными картами. И думаю – стянул стервец рубль, пока я в кошельке-то копалась. Но как же теперь докажешь? Понимаешь, ровнехонько у меня выходило! Я же знаю, сколько у меня в кошельке было, вижу сколько осталось – отдала ровно пятнадцать рублей, – рассказывала Ульяна, раздраженная обидой. – И вот пока думала об этом, вдруг мне так стыдно стало, – всплеснула она руками, – а что если я путаю? Может, потратила этот рубль раньше, может, не сегодня, а вчера я кошелек проверяла – вчера ведь и правда хлеб покупала. Сама обсчиталась, а на человека наговариваю. Господи! Стыдоба-то какая!

– И что дальше?

– Ну что, отдала ему рубль, не знала уж как извиняться, хотелось провалиться от стыда. Я не красная?

Ульяна резко остановилась и повернула к Дмитрию лицо.

– Нет, – улыбнулся он. – Ты красивая.

«Не переживай, – добавил Дмитрий, – бывает». Взял ее руку, нежно сжал ее на своем локте. «Наверняка и стянул правда, но что уж теперь», – подумал.

Тогда был яркий сочный день еще теплого сентября, они гуляли по городу и никуда не торопились. Тогда было странно и смешно даже беспокоиться о том злосчастном рубле. Но сейчас, разжигая печку и усаживаясь в кресло подле такого же, как у Ульяны, кофейного столика, Дмитрий чувствовал все ту же кислую ноту болезненного самоуничтожения, которая его в ней так остро раздражала. Будто бы его самого обманул тот продавец (он представлял его в самом пошлом облике городецкой росписи – косоворотка навывпуск, жилет, картуз, сатиновые шаровары), обманул и смеялся над ним, как над простофилей. Гордость Дмитрия шипела, как раскаленный камень, на который прыснули водой. «Ну а тебе что за дело? Не ты же вышел в дураках. А я как-нибудь переживу», – говорила, бывало, Ульяна, когда он выговаривал ей, вновь и вновь поражаясь ее готовностью расстаться не только с лишним рублем, но, казалось, и частицей себя самой, будто бы они бесчисленны и бесконечны, эти частицы. «Но как же не я? И я тоже! Вместе с тобой. Мы же...» – восклицал он в ответ, не находя слов для того, чтобы описать это самое «мы».

У хозяйки действительно был готов чай и нашелся кусок вчерашнего пирога. Она по неизменной привычке в этот вечер, как и всегда, раскладывала пасьянс, но действительно не пустилась в обычные воспоминания о своей юности. Дмитрия забавляло, сколь многих офицеров она знавала – и ведь кавалеристов преимущественно! – разбиралась в чинах, орденах и обмундировании. Уланы, драгуны, гусары, даже казаки! Он догадывался, что она и сама уже не понимает, что в ее рассказах правда, а что вымысел, – слишком часто путалась в именах и событиях, – и не подозревал за ней былого распутства даже в помыслах, слышал в ее воспоминаниях скорее мечтания провинциальной барышни, увядшей на городской окраине. Но, бывало, подшучивал, сожалея, что сам офицером не является – «Например, флотским, а?» «Тогда бы – ух!» – откликнулась хозяйка. Но сегодня ей не до шуток.

Напившись чаю и совершенно уж согревшись, Дмитрий снял пиджак и, как был в брюках, улегся на посеревшую без него постель. Душа его размягчилась под мерное потрескивание полешек в печи, и он подумал об Ульяне с той нежностью, замешанной с жалостью, какую чувствуешь к ребенку, когда он, разбежавшись, вдруг бахается о пол. Этой естественной нежностью сочилась его любовь к Ульяне во всякую минуту, когда он не думал об этой любви, не думал какая она.

Представил хрупкую фигуру, в которой и грация, и порывистость, живые, вечно занятые руки, ее непослушные русые волосы, которые она собирала и всеми силами удерживала на затылке и собиралась постричь и не стригла, ее милое лицо с трепетными губами, чуть вздернутым носиком-пуговкой, который краснел, когда она простужалась и шевелился, когда она оживлялась в разговоре. Который она морщила, собираясь чихнуть. Особенно смешно выходило, если при этом Ульяна вязала – невольно порхала локтями, словно крыльями, касаясь носом тыльной стороной ладоней.

Вот этот шарф с благородной шелковой нитью, в котором он приехал, его варежки и несколько пар теплых носков, настолько плотных, что, казалось, они свяляны, – это ведь все она связала! Своими слабыми руками. Для него. Натирая кожу на пальцах до мозолей. Сколько раз спасали его и носки, и варежки эти, сытно пахнувшие овчиной даже и сейчас, спустя несколько лет, словно ни разу не надеванные, в его брожениях по ветлужской глуши. Ему казалось, что не так уж и нуж-

но это было, но раз уж вяжет, то и пусть, почему бы и нет. И ни разу не приходила ему в голову мысль, что, быть может, и вязать она научилась, и взялась за это дело только лишь ради него – тонкие пальцы с усилием затягивают петли грубой колючей нити.

Ведь он сам, если подумать, как и все прочие, которые, как казалось ему, зачастую лишь обманывают и смеются над ней, беззащитно пользовался ее безымянной, ни на кого не направленной, но буквально всякому даденной щедростью. Что было бы с его книгой, предметом его гордости, так величественно, словно это сокровище явленной им в Географическом обществе, если бы не Ульяна? Если бы она не взялась многократно переписывать его черновики, указывать на нестыковки мыслей и описаний в тексте, исправлять орфографические ошибки и расставлять запяты.

Дмитрий вдруг представил, что она вечерами, не замечая, как на-двигается и проползает над ней ночь, сидит за столом, работая над его рукописью. Эта женщина работала над его книгой, возможно, даже и больше и тяжелее, чем он сам, уже потому, что это было не ее сокровенное дело. Свои собственные сокровенные дела она отставила на потом. Она упорно билась и достигала не своего результата. Ее имени не было на обложке.

Дмитрий даже привстал на локте, сел в постели и вовсе поднялся, вдруг озаренный простою и ясною мыслью – то, что он представлял слабостью Ульяны, вдруг открылось ему как ее дар. Не особенность натуры, сложившейся в смешении крови предков, не развитая внутри ее существа обстоятельствами жизни, а нечто, в герметичном виде переданное извне. Дар истинный, необъяснимый, настолько редкий, что в оценке своей преодолевает любые представления о ценности. И оттого нестерпимо тяжелый. Словно даден он не только со стороны, по равенству того мира, в котором мог быть рожден, миру этому, где может только расходоваться, но и свыше, из обиталища невиданных здесь возможностей. Этот дар невозможно нести уже потому, что никак не догадаться, зачем и почему он даден, даден именно тебе. Он безразличен к твоей воле, совершенно от нее независим, но настолько силен, что безжалостно требователен.

Чувство горячего всепроникающего стыда, которое словно пламя свечи, к которому поднесли лист пергамента, корежит и плавит его, прежде чем сжечь, охватило Дмитрия. И он ясно представил себе большие, чуть вытянутые в уголках глаза Ульяны, полные добра и чуть удивленного ожидания доброты. «Это называется – карие», – смеялась она, поправляя его. «Нет, каштановые», – настаивал Дмитрий, любуясь бархатистым оттенком ее задорных, подернутых легкой грустью глаз.

Он стоял теперь в своей комнатке с низким потолком, посреди разбросанных вещей, и ему становилось жутко, глядя в эти остро очерченные, как у лани, глаза. Так жутко бывает, когда вдруг задумаешься о пределах звездного неба, о тех постройках, которыми невесть к чему крепится этот несуразный, перебираемый беспрестанно, как четки, но покоящийся в безучастном безмолвном постоянстве огромный мир.

Что же мне за дело до тех, кто пользуется мной, обманывает меня, чтобы за спиной посмеяться, если эта женщина – много ли таких еще, сколько их бывает, сколько их вообще может быть в одном поколении? – если эта женщина любит меня. Меня она любит. Ей почти тридцать, мы вместе уже шесть лет. Шесть лет – это она вместе со мной. Она прожила в них и мою жизнь тоже, не дожидаясь даже предложения замужества.

А я? Где эти шесть лет был я? Там же, где и все прочие, чью жизнь она разделила собой, прожила ее вместо своей жизни, не воздвигая своих собственных результатов, но свершая результаты чужие.

Дмитрий кинулся на постель и зарылся лицом в подушку. Он помнил, что не в первый уже раз поражался этим осознанием, потом вновь и вновь словно бы забывая о нем, со временем растворяющемся, заслоняемым от внутреннего взгляда будней невозможностью его раз и навсегда принять. Можно буквально сойти с ума, задумываясь о тех звездных постромках. Он дрожал слезами, не способный понять, какой силой выдерживает это осознание она.

Ульяна же сидела на своем тесном диване с высокой спинкой, под полочкой с ветлужскими коряжками и камнями и представляла, как он сейчас засыпает.

Следующий день Ульяна провела, разбираясь с новым своим делом. Поднялась по привычке затемно, оделась и спустилась вниз, волоча за собой, но словно отряхивая следы вчерашней досады. На столе так и стояла початая бутылка водки – Ульяна усмехнулась и прибрала ее. Умывание холодной водой приятно освежило, но в остывающем доме она почувствовала озноб и поскорее разожгла печь. Вновь пустила часы. Завтракала, пила горячий горький кофе со вчерашними, отсыревшими уже эклерами, а затем здесь же, в своей игрушечной столовой, принялась читать и перечитывать полицейские протоколы, делать пометки и формулировать план защиты своих доверителей. По ходу дела она выписывала в блокнот вопросы, которые стоит задать тем или иным свидетелям, потерпевшим и обвиняемым, пыталась предугадать возможные их ответы и формулировала теперь уже к ним новые вопросы. Так вырисовывалось схематичное развесистое дерево, которое Ульяна кое-где украшала из озорства листьями то как будто клена, то дуба, то осины. Некоторые из вопросов выходили особенно удачными и каверзными – напротив таких Ульяна рисовала ромашку.

Была довольна, дело спорилось. К часу пополудни закончила и отправилась в острог к заключенным, чтобы подготовить брата с сестрой к судебному процессу – «Не волнуйтесь, завтра лишь первое заседание, ничего страшного не произойдет, и от вас ничего особенного не потребуется».

Пока она ждала приема у дежурного жандарма, пока оформляли ее посещение, пока водили по коридорам, из здания в здание, в разные камеры, пока переговорила с подопечными и всячески уверила их и успокоила, что, мол, приложит все силы, что надежда есть и не надо отчаиваться, вновь стемнело. Робкая еще весна хоть и подпускала теплого днем ветра, хоть и рвалась к полудню ярким высоким солнцем, но чуть дело было к вечеру, словно отступала и пряталась – сегодня и вовсе морозцем прихватило. В фиолетовых сумерках воздух был свеж и прозрачен. В пустом небе таяла лазурь и проклевывались тихие звезды.

Сегодня Ульяна не торопилась, думала заехать к родителям, но на душе было все-таки плаксиво, а она старалась не показываться им в расстроенных чувствах, сама оберегаясь от расспросов, и без того всегда тревожных, и матушку с отцом оберегая от лишних волнений. Может быть, к подруге Кате? – давно не виделись, у нее кот и годовалый сынишка. Нет. Взяла извозчика и поехала напрямик домой, памятуя о том, что со вчера осталась готовая еда.

Дом стоял пустой и темный. Ульяна вошла и сразу почувствовала волглый холод, который первым селится во всех оставленных домах. Занялась печками. Сухие дрова кончились, пришлось принести с улицы. Варешки не надела впопыхах – обломила о расщепленный сучок ноготь. С досады набросала поленья под лестницей кучей. Принялась подтирать на полу мокрые грязные следы от натасканного снега. Разделась наконец. Отряхивала от прилипших опилок пальто на вешалке. Зажгла чугунок в столовой, пошла наверх.

Ульяна надеялась, что Дмитрий все-таки появится сегодня. Это еще может быть. Но что, если нет? Страх того, что, быть может, это и есть тот самый конец, о неизбежности которого она думала – ей казалось, что думала уже со смирением, но все-таки еще не разрешала себе его представлять, – словно нависал над ней, как ночная тень, вдруг отделившаяся от стены и двинувшаяся навстречу, удлинняясь. Ведь это тоже может быть. Заметила пыль и принялась обходить все углы с тряпкой. Потом ее бросила. Села у пустого стола, положила голову на сложенные руки – ничего-ничего. Ничего-ничего. То ли успокаивала себя, то ли констатировала окружающую пустоту.

Разогрела вчерашнюю свинину, раздавив в ней же вареные картофелины. Поела на краешке стола, прибрала посуду. Пыталась было читать – Достоевского – но путалась и вязла в тексте. Что ж стоит ему просто прийти? Вот сейчас. Без объяснений, без извинений и вовсе даже без слов, просто прийти в любой роли и настроении – со страстью любовника, с теплым участием брата, или отстраненностью усталого мужа, фамильярностью давнишнего друга, или деловитой строгостью компаньона – всякий годится. Но было тихо. Лишь жестяная капель часов, с шелестом, словно невидимые капли падали на бумагу. Она посмотрела на ходики и отложила книгу, слишком многого от нее сейчас требующую. Принесла вязание и, вся собравшись, сосредоточившись на перекрестии спиц с перевязью ниток, принялась одну за другой вылавливать и затягивать петли, стараясь своими движениями попадать в такт ходиков. Кукушка не оставит ее, напомним ей – можно вовсе не поднимать глаз.

Наутро Ульяна проспала самой себе назначенное время и поднялась тяжелая, разбитая. Заторопилась, едва не забыла погасить плиту, укладывая в портфель бумаги и свой вопросник. Не опаздывает к заседанию, но нарушает собственное правило приезжать в суд за полчаса, чтобы привыкнуть к месту, приготовиться, успокоиться – ее голос и без того всегда дрожит, она и без того будет волноваться на публике. Тряслась в коляске, зажав портфель на груди, словно защищаясь им, проговаривала про себя все первые фразы, которые произнесет на суде. «Дамы и господа присяжные! Уважаемый суд! Защита считает недоказанным...» Дальше будет проще.

Ей казалось, что улицы сегодня многолюднее, что извозчик неловок, что летевшие из-под колес ошметки грязного снега могут попасть на подол ее платья. Подобрала его выше, чем следовало, когда спрыгивала наземь. Не заботясь об осанке, стараясь лишь придать взволнованному лицу строгое выражение, поспешила в тяжелые двери суда. И первое, что увидела, – Дмитрий.

Он стоял в расстегнутом пальто, в развязанном на шее шарфе, сминая в левой руке шапку, а в правой держа, словно то был воздушный шарик, маленькую, юно зеленую елочку, украшенную красными пузатыми звездочками из клееной ваты. Остановилась, мгновенно просияв,

и чуть было не присела от вспыхнувшей радости. Кинулась к нему, обняла за шею и горячо поцеловала смеющимся ртом.

– Как ты здесь? Что это такое? – Ульяна покосилась на елочку, удерживая его голову в своих ладонях, не спуская глаз с родного лица.

– Это Новый год, – прошептал Дмитрий, шутливо озираясь, словно открывал ей тайну, которую никто другой не должен был узнать, – я подумал, что нам стоит его встретить.

– Новый год? Ах ты, мой хороший! Ну что ж, давай встретим, раз уж он приходит.

– Адвокат Роднина! – вдруг вмешался в них резкий, хриплый с прорезью звона голос.

Рядом появился судья Уступов, крепкий сухой старик с наглаженными слева направо по лысеющей голове тусклыми волосами – манерой тем более нелепой, что, забываясь, он порой смахивал их рукой напротив справа налево.

– Адвокат Роднина, не забываетесь! Вы находитесь в здании суда, а не... – он потянул шеей в тугом вороте сорочки, видимо, не решаясь проговорить то слово, которое пришло ему сейчас на ум.

– Ваша честь! – не смущаясь и отдавая судью светом своей радости, воскликнула Ульяна, – Простите, пожалуйста! Это мой жених, он только что приехал, мы очень давно не виделись... Простите, дорогой Петр Григорьевич.

Она хотела ухватить его за руку, но судья фыркнул и, прогибая спину, будто кроме гнева был охвачен еще и тугим бандажом, пошел прочь по коридору.

– У меня заседание сейчас, – заторопилась Ульяна, вновь обращаясь к Дмитрию.

– Я знаю, потому и пришел.

– Это ненадолго. Подождешь или домой поедешь?

– Подожду конечно, с краешку посижу.

– С ней? – улыбнулась, показывая на елочку.

Дмитрий в ответ шутливо приобнял деревце.

– Где ты взял-то ее? – неожиданно удивленно спросила, уже как будто отходя от него, но не желая расставаться.

– О, это я тебе потом расскажу. В меня стреляли, да, надеюсь солью, травили собаками – что ты, целая история! – все так же шутил Дмитрий, счастливо улыбаясь, провожая ее глазами и невольно следуя за ней в обнимку с игрушечной елочкой.

– Ну все, пошла, – она махнула ему рукой, уже и вовсе отворачиваясь.

– Я с тобой, – улыбнулся он, останавливаясь среди проходивших мимо судебных клерков.

Поэзия

Алексей ОСТУДИН

Родился в 1962 году в Казани. Учился в Казанском государственном университете на филологическом факультете. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького.

Автор десяти книг стихотворений, многочисленных публикаций в литературных журналах и альманахах. Выступал организатором трёх Форумов современной поэзии (2004, 2005, 2008) и поэтических вечеров в Казани, в которых приняли участие ведущие российские поэты и видные литераторы из ближнего и дальнего зарубежья. Соучредитель двух ежегодных казанских поэтических мероприятий, фестиваля имени Лобачевского и Хлебниковского фестиваля (2011–2017).

Лауреат республиканской премии им. Г. Державина (2018), Всероссийской премии им П. Бажова (2019). Живет в Казани.

В ТЩЕТЕ БЛАГИЕ ПОМЫСЛЫ ЗАСТРЯЛИ...

Литинститут

Не пишется талантливому впрок,
от мавзолея где-то в получасе,
где не учились Лермонтов и Блок,
но ты смотри, не хуже получайся,

придётся пояс туже затянуть,
случится слава – лишь бы не проспась её,
но для того, кто выбрал этот путь,
за высшей мерой следует распятие,

не всякий в мастерстве своём пригож,
кому – жар птица, а кому-то курица,
и, застилая свет, холодный дождь
проходимы вдоль улицы сутулится,

а ты кончай вести себя, как псих,
понятно, что на крыльях листопада
Тверской бульвар не вынесет двоих,
как ни крути, а может, так и надо.

Арион

Осуществлённая вчерне
природа голодна,

нас было много на челне,
а смерть всего одна,

посвистывает пулям в лад,
не жалуя задир,
где каждый сам себе солдат,
приказ и командир,

на шее, крестик оброне,
развяжется гайтан,
и пятки беглого огня
сверкают тут и там,

сухих разрывов львиный рык
прокатится в груди,
огонь по-прежнему открыт –
без стука заходи,

но как спасителя узнать
в разливе золотом,
что душу смог перевязать,
перетянуть жгутом,

спасибо, зоркий постовой
в неверном свете дня,
за то, что ослепил того,
кто целился в меня.

Русское поле

Припоминай, когда-то был да
сплыл по реке песком хрустящей,
свободы перебравший дылда
сыграв Пандоре в долгий ящик,

мы все учились понемногу
плевать на то, что пишут в прессе,
кто на кресте, тот, слава Богу,
периодически воскресе,

а нет – попробуй отвязаться,
событий цепь не разрывая,
поскольку сумасшедшим зайцем
приехал на войну в трамвае,

где ветер заблудился что ли,
где по стерне хромай и хрумкай,
жизнь насекомых бьётся в поле
сердечками пастушьей сумки,

над речкой, заводью плешивой,
горит закат кровососущий,

и винтокрылые машины
гадают на трофейной гуще,

как неподъёмным грузом двести
на сцене жизни поместился
большой театр военных действий,
что Станиславскому не снился.

Монрепо

Безносы, босы и сутулы,
но вечностью упасены,
стоят античные скульптуры,
как проститутки у стены,

а я сегодня, веки в кои,
готов к любой из них на грудь,
в фонтане утопил биткоин,
чтоб возвратиться как-нибудь,

не наяву, а так, заочно,
бывает, белый свет не мил,
когда луна изнанкой ночи
перелицовывает мир,

ворона подавилась сыром,
стога, как яхонты, горят,
безжалостные звёзды зырят
на «хенде хох» речных коряг,

где пугало, в обнимку с ветром,
журчать поручено ручью –
монетку бросить не допетрил,
и так всё время здесь торчу,

привет, картина маслом постным,
несносных дятлов перестук,
скрипят прокуренные сосны,
и дым отечества вокруг.

Шулай

Взлетают звёзды брызгами с весла
и остаются там, в ночи проточной,
где тишина крапивой поросла
в строительных лесах на нервной почве,

густой избыток ивовых плетей
нас не пугает, к шалостям несклонных,
ну разве что зимою, без затей,
катались с горки, в детстве, на иконах,

такая, понимаешь ли, тактик
а если что – податься в простофили,
где запад-наперёд совсем не дик
на вид, но пианиста застрелили,

у пьяных нрав по-прежнему суров,
с архитектурой старой нынче туго,
нет проходных обоссанных дворов,
спасаясь от погони, срезать угол,

а утром и не вспомнишь ни раза,
с чего бы вдруг задал природе перца,
как мыло, лезет облако в глаза,
и жизнь прекрасна, если приглядеться.

Была не была

То вуаля, а то аля-улю,
в тщете благие помыслы застряли,
у барышни, к какой ни зарулю, –
депрессия и облако морале,

отчаянья звенит зубная нить,
воздушных замков в подполе не строю,
достаточно слегка притормозить,
чтоб вовремя в себя прийти порою,

поднаторевший в суржике блатном,
в пол глаза наблюдаю, умудрённый –
везёт Арахне с оптоволоконном,
и Млечный Путь опять заткали дроны,

пошита ночь из крепкого сукна,
луна в неё бросается без всплеска,
оглянешься – помашет из окна
беременная ветром занавеска,

пора на боковую, а пока,
от фонарей увёртываясь ловко,
не раскурить цыплёнка табака,
когда в ноздрах мороз, как газировка,

но, близость чуда чем ни подмени –
очнёшься, позабыв о чём прошу-то
Всевышнего, над люком польньи
с аккордеоном вместо парашюта.

Незабудни

Армия ревнителей бессонна,
мне от них за право ремесла

надоело ужас как Самсону
отбиваться челюстью осла,

делят комиссары в шлемах пыльных
кассу с аватарами божеств,
за окном шипит дождя напильник,
потому что жизнь такая жесть,

что бы там Карузо ни напел нам,
с детства здесь у каждого, дружок,
голова, посыпанная пеплом, –
это Гоголь рукописи сжёт,

выглядит неряшливо и плоско
новый мир, попавший в колею, –
самолёты в небе на присосках,
а луна и солнце – на клею,

мой шесток опричниками занят,
кемска волость шведом занята,
вот и пью в автобусе на заднем,
проливая водку мимо рта,

всюду Русь раскинулась красиво –
вызывая слёзы и восторг,
пахнет чесноком и керосином
тем сильнее, чем дальше на восток,

хоть не дотянул до коммунизма,
где то недород, то передоз,
знаю, приживутся в организме
плети кровеносные берёз.

Бессоница

Удачу за рукав ещё не поздно
поймать, переходящую на шаг,
из небосвода выдернуты звёзды –
и тусклый свет сочится сквозь дуршлаг,

во тьме хоть чёрта лысого облапишь
и мамонта узнаешь по хвосту,
ребёнок разминает хлебный мякиш,
а ты педали давишь в пустоту,

товарищей десяток мой не робок –
до них у страха руки короткие,
взаимозаменяемы, бок о бок
покачиваемся, как поплавки,

где тлеющей листвы чадит кадило
и вороньё катает в глотке ртуть,

красавице, что в замке разбудил я,
без поцелуя снова не уснуть,

в кармане димедрол на всякий случай,
пружины подвели былую прыть,
всё правильно, хотя могло быть лучше,
не спится, значит, так тому и быть,

пусть сказка наяву не по зарплате,
порой знобит от мелких передряг,
подруга, хватит квакать на закате,
отдай стрелу и рядышком приляг.

Большая игра

Того гляди планета в пропасть жахнет
и всё, что льнуло с нежностью ко мне,
не зарекаюсь от краплёных шахмат,
от несъедобной пешки в рукаве,

овеществлённый памятью короткой
слона с ладьёй меняю на коней,
где вместо табуретки сковородка,
и мы с чертями в очереди к ней,

которым за поэзию не платят,
встречают по нательному белью,
коньяк наполеон в шестой палате
по лузам от бильярда разолью,

а был когда-то парнем неплохим я,
гоняя во дворянстве голубей,
рос под гербом ОСОАВИАХИМа,
но жить не научился, хоть убей.

Владимир РЕШЕТНИКОВ

Родился в 1971 году в поселке Сухобезводное Семёновского района Горьковской области. Окончил Нижегородский строительный техникум и Нижегородский педагогический университет. Служил в исправительной колонии строгого режима в должности старшего психолога. В настоящее время – майор в отставке. Руководил литературным объединением «Ветлужские зори» (п. Красные Баки Нижегородской области) с 2015 по 2023 годы.

Автор девяти сборников стихов и многих публикаций в периодических изданиях. Лауреат литературных премий им. Бориса Корнилова (2011, г. Семёнов), «Болдинская осень» (2012, Н. Новгород), «На встречу дня» им. Б. Корнилова (2013, Санкт-Петербург), премии Нижнего Новгорода (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Семёнове.

СТО ТЫСЯЧ «Я»

Музыка дождя

Вместо солнечного лета
Грянет музыка дождя:
Не походишь ты раздетой,
Нервы дядям бередя...
Не пройдёшь по кромке моря,
Как в дурацкой песне той,
Где женатик дядя Боря
След целует за тобой.

Остаётся мне добавить,
Сдай билет, верни рубли –
Рейс отменят до Дубая
И отменят на Бали...
Ты меня поправишь – Бали,
Да не суть, за мной пойдёшь
В те ромашковые дали,
Под проворный русский дождь.

Ты расстроишься немножко,
Но немножко погода,
На своих промокших ножках
Спляшешь музыку дождя.
Дождь прольётся весь, до донца,
Нежно наклонив цветы.
Счастье, ты поймёшь, – не в солнце,
Счастье это – я и ты...

Снег

Мы соскучились по снегу,
По слепящей белизне.
Он спустился в ночь на среду,
Так божественно, извне.
Снизошёл, спустился, выпал...
Через меру, будто впрок,
Чистотой стеля на выбор
Новых тысячи дорог.
Смаковались перья снега,
Как любовь и как стихи...
Ну а он всё падал с неба
На земные на грехи.

«Быть бы живу, не до жиру» –
Быть хорошим новостям.
Мы соскучились по миру,
Неожиданным гостям.
И как чудо – в ту же среду,
Отряхая снег с груди,
Возвратился сын к соседу,
Невредим, непобедим...

Сто тысяч «я»

Я – интурист, за мной не станет –
И в якобы «чужой» стране
Других туристов из британий
Лежащих вижу на земле...
По их шевронам разным страны
Я досконально изучил,
Романтик и военный странник,
Тревожно дремлющий в ночи.

Я адресат – мне дети пишут
Из тыла письма о добре,
Давно читаю при затишье,
Два года будет в сентябре...
Я бывший зек, меня склонили
Вернуть Бахмут и умереть,
Но выжил я, без всяких или,
Врачом обкромсанный на треть.

Я «оккупант» – себя купаю
В окопной жиже, а за мной
Невдалеке карга рябая
Звенит ржавеющей косой.
И как монах теперь молюсь я:
«Не выдаст Бог, не съест свинья».
И всё, что величают Русью,
Оно и есть сто тысяч «я»!..

Она

Ни Бог, ни чёрт, и уж не Запад
Её приход не запретит:
Она появится внезапно,
Как после хвори аппетит.

Она завалится нетрезво
В бушлате грязном на плечах
И будет Правдой души резать
Всех, кто в неведенье чах.

Она развеет трупный запах,
Как нашатырным, из ноздрей...
И снова побеждённый Запад
Воздвигнет памятники ей.

Она придёт одна – Победа!
Одна на всех, на сотни лет!
И поминальные обеды
Сольются в праздничный обед.

Напрасно, что ли, умирали
На фронте чудо-мужики.
И почерневшие медали
Запрячет скромно в сундуки...

Равиль

Равиль, родной, поджарь-ка чебуреков,
Когда вернёшься с мировой войны,
Для нас – для русских, мирных человек,
Извечно «виноватых без вины».

Сидим в тылу и не находим места
Меж интернетом и ТВ в углу.
Поджарь, Равиль, из тоненького теста,
Как, помнишь, в девятнадцатом году?..
Тогда мы пели на уютной кухне,
Не ведавшие страха и войны,
Не помышляя, чтобы Запад рухнул,
(Но в чём сейчас уже убеждены).

Сготовь их по татарскому рецепту,
Как бабушка, Акрамовна, твоя,
Она и роды принимала цепко,
И чебуреки делала шутя.
Равиль, поджарь, как нынче жарить этих!..
На языке чтоб было горячо.
Твоё съедим, моим запьём – отметим,
Друг другу молча тыкаясь в плечо...

Бабушка со знаменем

В Киевской ли, Харьковской
Области со зла
Гаубицы харкали
На краю села.
Бабушка со знаменем
Красным, как заря,
Вышла в полном здравии
Против упыря.

Он харчи ей впихивал,
И шутил, как друг,
Вытащив по-тихому
Знамя то из рук.
Бросил и неистово
Принялся топтать
Всё её, что чистое, —
Родину и Мать!

Мировой повесткою
Бьёт теперь поддых
Бабушка советская,
Ждущая своих...

Держись

Держись, взвалив себе на плечи
Всё бремя тягостных времён.
Не лечит время, а калечит
И тех, кто слаб, и кто силён.
Мы, тлея, тридцать лет редели,
Едва держась за эту жизнь...
О возрождающий идею,
Держись, за нас теперь держись!

Пионерка

Время бежит по спирали:
Всё повторяется ведь,
Галстуки мы постирали,
Их остаётся надеть...
Ты не грусти, пионерка,
Юность напомнив мою, —
Точно, без всяких «наверно»,
Встретимся снова в маю!
Будь к обороне готова!
Буду готовый к труду!
Точка. Решетников Вова.
Галстук надену, пойду...

Надежда КНЯЗЕВА

Родилась в 1986 году в г. Лукоянове Нижегородской области. Окончила Арзамасский педагогический институт, работает учителем английского языка в сельской школе.

Автор четырех книг стихов. Лауреат премии журнала «Нижний Новгород», поэтических конкурсов «Всемирный Пушкин», «Северная звезда», «Бегущая строфа», «Филатов фест», «Всемирный день поэзии» и других.

Член Союза писателей России. Живёт в Арзамасе.

ЛЕТОПИСЬ ЛУГА

* * *

Если бы я была лёгким и хрупким поэтом,
То притворилась бы ветром.
Мои случайные слёзы точили бы камень.
Трогать бы занавески невидимыми руками,
Трепать объявлений оборванную бумагу.
Сохнущее бельё трепыхалось бы флагом
Страны, о которой в сводках не слышно,
Где из новостей только – созрела вишня
И скворцы ее обклёвывают, вереща.

Не привыкать к вещам.
Деньги на ветер – не худшая инвестиция,
Как-то живут же птицы,
А что внутри,
что было,
того уже не отнять.
Тех же, кто дóрог, издали можно обнять
Воздухом тёплым,
Главное – не жалеть.
Главное – не тяжелеть.

Мачты качать, волновать воображение
Вольных художников, пишущих отражение
Синего неба в зелёных глазах залива.
Кажется, быть счастливой.

Звуком моим прозрачным, протяжным был бы
Пляжный дудук недопитой пивной бутылки.

Все восхищались бы: как она может порхать,
На землю не наступая?
Жаль, что я не такая.

* * *

Хотела дойти до реки, где кончаются крыши,
 Где вьётся тропа через жёлтые заросли пижмы,
 Где мостик провис и касается телом воды.
 На той стороне (если шуриться, глазу не больно)
 За лугом поджаро торчит силуэт колокольни
 И, как карандашики, воткнуты в поле столбы.

Хотела дойти до реки, до того невеликой,
 Что через кусты ежевики видны только блики,
 Где утки утюжат тенистую рябь на мели,
 Где мир ещё молод и жизни законы едины –
 Под зонтиком неба ты или под зонтиком тмина,
 И я – ещё ящерка в теплой ладони земли.

Хотела дойти до реки, но ландшафт изменился,
 Как будто во сне повернулся и набок свалился:
 Искомкано поле, в лицо не узнать водоём.
 Где раньше с тропы воробьи разлетались пугливо,
 Теперь кубометры какой-то строительной глины.
 Похоже, здесь будет ещё один микрорайон.

Bromus inermis

Это ты ногу стёр и она болит
 Это трава костёр и она горит
 Думаешь память стёр и теперь забыт
 Просто запрятал её далеко за быт
 Быт нарастает словно кирпичный дом
 В горле растает скоро привычный ком
 Пологом все заслонит мол потом потом
 Колокол все звонит не пойми по ком
 Трубку возьмёшь там голос издадека
 Будто малой ты знал того старика
 Он говорил смотри вот течет река
 Он говорил смотри назови жука
 Ишь ты востёр запомнил какой он вид
 Скоро придём не куксись-ка без обид
 Это ты ногу стёр и она болит
 Это трава костёр и она горит

Летопись луга

Утро упруго и многолико.
 Летопись луга – чистая книга,
 Музыка Грига, звонкая влага,
 Свежескошенная бумага.

Сумерки вянут, воздух светлее.
 Спит тёплый шмель на лиловом шалфее.
 Ближе к земле в ожидании зноя
 Пеночка прячет гнездо травяное.

Небо изменчиво, как ему верить?
В нем выплывает созвездие Лебедь.
В нем расцветает созвездие пижмы.
Крик петуха прорезается трижды.

Снятся цветам стрекозиные танцы.
Травы сплетают зелёные пальцы.
Сонный подсолнух вот-вот повернется:
Ищет на ощупь отца его, солнце.

Скоро взойдет: свято место не пусто.
Капли росы собираются в бусы.
В воздух возносится радуга-лига.
Летопись луга – лучистая книга.

* * *

Пшеницу сжали, её не жаль -
В печи воскреснет румяным хлебом
Над жёлтым полем такая даль,
Что невозможно не падать в небо.

В зенит горячий, в тугую синь
Нахальным слётком скользни в задверье
И руки-крылья окрест раскинь
И облаков маховые перья.

Какая роскошь, какая блажь –
Войти в вираж на высокой ноте,
Где чертит белым, как карандаш,
Твой самолётик.

Сирень

Свежо восторженно плаксиво
Струится время из окна
Сирень так сказочно красива
Сиречь весна
В начале мая каждый мистик –
Желанье пробует на вкус
И съеден горький пятилистник
Но сладок пульс
Себя от маленьких безумий
Стеречь – занудно как стареть
Когда в глазах твоих Везувий
Что плавит твердь
Густая ночь молчит сиренью
Раскрыв объятия свои
В окне звезда поёт свирелью
Лови я падаю лови

Игорь МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в поселке Реттиховке Приморского края. Образование высшее техническое. Работает на атомном предприятии.

Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Номах. Искры большого пожара», «Маяк», «Корнюшон и Рылейка», «Сланские были и небылицы» и других. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Москва», «Роман-газета», «Новый мир», «Юность», «Дружба народов». Книги входили в короткие списки литературных премий «Ясная Поляна», «Большая книга», «Русский Букер» и других.

Живёт в Ногинске, Московская область.

ВРЕМЯ ПИСЕМ БЕЗВОЗВРАТНО УШЛО

– Спасибо, – она взяла протянутые цветы. – Только ты, пожалуйста, не приходи больше.

И закрыла дверь.

Вот так.

Я специально смотрел некоторое время в зрачок глазка, думал, она поднимет шторку, посмотрит. Но нет. Темнота в зрачке не дрогнула, она не захотела узнать, здесь ли я.

Я спустился на несколько ступеней вниз и остановился. Опёрся плечом о почтовый ящик, один из многих, что висят между первым и вторым этажами. Закурил, посмотрел на побелку лестничного пролёта над собой. Там висели искореженные, словно их мучили в застенках, чёрные трупики спичек.

Странно. На работе мы так хорошо общались. Флиртовали. Легко, непринуждённо, как в старом французском кино. Так и хочется сказать, чёрно-белом, но нет, скорее всё же цветном. Цвет её глаз, цвет кофе, чёрное-белая плёнка не передаст. А я здесь именно из-за её глаз.

«Только ты, пожалуйста, не приходи больше»... Почему? Что плохого в том, что я узнал в отделе кадров её адрес? За взятку, конечно, коробку бельгийского шоколада. Я вспомнил, что в огромном кармане моего старомодного плаща лежит ещё одна точно такая же коробка. Фигурки морских созданий – ракушек, коньков, звёзд... Выложил коробку, поставил на ряд почтовых ящиков. Не нести же обратно.

Очень люблю именно этот шоколад.

Затянулся сигаретой, поднёс тлеющий пепел к коробке. Тонкая прозрачная плёнка оболочки начала расползаться от жара. С тихим удовлетворением следил за метаморфозой.

Зазвонил телефон.

- Да?
- Зачем ты приходил?
- Подарить цветы. Увидеть.
- Спасибо за цветы.
- Пожалуйста.
- Надеюсь, ты не очень обиделся.
- Нет, не очень.

Я водил сигаретой, и плёнка расплзлась, убегая от приближающегося огня.

- Я совсем не обиделся. Просто... Не знаю. Не понял, наверное.
- У тебя красивый плащ.
- Спасибо.
- Как из фильмов семидесятых.
- Это отцовский. Примерно тогда и куплен. Отчаянное ретро.
- Ты далеко?
- Нет. Думаю, не очень.
- Где?
- За стеной.
- То есть?

– Я никуда не ушёл. Стою за стеной, размышляю. Знаешь, довольно неплохо провожу время.

- Посмотри в ящике восьмой квартиры. Есть что-то?

Я посмотрел в круглые отверстия на дверце. Посветил фонариком на телефоне.

- Что-то есть.
- Письмо?
- Нет, не похоже. Реклама, по-моему.
- Как обычно. Я так... На всякий случай спросила.
- Ждешь писем?

– Нет. Но приятно тешить себя надеждой, что однажды вдруг придёт письмо.

- Время писем прошло.
- Согласна. Но это же очень грустно.
- Наверное.
- Видишь спички над собой?
- Чёрные, прилепленные к побелке?
- Да. Это я их туда прилепила!

В голосе её звучала неподдельная радость.

– Мама рассказывала, давно ещё, как они это делали. Я попробовала, получилось.

- Сейчас такое редко встретишь. Секрет почти утерян.
- Смотрятся безобразно.
- Зачем тогда сделала?

– Просто из ностальгии по тем временам. Сейчас смотрю первый сезон «Твин Пикс», уже не помню по какому разу. Какое же изумительное было время. Стильные люди, стильные лица, стильные жесты. Золотой век.

– Это было время, когда все отчаянно боялись ядерной войны. И она была очень вероятна. Золотого века не было никогда, но мы можем при желании поместить его в любое время.

- А всё равно, в него хочется верить, в Золотой век.

В двери щёлкнул замок.

- Входи, – сказала она в трубке.

Я торопливо поднялся. Потом вспомнил про «бельгийцев», спустился, разорвал располосованную оболочку, сунул в карман.

Ручка подалась вниз с мягким, вкусным для слуха, щелчком. Я вошёл, прикрыл за собой дверь. В коридоре было темно.

– Разувайся и проходи, – донёсся из комнаты её голос.

Я прошёл.

Она сидела в кресле, подобрав ноги и закутавшись в плед.

– Очень красивый плащ, – повторила она, оглядывая меня.

Отец умер рано, почти не носил его, но по ткани было видно, что ей уже лет тридцать. Примерно столько же, сколько и мне.

В комнате полумрак, шторы закрыты. Единственный источник света – огромный экран, на котором танцует Лора Палмер.

Я открыл коробку шоколада, она высунула из-под пледа руку, помедлив, выбрала морского конька и утащила под плед.

Закутанная в ткань, она напоминала броненосца, а может, ракушку.

Я сел на пол.

Серия следовала за серией. Я больше смотрел на неё, чем на экран, а она не отрывала взгляда от сериала. Был вечер пятницы.

Утром субботы я проснулся всё там же, на полу. Она продолжала следить за похождениями агента Купера, но это, по-моему, был уже третий сезон.

– Ничего, если я открою шторы?

– Ничего, – ответила она, глядя в телевизор.

Коробка шоколада была пуста.

Я раскидал шторы, открыл окно.

– Надеюсь, я не сильно храпел.

– Нет, – она оторвала глаза от экрана, и в них что-то сверкнуло, губы её живо шевельнулись в улыбке. – Мой папа храпел гораздо громче. И страшнее.

На последних словах глаза её, лицо заискрились таким внезапным восторгом, что я рассмеялся.

– Отец был Геракл, атлант. Офицер морской пехоты. Я дочь Чёрного дьявола, почти мифологический персонаж.

Она засмеялась, охотно, доверчиво и одновременно плотнее кутаясь в плед.

– Можно я, наконец, сниму плащ?

– Я, честно говоря, не поняла, почему ты не сделал этого сразу.

Контраст между какой-никакой, а близостью на работе и образовавшейся здесь внезапно огромной дистанцией, когда мы были один на один, показался мне вдруг таким разительным и неестественным, что я смешался.

Её сверкающие кофейным блеском глаза, укутанная, упрятанная под пледом, съёжившаяся фигурка и огромная, заполняющая собой всё вокруг улыбка... Я почувствовал, что меня качает.

– Спал на жёстком, в неудобной позе, – оправдался я.

Она замерла. Некоторое время смотрела на меня так, что моё состояние правильнее всего будет описать как «время остановилось», а потом предложила:

– Кофе?

Я не люблю кофе, если только это не кофе её глаз.

– Чай, – сказал я.

Я не торопил события. Она тем более. На работе мы больше не флиртовали. Но разговаривая, задавая самые простые вопросы и получая

на них не менее простые ответы, понимали, что расстояние между нами истончилась до тонкости плёнки на коробке бельгийского шоколада.

Кто бы что не говорил, а семидесятые и восьмидесятые – время триумфа голливудского кинематографа. Я приходил к ней, ложился на пол, она садилась в кресло, укутывалась пледом, и мы смотрели, смотрели, смотрели...

Хорошие парни побивали плохих, верные жёны оставались верными или если уж уходили, то к бесповоротно любимым, добро не походило на зло, а зло на добро. И мы возвращались в этот простой мир сначала один-два раза в неделю, потом три-четыре, потом – каждый день.

А когда однажды утром проснулись рядом, она спросила голосом твёрдым, словно и не спала:

– Теперь ты бросишь меня?

– Хуже. Теперь я останусь с тобой. Вместе со старым плащом и кучей нелепых тряпок из семидесятых.

– Ну и хорошо, – сказала она и придвинулась, так близко, что ближе и невозможно.

– Знаешь, я до сих пор не досмотрела третий сезон «Твин Пикс». Боюсь разочароваться.

– Какой сегодня день недели? – спросил я.

– Суббота, кажется.

– Немного поспим и, конечно, досмотрим.

КОГОТЬ ЛЕВИАФАНА

Есть легенда о том, как в суп одного рыбака волею случая попал обломок когтя Левиафана – морского чудовища, превосходившего размерами величайшие города того времени. Рыбак досадливо поморщился, обнаружив в супе нечто несъедобное, похожее не то на кусочек кости, не то на камушек, и с недоумением выбросил его.

Всё. Конец истории.

Людмилу Марковну, да-да, дважды тёзку актрисы Гурченко, родные оберегали от любого стресса из-за выявленной ещё в глубоком детстве болезни сердца. И, надо признать, забота их оказалась столь действенна, что старушка дожила до вполне мафусаиловых годов – чуть за девяносто.

Газет её лишили родители ещё в школе, телевизор она не терпела «из-за невыносимой пошлости», радио презирала, бабьи сплетни её раздражали. Так, по совокупности означенных причин, Людмила Марковна умудрилась прожить свой век вне политики и исторических катастроф. Родственники даже подозревали, что она до сих пор живёт при КПСС, но спрашивать её о том боялись.

В двадцать первом веке она продолжала носить большие шляпы с перьями страуса и платья с яркими бусами. На пальцах неизменно два-три перстня, с неогранёнными, почти булыжного размера яшмой, агатом, горным хрусталём, бериллом, малахитом, в зависимости от настроения.

Любимое чтение – классика, любимые спектакли – по Чехову, Островскому, Сухово-Кобылину. «А зори здесь тихие...» считала почти современным произведением и неизменно плакала в финале. Также к вполне современным относилась «Шута Балакирева» и «Юнону и Авось».

Соседи её, люди добрые, знавшие о слабом здоровье старушки, разговорами её старались не донимать, помня обещание дочери, что если причиной смерти Людмилы Марковны станет беседа с кем-либо из соседей, она засудит любого и обеспечит виновнику если не тюрьму, то нищету.

Впрочем, даже и без этих угроз никто не осмелился бы заставить скакать галопом слабое сердце милой, обаятельной, самую малость не от мира сего старушки.

Лето наша героиня проводила на даче. Выращивала цветы, смородину, крыжовник. Но по большей части сидела в кресле-качалке и читала, обмахиваясь веером.

Уезжала, как правило, в начале мая, возвращалась в середине осени.

И поэтому, когда в начале октября в пустующую квартиру нашей героини влетели обломки сбитого беспилотника и произвели небольшой пожар, у её родни оставалась буквально неделя-полторы, чтобы привести квартиру в порядок.

Людмила Марковна наслаждалась прозрачным осенним теплом и, конечно же, ни о чём не подозревала. Слушала Гайдну, Рахманинова, читала Ростана, Бокаччо и гладила дремлющую на коленях собачку чихуахуа по кличке Морфей.

Её немолодая дочь вместе с мужем и внуками сбились с ног. За весьма короткое время им было необходимо сделать ремонт на кухне: вставить новое окно, отмыть гарнитур и холодильник от копоти, заменить линолеум, ну и так, кое-что по мелочи.

Когда Людмила Марковна в сопровождении родственников вернулась домой, она скинула босоножки и опустила на пол собачку.

– ...Ребята, вы выглядите очень уставшими, – сказала она, продолжая начатый в машине разговор. – Вам нужен отдых. Хотите, езжайте на дачу. Она теперь в полном вашем распоряжении. Хоть сожгите её, – засмеялась она своей шутке.

Потянула носом воздух.

– Я такая растяпа, надо было оставить окна открытыми хотя бы на «зимнее проветривание», – с извиняющейся улыбкой посмотрела она на дочь. – Опять всему виной моё тепличное воспитание и природная непрактичность. Застоявшиеся запахи мутировали во что-то странное: какая-то смесь запахов гари и свежего ремонта.

Дочь, зять, внуки глядели по сторонам и вспоминали, какой тут был разгром: пятна копоти, обрывки сгоревших штор, сорванные двери кухонного гарнитура.

– Этим летом я увлеклась Ростаном. Его знают в основном благодаря «Сирано де Бержераку», но он интересен и как поэт. Вот, например, «Ода Реймскому собору»:

Он лишь бессмертней стал благодаря врагам.
И мир, любуясь им, с презрением отметит
Следы презренных орд.

Людмила Марковна всплеснула сухими ручками.

– Но, боже мой, как же хорошо вернуться домой. Здесь моя цитадель, здесь всё неизменно. Я чувствую себя здесь черепахой в панцире.

Она прошла вдоль книжных полок, трогая книги кончиками пальцев.

– Они всё те же: Толстой, Бунин, Маркес, Достоевский. Уверена, я могу узнать их на ощупь. Хотите, проверим?

Каждый из родственников вспомнил, как они отмывали от копоти эти древние, почти антикварные, фолианты, которые она ценила едва ли не дороже жизни.

Дмитрий, внук, поставил на кухне чайник.

– Дорогие мои, вам правда надо отдохнуть. А я, бессердечная эгоистка, заставила вас перевозить меня с дачи домой.

– Ну не могли же мы оставить тебя там зимовать, – попыталась отшутиться дочь.

– Нет, у меня там есть кое-какие запасы. Я могла бы протянуть на них ещё довольно долго. Макароны, тушёнка, гречка. У вас запасливая бабушка и мать. Скажи, Димок, у тебя ведь много пожившая и весьма житейски опытная бабушка, нет? — обратилась она к внуку.

– Ты, бабуля, чудо.

– Вот! От носа до кончика хвоста, – засмеялась Людмила Марковна, разбирая привезённые с дачи остатки провизии (не выбрасывать же!). – Милые мои, спасибо, что носитесь со мной. В выходной день сорвались

с места, погрузили моё хламьё, а его вон сколько, в машину и вернули нас с Морфеем к родным пенатам.

Она обвела маленькими, окружёнными сеточкой морщин глазами сидящих за столом, увидела пакет молока, лежащий возле мойки.

– Ах, молоко-то не убрала. Хозяюшка...

С дверцы холодильника упал магнитик с надписью «Витязево», и за ним открылся закопчённый клочок, одиноко и ярко смотрящийся на белом фоне.

Серо-чёрный островок, со спичечный коробок размером, пропущенный дочерью, выглядел чужеродно, как траурная лента на дне рождения.

Людмила Марковна в необъяснимом волнении смотрела на пятно копоти и не знала, что сказать. Невесть откуда навалившийся страх окатил её.

– Что-то не то... Что-то не то... – прошептала она.

Глаза всех собравшихся обратились к закопчённому прямоугольнику. Каждого словно прошил заряд тока.

«Как я могла его пропустить?» — подумала дочь, растерянно пытаюсь вспомнить, как она отмывала холодильник.

– Это... просто след от магнита, – внезапно поднялся внук. – Сейчас делают ужасные магниты, они пачкают холодильники. Но, впрочем, его легко отмыть.

Он повозюкал подушечкой указательного пальца по дверце, потёр рукавом рубашки, и след вскоре действительно исчез.

– Магниты? – приходя в себя и робко улыбаясь, переспросила Людмила Марковна.

– Магниты.

– Димок, зачем же ты рубашкой-то, – приходя в себя, машинально укорила внука бабушка.

– Это дачная, ей уже ничего не страшно, – чувствуя, как по телу его бегут льдинки облегчения, ответил тот.

Через минуту дважды тёзка великой актрисы уже смеялась и громче всех шутила.

– Дима-Димок, тебе надо учиться врать девушкам в глаза, мы ужасно любим быть обманутыми. А ты такой простак. Уверена, захоти ты обмануть улитку, и она бы тебя раскусила в момент.

– Ну, ба... – отворачивался внук. — Опять ты...

– Хочешь, тренируйся на мне, как на кошке. Но хотя я-то знаю, ты человек слишком высоких моральных принципов, чтобы врать даже в мелочах. Однако если что, знай, я разрешила.

Потом, когда шли домой, внук вспоминал историю про осколок когтя Левиафана, которую прочёл в подаренном бабушкой, кажется, на восемнадцатилетие, томике Борхеса.

– Иногда мне кажется, она всё-всё понимает, но, чтобы не расстраивать нас, делает вид, будто живёт на облаках и ни о чём не догадывается, – сказал отец.

ПОСЛЕДНЕЕ

«Последнее»... Какое жуткое слово.

Оглянешься вокруг... Вот эта квартира последняя в моей жизни или нет? Обои, надеюсь, не последние, да и книг на полках, наверное, ещё прибавится.

Последнюю сигарету я, скорее всего, уже выкурил. Я не курю, но в юности были попытки.

От телевизора мы отказались лет пятнадцать назад. Хочу верить, что тот, последний, был действительно самым последним телевизором в моей жизни. Хотя, конечно, глупо радоваться, что нечто в твоей жизни уже случилось в последний раз.

Боюсь, что в Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, Финляндии, Швеции я больше никогда не побываю. Нет, может, политика ещё отыграет назад, выкинет внезапный кульбит, но верится с трудом. Не то чтобы я влюблён во все эти Франции-Греции, я свою, такую-сякую, Родину люблю больше их всех вместе взятых, но ощущение уже случившегося последнего раза доставляет известные страдания. Не хочется верить, что не будет больше ни Барселоны, ни Юнг-Фрау, ни Санторини, ни Халки, ни Нотр-Дам, ни плит Айседоры Дункан и Нестора Махно в колумбарии на Пер-Лашез.

И последний в своей жизни «Луна-парк» я, похоже, уже видел. И в «ушастом» «Запорожце» больше никогда не проеду. Не встречу в море с морской черепахой. Некие шансы, конечно, есть, но, рассуждая трезво, они невелики.

Больше никогда не услышу в шесть утра по радио гимн СССР. А ведь когда-то, много лет назад, было в моей жизни утро, когда я слышал его в последний раз.

Время безжалостно. Извините за трюизм.

Задуматься, а ведь сколько последнего уже было в моей жизни!

Возможно, я уже видел в последний раз лежащий горизонтально месяц. Это было относительно недавно, в Дели. Но хочется верить, что увижу его ещё. Он так необычно выглядит для русского глаза, этот месяц, в прямом смысле слова похожий на лодочку. У нас это фигура речи, на востоке – реальность.

Боюсь, в Лягушачьем пруду, главном пруду своего детства, я в последний раз тоже уже искупался. Когда он был, тот последний раз? Вспомнить бы...

Последнюю стопку самбуки я, надеюсь, выпил. Это было в Литве на «Диснае», фестивале молодых атомщиков. Первая самбука в моей, достаточно насыщенной алкоголем, жизни и, хочу верить, последняя. Не понравилась. Хотя, когда речь заходит об алкоголе, ни от чего зарекаться не стоит.

А вот в озере Луодис, на берегу которого проходил фестиваль, я уже точно искупался в последний раз. И, конечно, не помню, как это было.

«Последний», «последняя», «последнее»... Отчаянием веет.

Я не помню, каким видел отца в последний раз. Он погиб, когда мне было десять. Хочу, пытаюсь вспомнить, как происходило наше последнее общение, и не могу. Помню, незадолго до этого, как предвестие беды, умерла моя белая мышь по кличке Белка. Помню, как стучал в дверь наш сосед Андрюшка, испуганно прокричавший: «Игорь, там твоего папу сбили». Помню, как, едва успев обуться, выбежал из дома, как увидел рыдающую мать. Отца к тому времени уже увезли на скорой. Мать просила сказать, жив ли он, но врач не говорила ни да ни нет... Это я всё помню. А вот о чём мы говорили с отцом в последний раз, какими были его слова, обращённые ко мне, не могу вспомнить.

За эту зиму я ни разу не видел снегирей. И невольно закрадывается мысль: а что если я уже видел последнего снегиря в своей жизни?

И землянику давно не собирал по склонам чернозёмных оврагов...

И на чердаке бабушкиного дома лет пятнадцать не был...

Не ловил ящериц...

Не таскал бредень...

Не ставил вершей...

Не держал на руках кролика...

Не брал в руку тёплое, только что снесённое курицей яйцо...

Не катался на санках с горки...

Не... Не... Не...

Простые, обычные вещи, но что если они все уже случились со мной в последний раз? Кто знает, может, там, на небесных счётах, уже щёлкнула костяшка о костяшку, и что-то из этого списка уже не повторится никогда?

Что если я больше никогда не заночую в стогу? Не куплю марок для нового кляссера... Не нарисую картинку выжигателем, не выпилю фигурки лобзиком... Что если те, выжженные, выпиленные сорок лет назад картинки-фигурки были последними? Тем более что у меня уже давно нет ни выжигателя, ни лобзика.

Что если я больше не увижу ни одного родника с пляшущими на дне песчинками? Не увижу, как шмель копошится в глубине цветка? Что если меня уже не укусит ни пчела, ни оса, ни, тем более, шмель? Что если я уже никогда не спущусь в глубокие, как каньоны, овраги нашей деревни Сланское? Никогда воровским образом не нарву на чужом поле гороха или кукурузы? Что если последние разы уже были?

Я знаю, что никогда больше не пойду на рыбалку с друзьями моего детства. Хотя бы потому, что некоторые из них умерли, а о других я давно ничего не слышал. А ведь была у нас с каждым из них последняя рыбалка, о которой я ничего не помню.

Время – прорва, время – молох, время – горящая яма, где исчезает всё.

«Ничего, – шепчу я себе. – Есть жена, сын, мы любим друг друга. Есть друзья. Мы живы и, надеюсь, наша последняя встреча наступит нескоро. Но, когда наступит, запомним ли мы её?..»

Каждая встреча – последняя, пока новая не доказала обратное.

ПРАВИЛЬНЫЙ МЁД

Сотни тысяч лет назад из глубин космоса на Землю прилетели существа и, изучив местную фауну, немного подредактировали геном обезьяны. Так было спровоцировано возникновение человечества. Задачей нового вида стала добыча золота, платины, серебра и драгоценных камней. Запустив эволюцию человеческой цивилизации, создатели улетели обратно, в чёрные пустоты Вселенной.

И человечество принялось искать по всей земле драгоценные металлы и камни, чтобы вернувшись из космоса создатели однажды забрали накопленные богатства, как пчеловод забирает мёд из улья. Недаром люди с незапамятных времён испытывали большое уважение к пчелиному племени. Всё из-за глубинного функционального родства пчелы и человека.

Разум дан нам отнюдь не для того, чтобы изобретать философские системы, сочинять стихи или рисовать картины, но с той лишь целью, чтобы мы выдумывали всё более изощрённые способы добычи золота. Не зря цветковое родство мёда и золота во все века приводило художников и поэтов в самое живое восхищение.

Мы учимся создавать искусственные алмазы и изумруды, и это тоже следствие заложенной в нас программы. Мы её рабы. Да, наш неугомонный разум время от времени уводит нас с генеральной тропы, но мы никогда не сходим с неё полностью. Наши золотые запасы растут, россыпи драгоценных камней в банках и хранилищах всё больше и ослепительней.

Однажды пчеловод из космоса фыркнет на нашу планету из гигантского дыма, и мы уснём. А очнувшись, обнаружим, что запасы золота и прочих драгоценностей исчезли. Возможно, мы ни о чём не вспомним и, очнувшись, начнём жизнь с чистого листа. А может быть, большинство из нас и вовсе не переживёт этого вмешательства. Впрочем, можно надеяться, что рачительный хозяин не заинтересован в гибели роя.

Поэтика, краски, неизъяснимая сложность человеческой мысли... Чепуха. Мы просто работники космического хозяина, время от времени обходящего свои ульи.

Копай землю, трудолюбивый человек, извлекай из недр всё самое яркое, что сможешь там найти. Чтобы потом отдать.

Золото нельзя есть, бриллианты нельзя пить. Объясните, почему же тогда мы впадаем в безумие, когда речь заходит о них? Откуда эта дрожь в коленях и слюноотделение при виде трёхкаратного, по сути, кусочка стекла?

Наши предки обезьяны одинаково равнодушны и к платине, и к изумруду. А произошедший от примата человек готов без счёта убивать из-за них себе подобных.

Что за зло из космоса нас посетило? Что за необъяснимая жажда ведёт нас, заставляя работать, приобретать вещи, квинтэссенцией

которых, обесмысливающим эквивалентом, становятся золото, платина, бриллианты? Интересно, войны, которые затевают люди в процессе добычи, тоже были заложены в изначальный замысел или это побочный эффект? Побоища между разными видами пчёл в природе, как известно, случаются.

Ещё вопрос: может ли «насекомое-медонос» изменить свою «прошивку»? Даже не так, сможем ли изменить «прошивку» и выжить? Ведь прилетевшие хозяева вряд ли оценят пустой улей, не наполненный мёдом-золотом. Интересно, что они сделают с роем, отказавшимся добывать мёд? Могут ведь и задушить дымярями, отравить дихлофосом, разве нет? А потом заселить наш мир расой куда более ориентированной на сбор золота-мёда.

Как часто бывает, всё опять не то, чем кажется. Люди – не самоценная субстанция, а пчёлы. «Боги» создали нас не для радости, а для добычи вполне презренного металла.

Трудись, пчела, иначе дымарь и дихлофос.

Выходит, капитализм – это религия, обусловленная нашей прошивкой, религия, данная нам космическими хозяевами? И капиталисты, следуя нашей природе, не ведая того, на самом деле пытаются сохранить жизнь человечеству? А коммунисты, жёсткой рукой насаждая бессребреничество и проповедуя «человек – это звучит гордо», зовут нас к гибели? Но только что лучше, умереть стоя или жить на коленях? Лучше покорно добывать мёд – золото для вселенского пчеловода или отказаться от рабства золота и, возможно, быть уничтоженным?

Ах, какой неприятный выбор!

Начал писать фантастический рассказ, написал политический памфлет.

Но разве осознание «прошивки» не первый шаг к свободе?

Вис ВИТАЛИС

Родился в 1975 году в Москве, где живет и сейчас. Работал грузчиком, сторожем, дизайнером, журналистом, видеооператором, директором диско-клуба.

Музыкант, поэт, режиссер, писатель. Автор трилогии «Женщина. Где у неё кнопка» (гендерная психология) (АСТ, Эксмо), двадцати альбомов в разных стилях музыки, герой МТВ с рэп-проектом Sixtynine, сценарист и режиссер 8 короткометражных фильмов, победитель Первого Донецкого международного кинофестиваля и фестиваля «Белая птица» (Казань) с дебютным полным метром «Самый долгий день» (2025).

ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА

Совершенно точно помнил Глеб, что в прошлом году заматывал навесной замок полиэтиленом. От дождя и снега. Прием старый, знакомый любому, кто использует навесные замки в северных наших широтах. Пластиковая бутылка с вырезом, отводной резиновый козырек, ну а на худой конец – как у него и вышло – хотя бы целлофановый пакет из супермаркета. Поленишься – будешь наказан заржавевшим замком и хлопотами по его замене. Лучше, как говорится, перебдеть.

В прошлом году у него так и вышло. Замок-то он купил тогда – как обещала сопроводительная реклама – хороший, непромокаемый, все-сезонный. Однако, можно ли в наше время верить рекламе. Китайский был замок, естественно, и, когда по весне Глебушка с целью переобуть машину прибыл в гараж за шинами, ключ в замке не провернулся, встрял наглухо и навечно. Приключение выдалось на славу. Пришлось возвращаться домой за болгаркой, на обратном пути, естественно, ехать на рынок за новым замком, потом рыскать по кооперативу в поисках тока – хорошо, мужик из гаража напротив кинул переноску, срезать дужку... Пустячное дело обернулось потерянными днями, в общем, Глеб, весь исчертыхавшись, впредь лениться зарекался. Новый замок он заботливо замотал пакетом, завязав последний на скользящий морской – когда-то, ещё подростком, грезя о море, изучал морские узлы; с морем не вышло, знания остались.

Теперь пакета не было, черный замок с гордой надписью Superarm сиротливо болтался в ржавых петлях, открытый всем ветрам.

«Заржавел, – подумал Глеб. – Сто пудов заржавел. Это что же, поновой всё?... Куда этот чертов пакет делся?..»

Начала вырисовываться хмурая перспектива утратить долгожданный выходной. Глебу вообще в последнее время не везло. В жизни вообще мало кому везет, но, когда небольшие песчинки невезения последовательно собираются в непрерывную лавину, ее могучий напор

может сбить с ног даже самого устойчивого человека. Глеб не был особо устойчив, и, глядя из машины на голый черный замок, он понял, что ему хочется, как в детстве, заплакать от бессилия.

Однако надо было взять себя в руки. Это всего лишь замок. Просто надо выйти под дождь из машины и открыть его. А вдруг не заржавел, уговаривал себя Глеб. Вдруг повезет. Всего лишь замок. Чертов, тупой, хренов ржавый замок. Соломинка, сломавшая спину верблюду. Ладно, хватит ныть. Просто замок. Бывало и хуже. Глеб вздохнул и вышел из машины.

Личинка, на первый взгляд, и в самом деле была ржавой. Как быстро всё рушится, подумал Глеб. Всего-то полгода замку. Из них три сухих летних месяца. Почему заржавел? Или это сталь такая? Сраные китайцы, на всем экономят. Глеб, придерживая замок одной рукой, второй с легким усилием старался повернуть ключ. С другой стороны, сам виноват, купил подешевле. А как не подешевле? Хорошая вещь денег стоит. Денег нет. Да хорошую вещь и не найти сейчас. Вся фирма из России ушла. А что фирма? Вся фирма нынче все равно делается в Китае. Круг замкнулся. Ключ не проворачивался. Глеб снова вздохнул и обреченно огляделся по сторонам. Похоже, надо было ехать домой за болгаркой.

Длинные ряды небольших гаражей из силикатного белого кирпича поливал редкий неприветливый дождь. Пучки пожелтевшей травы, кое-где ещё сохранившей жухлые зеленые стрелы, куце пыжились вдоль дороги. Выбитые в глине ямы заполняла коричневая, беспокойно рябящая вода. Пахло костром – в соседнем пролёте кто-то жег мусор. Осень достигла своего пика, и зима уже трогала воздух осторожным холодным ветром.

– Вы новый хозяин, что ли? – неожиданно спросил кто-то в спину.

Глеб от неожиданности выронил замок, глухо брякнувший о металлические ворота, и обернулся.

В двери гаража напротив стоял худой, но крепкий еще дед в спортивной куртке и трехцветной шапке петушком. Такие шапки Глеб помнил из детства, тогда это было очень модно. Теперь петушки стали совсем уже дремучим ретро. «Если какой-нибудь “Адидас” обратно не вернет в моду», – подумал Глеб. Такое периодически случалось почти с любой устаревшей одеждой. Очень легко было предсказать выходящих в подобных «петушках» андрогинных юношей на каком-нибудь показе в Париже и последующую мировую моду на трендовые шапки. К стати, они были по-своему довольно стильными и быстро бы вернулись в оборот. Даже не как мужская мода, подумал Глеб, а как женская – девочки такое любят. Им бы, конечно, пошло – как им идет любая мужская одежда. Странно, почему так.

– Ваш гараж-то? – снова спросил дед. К гаражной стене был прислонен старый велосипед «Днепр» с облупившейся черной краской. На багажнике велосипеда была закреплена корзина с какими-то нехитрыми инструментами. Глеб утвердительно качнул головой.

– Купили, что ли? – уточнил дед. – Или наследник?

– Купил, – сказал Глеб. – Давно уже, лет пять.

– А этот... который... владелец? – не унимался старик. – Он как, жив ещё?

– Был жив, – ответил Глеб.

– А что продал? Гараж-то?

– Я точно не знаю – сказал Глеб. – Ну, как понял, там у него алиментов каких-то накопилось, нужно было закрывать. А так жив.

– А-а, – как показалось Глебу, немного разочарованно протянул дед. – А то вот тут, по этому ряду, один только я и остался живой пока. А там что было у него? Хлам, небось?

Глеб уже не помнил, что там было. Уж точно ничего ценного. Что обычно лежит в гаражах? То, что жаль сразу выкинуть. В итоге оказывается, что выкинуть все-таки надо было сразу. Унитаз там был, коробка кафельной плитки, оставшейся после какого-то ремонта, пара рулонов обоев, полусгнившие деревянные ящики, треснувшее зеркало, мешок старой обуви...

В гараже сам Глеб, в принципе, не нуждался. Это был просто способ спрятать деньги: случился вкусный заказ, хорошо заплатили, и Глеб решил вложить бабки в недвижку. Опыт предыдущих поколений советовал не связываться ни с банками, ни с вкладами, а недвижка во все времена выглядела надежным помещением капитала. На московские цены Глеб еще не заработал – да ему уже стало ясно, что никогда и не заработает, – но на однушку в подмосковном поселке хватило. А остаток, какие-то смешные деньги, Глеб вложил в крошечный мотоциклетный гараж тут же, на окраине поселка. Будет где шины держать, решил он. А то на балкон не выйти.

Кооператива тут было сразу три – они граничили друг с другом, ревниво разделяясь кирпичными стенами. Названия у них были в духе своего времени – «Старт», «Вымпел» и «Восход». «Восход» был самым богатым, тамошние гаражи достигали трех этажей и порой больше походили на дачные домики. Глеб ютился в скромном силикатном «Старте».

– Не помню, – честно сказал Глеб. – Хлам. Помню, пол сгнил... Я его поменял полностью.

– А погреб там есть? – жадно спросил дед. – Погреб был у него?

Что-то у него связано с погребом, подумал Глеб. Какой живой интерес, однако. Странно, что не знает. Не очень, видать, хорошие были у него отношения с соседом.

– И был, и есть, – подтвердил Глеб. – Водой был залит почти полностью... Откачивали.

– Ну конечно, – засмеялся дед. – Если железного кессона нет, то всегда топит.

– Есть там кессон, – сказал Глеб. – Стены металлические. Да прогнил, наверное. Тот раз воду откачали, а по весне опять затопило. Вода вся аж черная.

– Ну да, конечно, проржавел, – согласился дед. – Они ж как рассчитаны, лет на двадцать, максимум тридцать, если в земле. Ну, это ежели без бетонной окладки. Да тут её ни у кого нету. – Дед махнул рукой. – Да мы знали разве. Считалось же как – потом построим новые, еще больше.

– Скажите, – попросил Глеб, – а маслица у вас в гараже не найдется? Мне б замок смазать...

– Заржавел? – уточнил дед.

Глеб вздохнул, продолжая безуспешные попытки повернуть ключ.

– Я его весной в пакет замотал, да сорвало, наверное. Ветром или как...

– Зачем ветром, – не согласился дед. – Это ходят тут... Цыги, наверное. А может, эти, которые чурки. Смотрят, есть замок или нет. Если нету, лезут, что взять. Масло, значит?..

Дед повернулся и скрылся в полутьме своего гаража.

Точно сорвали, подумал Глеб. Я нормально же завязал, морским, ветром никак не могло.

– Держи, – дед протянул Глебу бутылку.

Такого привыкший к современной пластиковой и жестяной упаковке Глебушка не ожидал. Бурая от времени стеклянная бутылка необычной формы – с вытянутым длинным горлышком – была до половины заполнена черным машинным маслом, в её горлышко была вставлена сухая веточка. Что-то подобное я в каком-то фильме видел, подумал Глеб.

Взяв бутылку и вытянув из нее хворостинку, с конца которой сразу же вязко потянулась медленная черная струйка, Глеб перевернул замок и начал капать маслом в личинку.

– Так и держи, – посоветовал дед. – Оно сейчас внутрь стечет... Подержи. Должно заработать.

Глеб вернул деду бутылку и потряс замком, чтобы затёкшее внутрь масло лучше распределилось.

– Замотаю в этот раз верней, – сказал он. – Может, скотчем?..

– Да сорвут все равно, – успокоил его старик, – тут по ночам ни света, ни чего... Мне в гараж залезли в том году, знаешь, чего забрали?

Глеб помотал головой. Откуда он мог знать, что цыгане забрали у деда из гаража.

– Цветные металлы, – сказал дед. – Ну вот, трубки там... Нержавейка. Умывальник старый унесли, чугунный. Зачем он, копейки ведь...

– Ну, а им, наверное, не копейки, – чисто для поддержания разговора отозвался Глеб. – А если замок висит, вскрыть могут?

Если могут, подумал он, то шины, наверное, надо опять перебазировать на балкон. Каждая по пятерке нынче, подорожало все. Унесут, обидно будет.

– Если слабый, то фомкой отождмут, – сказал дед. – Сколько раз у людей уже было. Хороший, как вот у тебя, с толстой если дужкой, то нет. Твой пилить надо, морока. Но многие как? Замок повешают, а он не закрыт, чисто для вида. А не закрывают, чтоб, если заржавел, не менять, понял? Ну а чтоб не видно, в пакет его. А они ходят и срывают, смотря.

– Уяснил, – сказал Глеб.

Дед отнес бутылку с маслом в гараж и прикрыл дверь. Замка у него вообще не было. Отслонив от стены велосипед, дед, выкатил его на дорогу.

– Я кессон-то копать тогда не стал, – отчего-то сказал он. – Хотел, да жёнка приболела тогда. Не успевал. Мы же после работы строили. А тут дети малые были, с ними всё время...

Видимо, поговорить старику особо было не с кем. Из всего гаражного ряда в живых остался только он, и беседа с Глебом для него стала удачей дня.

– Да и зачем кессон то? – рассуждал дед. – Ржавеет. Мы-то не знали, конечно. А от него и пол потому гниет. Ты его лучше засыпь. Сухо будет. Сейчас влажно, поди?

Глеб, удерживая вверх ногами замок, невнятно угукнул. В своем полупустом гараже он бывал ровно два раз в год и ничего по поводу влажности сказать не мог. Для него это была просто копилка для суммы, неожиданно свалившейся на него при крупном заказе. Своего рода

закладка на черный день. Для старика же, судя по всему, гараж был изрядной частью жизни.

– А оно ржаветь стало, считай, год на третий, – продолжал дед. – Тут под землей в озеро знаешь, какие потоки ходят? Два-три метра заглобился, и чуть не фонтан бьет. По весне особо.

Озеро было совсем недалеко от поселка, было оно совершенно изолированным, и Глеб не задумывался, какими оно живет водами.

– Вон там, на пригорке-то, – махнул рукой дед куда-то в сторону «Вымпела», – там посуше, ну, мы жребий кинули, кому там строиться, а кому, значит, тут, в низинке. Вишь, не повезло мне тогда. – Дед добродушно усмехнулся. – Да это ничего...

Глеб попытался представить, как все тут было раньше. Голое поле, штабеля кирпичей, размеченные шнурами ряды будущих гаражей. Молодые усагие парни с совхоза и завода – и тот и другой не пережили девяностых, – почти все после армии, почти все молодожены, почти все только что получили небольшие, но собственные квартирки в четырехэтажных кирпичных хрущёвках. Машин пока ни у кого нет, да и мотоциклы-то у считанных... Хотя куда в селе без мотоцикла... Но все уверены, что будет – и мотоцикл, и машина, все будет. Долгая счастливая жизнь впереди. А начать можно и с крохотного мотоциклетного гаража, построенного своими руками на кооперативных паях.

Глеб перевернул замок боком, вставил в блестящую от масла личинку ключ и нежно попытался его повернуть. Ничего не вышло. Ладно, подумал Глеб, сейчас масло растечется... Понемногу, понемногу. Дождь перестал. За шиворот ненавязчиво, но настойчиво пробирался ледяной ветер.

– А вы на мотоцикле ездили? – спросил Глеб, мягко нажимая на ключ. – Был у вас мотоцикл?

– Был, – солидно ответил старик. – Сюда и загонял. Мотоцикл нормально сюда встает. Если без коляски. Тогда мы на мотоциклах ездили, было хорошо. А машину жежи, так у-у-у, и не выйти тогда.

Дед немного помолчал.

– Хорошо было, – невпопад сказал он. – Ладно. Бывай!

Старик тяжело перекинул ногу через высокую раму велосипеда и тронулся с места, взбаламутив по дороге неверный покой черной глинистой лужи.

Нажимая понемногу на ключ, Глеб смотрел ему вслед.

На старом советском велосипеде с облупленной черной краской от него уезжало последнее, наверное, поколение людей, которые своими руками строили себе дома, копали ямы под гаражные кессоны, пили, вода крупными кадыками, жигулевское пиво из темных бутылок, хлопали друг друга по голым загорелым спинам... Умели играть на гитарах и баянах, удить, скирдовать, копать картошку, драться, следить за словами и помнить, как доброе, так и злое. Деревенские послевоенные дети, выросшие среди суровых мужчин, видевших и знавших все, неискушенные, простые, плоть от плоти этой скудной земли с угрюмо текущими под землей черными водами. Друзья Глеба были иными – да и осталось их тут совсем немного, все разлетелись по свету кто куда, от Таиланда до самой Бразилии, где в лесах много диких обезьян, – вспомнил Глеб строчку из полузабытого фильма.

Он не смог бы себе ответить, что лучше – своими руками строить себе дом или заработать денег, чтобы его для тебя построил кто-то другой. Сидеть с друзьями в притворяющихся «настоящими ирландскими»

пабах или копать вместе с ними, озорными, загорелыми, ямы под гараж и потом, шумя, пить, сидя на кирпичных штабелях, водку. Никто из его знакомых не построил бы ни дома, ни гаража. Даже и ямы, наверное, не сумел бы выкопать. Все они были люди умственного, в основном компьютерного, труда. Работу свою они знали, любили и делали ее хорошо. Но вещественных результатов она не давала и оттого мнилась какой-то ненастоящей. Если не вспотел, значит, и не поработал, вспомнил Глеб слова деда. Да нет, ерунда какая-то, решил он. Вовсе не обязательно корячиться на земле. Сколько вон людей полезными делами заняты и вовсе не потеют при этом! Врачи там, учителя, я не знаю. Да и он сам с коллегами – на его работе вообще всё держится, весь современный функционал! Перестань они работать, это ж будет прямо катастрофа. Но при этом да, именно вот руками работать никто из них не умеет, а потому и не любит. Ничего, думал Глеб, с усилием нажимая на ключ, пытаюсь провернуть его в ржавом зеве личинки. Плохие времена делают сильных людей, сильные люди делают хорошие времена, хорошие времена делают слабых людей, слабые люди делают плохие времена. Ничего. Придет война, сметет все, будем отстраиваться заново. Внутри замка что-то хрустнуло, и ключ провернулся.

Марина КУЛАКОВА

Родилась в Горьком. Окончила филологический факультет Горьковского госуниверситета и Высшие литературные курсы при Литинституте. Работала учителем, занималась журналистикой в Нижнем Новгороде.

Публиковалась в журналах «Нева», «Москва», «Новый мир», «Нижний Новгород» и других. Автор ряда сборников стихов и эссе. Стихи переводились на сербский, немецкий, английский, грузинский, армянский, польский языки. Лауреат ряда всероссийских литературных конкурсов, премии Нижнего Новгорода (2018).

Руководитель авторской школы-студии «Светлояр русской словесности». Живёт в Нижнем Новгороде.

ДУХ ТЁПЛАЙ

Однажды Нюра появилась на пороге с яркой, статной темнокосой девушкой. Брови девушки почти сходились на переносице, отчего взгляд казался слегка суровым, сумрачным. Но изгиб бровей, обнимающих чистый высокий лоб, придавал ее лицу и облику почти царственный вид. Она вошла легко и деловито, в руках – корзины, укутанные полотенцами.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! Ух ты, давайте помогу.

Едва перешагнув порог кухни, женщины принялись выставлять: вот, топленое молоко, сметана, топленое масло, варенье. И почти не отвлекаясь, не привлекая к себе особого внимания, Нюра представила зятю девушку:

– Зина. Племянница моя. Катерины, сестры моей, дочь, – сдержанно промолвила она. Разница в возрасте у зятя и тёщи была невелика, зять был немолод.

– Вот и хорошо, – отозвался зять. – Добро пожаловать, красавица, сестры нашей дочь.

Зина смутилась и промолчала.

«Доча, будь скромной. Будь скромной». Воспитание в их семье, в деревне заключалось именно в этом. Больше никаких наказов мать не давала. Но этот повторяла часто. Особых поводов выделять скромность как главный принцип жизни ни у матери, ни у дочери не было. Зато в звучании этого слова – «скромность» – была искрящаяся ясность и твердость. И это нравилось само по себе. Зина давно и навсегда уяснила для себя этот главный принцип. Быть скромной.

В деревне, с трудом поднимающейся после войны, Зина с матерью Катериной только что схоронили отца и брата. Подросток истлел от болезни, не совсем понятной. Болезнь отца была понятнее – помер от пьянства горького. Хлебнули сполна – горя, голода, нищеты и особого

беспросветного отчаяния, создаваемого пьющими и буйными в пьянстве мужиками.

Катерина, без ума любившая дочку, упростила сестру Нюру, живущую в городе, взять Зину хоть недолго пожить, «посмотреть на жизнь», да не погостить, а помочь-поработать.

«А вдруг, бог даст, да и найдет судьбу? У нас-то ведь чего ждать – скотина, огород, поле да опять скотина... Господи, да неужто так и надорваться – без мужиков-то в деревне... Кто пьёт, кто помер, кто не пьёт – уезжают, кому есть куда. Кому некуда и те уезжают... Чай не оставьте...» – так молилась, так молила она для дочери другой, совсем, совсем другой жизни...

– Господи, да места, што ль, не найдем? – отвечала Нюра. – Пусть поживет! Завтре к Мане поедем, им помогать надо, нянька нужна... А там видно будет...

Темнобровая девица с сочными губами, разложив свои гостинцы, отошла от первого смущения и заговорила низким, грудным голосом, напевно, глубоко, некнижно – по-деревенски... Трехлетняя Анечка подняла на неё огромные карие глаза и сразу пошла – в руки, на руки, что бывало отнюдь не всегда, даже с родными. Девочка была капризна, требовательна и беспокойна. Но на ласку отзывчива, особенно на женскую. Ей не хватало женской руки и голоса – мама была всегда занята, бабушка бессловесна.

Зина сразу взялась нянчить и помогать, и сразу взяла всё в свои руки, именно в руки. В деревне она росла в понимании дома как хозяйства, требующего ежеминутного деятельного участия. Так понимали все деревенские, – это само собой разумелось.

И здесь, в городе она, в отличие от Маши-хозяйки, была твёрдо уверена, что большую часть дня, большую часть жизни женщине надо проводить внутри дома. Хотя в Машиных правах и свободах, особых правах молодой учительницы, она тоже не усомнилась ничуть, а уж в превосходстве и положении Вертмана, в её понимании – ученого, и тени сомнений быть не могло.

Самого Вертмана сразу покорило в ней сочетание хозяйственной уверенности с застенчивостью. Зина трепетала перед его кабинетом, его столом, книгами и им самим, но её трепет не мешал ей находиться в непрерывном движении: с утра и вечером мыть полы, приводя квартиру к идеальной чистоте, стирать и перестирывать.

И нагатавливать, будто впрок, вкуснейшей еды на завтрак, на обед и на ужин.

А втайне она думала: «Вот красота-то, и делать-то нечего, чай не в четыре вставать... Корову не доить, огород не копать, воду не таскать... Благодать-то!»

Маша пришла из школы – и окунулась в потеплевший дом, от которого снова будто потянуло запахом очага, печки и выпечки – духом тёплым.

Дух тёплый! Так говорила Зина, вторя своей матушке и её сестрам, у которых это была любимая поговорка, непременно обращение: «Дух тёплый!»

Откуда, где источник этого тепла, этого духа – бог знает! – но он есть, он возвращается, он силен – идёт из глубины, издали, из-под чернозёмной земли, прогретой солнцем, от лугов и холмов, осыпанных луговой ягодой – полевой земляникой, духовитой, полной аромата, – теплого

духа, который ни с чем ни сравним... «Дух тёплай!» – так обращались женщины их рода ко всем своим родным, к близким и дальним, радуясь и доверяясь, успокаивая и ободряя. «Дух тёплай...» Дух веет, где хочет, и в женских руках тоже, и, может быть, в них-то – всего сильнее, всего теплее.

Зину оставили в доме, прописали домработницей. А судьба ждала её совсем рядом, на ближайшем перекрестке, на трамвайной остановке. Не успели оглянуться – за Зинаidou «пришли»...

Пришёл славный, красивый парень, не пожелав расстаться с ней, как только увидел. На остановке окинул взглядом, спросил время и услышал её голос... Так они и шли домой вместе с той остановки, остановились у подъезда.

– Как зовут жениха-то? – спросил хозяин, подошедший следом.

– Жениха?! – Зина смутилась, а лобастый ухажер – нисколько.

– Юрий. Юрий Антонов! А что, чем не жених! – охотно, весело ответил паренек.

– Кто таков будешь?

– Слесарь я, слесарь-инструментальщик, с механосборочного.

– Ишь ты! – обомлела Зина. – Да ты... без году неделя! И того нет!.. Какой такой жених?! Я и по батюшке тебя не знаю, как звать. И ты меня не знаешь. Чего ты мелешь?!

– А что я, не вижу, что ли? И чего бы я тогда пошёл сюда? Смотрю на остановке – жена моя стоит. Будущая! Чего ждать-то?

Зина вспыхнула – даже закрыла руками щёки, чуть не до слёз, – куда деваться? что делать?

– Да как!..

Вертман рассмеялся.

– Ну, раз так – за стол! Накрывай, Зина! Привела на смотрины жениха – будем смотреть!

Что там говорить, Зине парень был по душе, по сердцу. И хозяина дома – главного инженера КБ Автозавода – сумел приятно удивить: оказался на редкость дельным, инженерно одаренным. Самородок, да и только. Часа два говорили – о заводских делах, и даже о рационализаторских, – в первую же встречу!

«Повезло тебе, – сказал Вертман Зине, когда нежданный гость откланялся, – повезло... держись за него. И знаешь что? Учиться тебе надо. Такого умного парня отхватила – держись! Надо, чтоб ему с тобой было интересно».

Зина пожалала плечами. И улыбнулась. Трудно сказать почему, но она знала, что Юре с ней и так интересно и что учеба в женском деле – не главное.

Только поженились, расписались – Юру забрали в армию. Всё произошло так скоро, что Зина даже не знала, что остаётся беременной. Как поняла – в слёзы. Стала собираться на аборт. Куда ж она с ребёнком, коли своего угла и то нет...

Увидев её слёзы и сборы в больницу, Вертман приложил руку ей ко лбу.

– Заболела? – нахмурился, а потом расплылся в улыбке, узнав о причине сборов и слёз. – Выдумала тоже! Рожай.

– Куда же я? – лепетала Зина, глядя на него и надеясь. На самом деле, надеясь, уповая, – вот что это значит уповать – упиваться надеждой и слезами, радостью и слезами. Уповая на него, Вертмана, как на отца

родного, плакала и смеялась сразу, а маленькая Аня, обнимала и теребила её – «Няня, не плачь...»

– Как же я... куда же?...

– Да куда же? С нами! Теперь уж ты наша.

– Ваша...

Жизнь в доме прибывала, как в половодье. После весеннего разлива, в новое лето, в дом прибыла круглолицая Галина. В нише за занавеской – на дощатых полатах, сооруженных самим хозяином, поселилась в их доме ещё одна семья – переехала из деревни и бабушка Катя... И началась счастливая жизнь.

Катерина была легкой, быстрой и подвижной, деревенская закваска помогала ей, как и дочке её, справляться с домашними делами словно бы без труда, без усилий, играючи. Получив статус бабушек, Нюра с Катей с удовольствием и гордостью смотрели на своих дочерей и внучек и тихо, незаметно крестясь, благодарили Бога за свою судьбу и судьбу детей – городских в первом поколении. Но иногда на ночь, перед тем как уснуть, вдруг погружались в воспоминания о деревне, начинали перебирать далеких родных и подруг – кто из какого «хорова»... Внучки любили засыпать под их тихие голоса и разговоры, которые звучали слаще и волшебней, чем колыбельные песни...

Маленькая Галя уже ходила и начинала говорить, когда молодой папа Юра впервые увидел ее, вернувшись из армии, и подхватил на руки. Зина, расцветшая, как цветок, ждала его безусловно и светилась в счастливых хлопотах. Юра сразу окунулся в работу – на завод, – мастер на все руки, он тосковал по работе, отдавался ей со страстью, уходил с головой. Так и должно быть, думала Зина, что ж может быть важнее?

Пятилетняя Анечка нянчила малышку Галю, как куклу, – среди кукол. Галя улыбалась. Она никогда не плакала. Только сопела и побряхтывала.

Обнимала кресло Вертмана, его спинку, как прочную основу бытия. Смотрела на книги, чернильницу, письменный стол... И зачарованно заглядывала в маленький «настоящий домик». Домик был как настоящий, он и был настоящим, только маленький, – внутри у него горел свет – можно было заглянуть в окошки и увидеть там малюсенькую аккуратную мебель. Могла смотреть в его окна долго-долго...

Было время, когда жили Зина с Юрой и детьми – подрастал уже сын Олежка – в квартирке маленькой, но уже своей – на окраине Автозавода в посёлке «Сорок лет Октября», где среди двухэтажных домиков теснились друг к другу такие же маленькие огородики с малиной и смородиной, с грядками лука, гороха, бобов, огурцов и стоял дух разогретой солнцем зелени, смородиновых и вишнёвых листьев. Жили счастливо, дружно, спокойно. Школьница Галя, почти взрослая, заплетала перед зеркалом длинные-длинные косы, школьник Олег играл на гитаре и мечтал стать лётчиком. Они были городскими, но всегда помнили, любили и пели песню «От людей на деревне не спрячешься...»

Было время, когда жили они в большой новой квартире, которую получил Зинин муж в славную бытность свою начальником цеха на ГАЗе.

Юрий Николаевич Антонов, с залихватски откинутой волной волос, всегда весело глядел с фотографий на стенах. Похожий на Гагарина – яркой улыбкой и солнечным именем.

Всё время, пока там работал Юрий Антонов, на заводе вместе с ним работало двести тысяч человек. Двести тысяч! – и он знал, казалось, их всех и любил всем своим сердцем.

Для него, деревенского по рождению, по сути, любая работа по интенсивности и градусу была чем-то вроде страды в поле. Страда. Но не два жарких месяца, а месяц за месяцем, год за годом, аврал за авралом, без поблажек и передыху. Есть такое выражение – чують дело не только сердцем, но и печёнками. Вот, это про него.

Только сердце и печенки, не щадимые, исстрадались в этой страде раньше времени.

Когда его провожали в последний путь, рабочий люд из многих цехов гигантского производства заполнил всю улицу, где он жил, широкую, как проспект, и почти всё Южное шоссе, куда повернула траурная процессия.

Зина помнила эти похороны так ярко ещё и потому, что в том людском потоке был какой-то особый мощный звук, гул неземной. А дети, внуки, тогда подростки, двоюродные, троюродные братья и сёстры во все глаза смотрели на тётю Пашу, тоже родственницу, – плакальщицу.

Коренастая круглолицая женщина, непривычно, по-монашески полностью облаченная в чёрное, длинное, говорила-пела-причитала голосом странным и светлым, каким-то потусторонним, словно опрокинувшись куда-то, то ли в небо, то ли в глубокий колодец:

Ой да ты да мой да наш да ненагляя-аадный...

Ой да на кого ж ты нас остаа-аааавил...

Ой да на кого ж ты нас поки-ииииииинул...

Она шла за гробом, опрокинута в мир иной, закрыв глаза, её вели под руки другие женщины, а она плыла с закрытыми глазами, глядя, видимо, в душу того, чьё тело плыло, покачиваясь перед ней в гробу, она шла за ним, извлекая голосом непонятно откуда нескончаемо длинные плачущие слова, от которых всё внутри переворачивалось, и горючие слёзы вскипали, выплёскивались и текли, вливаясь в Оку, вдоль которой стоял в молчании завод-гигант.

Длинными, плачущими словами она словно пеленала души, давая ощутить, что они живы, – удерживала, держала связь.

Окликала, удерживала на взлёте и повязывала с землёй всех остающихся, осуществляя и озвучивая сеанс последней связи с душой, уходящей из земной юдоли.

Что-то невероятное было в этом, и Зина смотрела изумленно, и слушала, и слышала приотворённую вечность, ибо была Пашенька-плакальщица в тот момент пугающе близка к помертвевшему, уходящему, уносимому Юре.

И странно: была она ему женой и сестрой, и матерью, и праматерью. Выплёскивала, рассказывала, обращаясь к нему, и его, и свою жизнь, с самого начала, озвучивая годы и годы, обволакивая его любовью, жалея, славя и восхваляя. Представляла, лепила новопреставленного перед Богом.

И перед людьми. Ответом на каждую фразу, на каждое окликание, на каждую реплику её был общий вздох, равнозначный безмолвному крику тысяч людей. И слёзы. Слёзы были легки, тяжелы, очистительны.

Многоразлучны, солярны, солоны.

Плакальщица-вопленица держала не речь, а плач.

Вдова принимала соблезнования с достоинством, без надрыва. Всю жизнь она справлялась с большой работой и помогала другим, и теперь словно хотела помочь да и помогала всем справиться с таким горем, с такой огромной потерей, как потеря её любимого мужа. Она не плакала. Её лицо было печально-спокойным.

После похорон Зина отдала сыну квартиру, заслуженную и обустроенную золотыми руками супруга. Просторную трёхкомнатную квартиру в элитной, по тому времени, многоэтажке – отдала сыну и его семье, чем оказала им ни с чем не сравнимую помощь, и ушла с бабушкой-мамой Катей в тихий, почти деревенский, быт старого дома, где словно остановилось время «народной стройки». Её заботой и любовью была окружена с тех пор прежде всего мама, Катерина Степановна.

Строжайше требовательная к своим детям, особенно к дочери Гале, Зина матушку свою, маму готова была носить на руках! – и носила.

Прошло много лет... Зина часто вспоминала Вертмана (царствие небесное) и Аню, уехавшую в Израиль. Так же, как и деревенских своих. Всё родня. Всех помнила и любила. Разменяв седьмой десяток, а потом и восьмой, всё ещё была статной и ладной.

После того, как не стало любимого мужа, самая большая любовь была у Зины с мамой Катей. Поверите ли, Зина стала писать матери стихи, о любви к ней. Пожилая дочь писала бесхитростные и нежные любовные стихи – маме.

Последние годы они жили вдвоём в крошечной квартирке в щитковом двухэтажном домике на первом этаже. Ухаживали друг за другом и за огородом. А как же – и к человеку, и к земле надо руки приложить... Копали и поливали летом крошечный огородик под окном, умудряясь угощать при общем разоре и в государственной пустыне собственноручными вареньями, соленьями, компотами, а самое главное – одарять лаской – «Дух тёплай!..»

Домики на окраине стареющего Автозавода ветшали вместе с обитателями, но каждую весну утопали в вишнёвом и яблоневом цвету. На окне в малюсенькой кухонке стоял столетник с раскидистыми мясистыми листьями, и в нём ходили горькие целебные соки, замедляясь в зиму, оживая весной.

Бабушке Кате было уже за девяносто. На ветхий порожек ступали маленькие праправнуки: дети детей с детьми приходили по воскресеньям. Четыре поколения гладила по светло-русый и тёмно-русый головам, держала на своих руках лёгкая, сухонькая Катерина.

На все свои недомогания и хвори у неё был один ответ: она отказывалась от еды, совсем. Переставала есть вовсе. Пила только воду, и через два дня любая хвороба отступала, и баба Катя снова была на ногах, в делах, в движении, в заботах.

Катерина Степановна умерла на её руках на девяносто девятом году жизни, успев наглядеться на внуков, как на свечки в храме, и посылая лёгкие записки с родными именами – за правнуков Антона, Артёма, Анну и Катерину.

«Ушла, как тихое лето...» – вздохнув, промолвила Зина, и тоже стала готовиться в путь неспеша.

Николай ЗАЙЦЕВ

Родился в 1950 году в г. Талгаре Алматинской области Казахстана. Работал в топографической экспедиции, закройщиком, радиомехаником. Мастер по изготовлению очковой оптики.

Автор девяти книг стихов и прозы. Печатался в республиканских журналах «Простор», «Нива», альманахе «Литературная Алма-Ата», в московских «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», в коллективных сборниках прозы и поэзии, в сетевых изданиях. Лауреат премий им. В.И. Белова (2009), им. В.М. Шукшина (2013) и других литературных конкурсов.

Руководитель творческого объединения «Вершины Талгара». Член Союза писателей Казахстана и Союза писателей России.

Живет в Талгаре.

ЕГИПЕТ

– Мне кажется, что я жил в то время, когда мы вышли из Египта. Мы долго шли по раскаленной пустыне, мучаясь от жары. Никто не знал, куда мы идем. Этот путь был таким долгим, что я не помню, куда же мы пришли. Неужели мы пришли сюда? – говорил Соломон, наш сосед, спрашивая кого-то и себя, мастер по разговорам и немного портной.

– Ну что ты брешешь, Соломон! Сколько я знаю, ты родился в этой улице, в этом доме, от нашей женщины и её русского мужа. Какой тебе Египет, откуда там русские? Как там тебе могло родиться? Потом, как ты мог в то время перейти океан, тогда, наверное, даже кораблей не было. Я тебе удивляюсь, Соломон, ты бы так шил, как разговариваешь, – вступал в полемику заказчик, пока Соломон латал его праздничный лапсердак.

Но, латая одежду, Соломон не унимался:

– Тогда откуда взялись евреи?

– Откуда? Евреи рождаются везде, где есть люди. На одну тысячу любого народа обязательно родится один еврей. Так заведено Богом. А что, Соломон, разве у тебя нет других ниток для моего костюма? Они же совсем другого цвета, – нервно перебил клиент.

– Ну что вы говорите? Что я буду делать другой цвет? Будь я слепой, и то бы так не сделал. Просто в комнате всё кажется другого цвета, а вот на улице другое дело. Вам же ходить в субботу по улице в этом костюме, и будет в самый раз. Вот, взгляните в зеркало на ваше лицо. Оно серое, будто у вас уже разложилась печень. А вот на улице оно еще вполне нормальное. Дай бог вашей печени здоровья. У меня тоже печенька пошаливает, и все от проклятой работы. Целый день, согнувшись, каково ей там? Вот разогнешься, выпьешь стаканчик, и всё нормально, и всё на своих местах, – Соломон причмокнул и закатил глаза.

– Дошивай мое дело, Соломон, угошу тебя стаканчиком. Да делай дело побыстрее, а то с твоими разговорами все погребка закроются. С тобой не только горло, желудок засохнет.

Клиентом был не кто иной, как Гриша Соловейчик. Гриша был простым барыгой. Покупал все, что приносили, но никто не видел, чтобы он что-нибудь продавал. Все только и ждали, когда его дом переполнится барахлом и изо всех окон полезут тряпки, утюги, чайники и краденые золотые кольца. Но этого не происходило, и население городка томила эта забота – куда же он все это деваает? Подсчитывалось количество скупаемого товара, квадратура и объем дома, и выходило, что все это давно должно было оттуда полезть. И что Гриша не должен помещаться в своем доме, тем более его жирная Хайка. Но Гриша входил и выходил из своего дома, и ничего оттуда не лезло. Народ волновался, но Гриша был на эту тему неразговорчив. Тем более, он ни с кем не дружил. Единственный человек, с кем он общался, был Соломон. Он частенько приходил к Соломону что-нибудь починить и всегда расплачивался стаканчиком пошла в погребке и, конечно, разговором. Для того и есть портные, фотографы, парикмахеры, чтобы можно было поговорить. Где вы видели, чтобы портные, парикмахеры молчали? Если парикмахер молчун, какой дурак пойдет к нему стричься? Да будь у него три руки и все золотые, так и будет молчать себе в одиночку. Потому к Соломону больше шли поговорить, и Гриша тоже. Хороший разговор дорогого стоит. Так, для дела, прихватывал какую попадется шивенькую одежду, чтоб Соломон не бездельничал и думал, что его работа кому-то нужна. Нужен был сам Соломон с его неутомимым языком. Вы думаете, что Гриша выйдет в субботу в этом самом лапсердаке, с разными нитками? Вы о нем плохо знаете. В субботу Гриша идет одетым как Ротшильд. Хотя бог его знает, как одевается по субботам этот Ротшильд. Наверное, не хуже, чем Гриша.

Вот и сейчас они сидели и болтали.

– Так что ты там болтал за Египет? – спросил вдруг Гриша.

– Я не болтал, а вспоминал, – серьезно ответил Соломон. – У меня хорошая память, а помнить удается только людям с хорошим мочеиспусканием. Если человек регулярно мочится, он помнит все, что было, и все, чему еще быть, если же у него неладно с почками или с мочевым пузырем, то он помнит только о том, когда он в последний раз помочился, и все ждет, когда эта радость для него повторится. Моча, не находя выхода, гуляет по телу, бьет в голову, и человек безнадежно тупеет. Какой ему Египет, он не помнит имя своей жены, нарожавшей ему кучу детей! Вот скажи, Гриша, ты всегда вовремя мочишься?

– Да, но вот иногда ночью захочется, но сплю я у стенки, а чтобы перелезть через мою Хайку, нужно много сил. Ну а если перелезешь, то разбудишь ее, она начнет ворчать и может это делать до самого утра.

– Что, что она может делать до утра? – не понял Соломон.

– Ворчать. А ты что подумал?

– Я подумал, что потом она обнимает тебя до утра, – подмигнул Соломон.

– Дурак ты, Соломон, хоть и портной. Если моя Хайка обнимет, то до утра ты уже просто не доживешь. Ты скоро кончишь дело? – спросил Гриша, хотя ему явно не хотелось прерывать этот ученый разговор.

– Слушай, Гриша, если ты хочешь слушать за Египет, то не перебивай меня своей Хайкой и не кидайся дураками, как бы самому не стать рядом с ними. Да и кто такие дураки? Случалось мне работать в сумас-

шедшем доме, так они живут там на всем готовом, и при каждом нянечка для ухода. Каждый день температуру меряют, не дай бог, кто из них заболит. Как родное дитя берегут. А они, дураки, поплевывают в потолок, и вот тебе завтрак, обед, ужин. Еще и салфеточку повяжут. А тут целый день, согнувшись, за этой проклятой иглой сидишь. Кому за спасибо, кому за стаканчик, какая добрая душа курью ножку принесет. Вот и вся жизнь. А у них там кино, почитай, каждый день, книжки, мероприятия разные, медсестры, что тебе королевны, в белых халатиках, а под ними ничего, сам видал. Вот тебе и дураки. Только кто из нас?

– Ну ладно, давай за Египет, – миролюбиво согласился Гриша.

– А что Египет? Там тоже люди живут. Люди везде живут, Гриша. И в пустыне, и во льдах. Это сначала страшно. Выйдешь в пустыню – ничего, один песок и жара. Здесь вот, чтобы стенку помазать, песок за деньги покупаешь, а там бери, сколько хочешь, хоть дворец из песка строй. А как строить, если печёт как в аду? Ночь только и спасает. Прохлада ночью, – портной откусил нитку.

– Начитался ты книг, Соломон, вот и бредишь. Закончил? Пойдем, выпьем по стаканчику, там и договорим, – Гриша поднялся, сунул под мышку свой лапсердак и пошел к двери.

– Ну что ж, пошли, видно, так нужно, – обреченно сказал Соломон и потянулся вслед за Гришей.

Они пошли по начинавшей темнеть улице. Медленно ступая, как ходят взрослые люди после долгого сидения, о чем-то периодически вздыхая, они подошли к маленькому ресторанчику, который держал залетный кавказец, с внешностью разбойника, по кличке Бутыль, так как это одно слово он только и понимал, и выговаривал, все остальное объяснял руками – на пальцах. Для работы он держал пару поблекших красавиц, намазанных, как неудачный торт, с девичьим именем Машенька и почему-то одним юношеским – Стёпа, хотя к объекту названия, судя по его формам, больше подходило что-нибудь от субмарины или от большой пивной бочки. С этой самой Стёпой у Соломона были какие-то романтические отношения, но чтобы скрыть это, он повторял при входе в ресторанчик такие слова:

– Скажите, ради бога, как могло из маленькой девочки, игравшей в песочек возле своего дома, вырасти такое чудо, как Стёпа? – и качал головой. Но завсегдатаи знали всё и видели, как млеет Стёпа при появлении Соломона, как наливает ему дармовой стаканчик. Они спрашивали:

– Соломон, расскажи, как же ты обнимаешь это создание? Легче обнять необъятное.

– Что вы понимаете в женщинах. Женщина должна быть большая и теплая. В женщине мужчина ищет свою маму, к груди которой можно прижаться, согреться и забыть всё вокруг. А обнимать Стёпу не надо, она так обнимет, что забудешь, кто ты такой. А впрочем, зачем я вам это рассказываю? Что вы, пьяницы, понимаете, кроме стакана? Рожденный пить о женщинах не думает, – закончил разгром насмешников Соломон. Но те не унимались:

– Ну прижался ты к своей маме, а что потом? Так и засыпаешь, наверное. Такая гора и шевельнуться не шевельнётся.

– Как это Степа не шевелится? Да против неё все ваши подружки – мёртвые. Стёпа может такой шторм в постели сделать, что соседи из дома бегут – землетрясение, думают. А когда тебя этот шторм на берег выбросит, то, как рыба, ещё с полчаса бьёшься, пока успокоишься. Вы хоть раз такое пробовали? – Соломон растопырил ладонь: «эх вы».

– Ну, раз такое счастье, женился бы. Чего одному-то спать? – уже сочувствовали питухи.

– Да, глупей вас найти трудно. Зачем я сюда шел? Шел, думал, поговорю, нового чего услышу, а тут жениться советуют. Да если женщина каждый день тебе снится – это любовь, а если каждый день перед лицом мельтешит – это уже нервное напряжение. Так бы и сидел я вам сейчас здесь, женись хоть один раз. Жена и стаканчик совсем не друзья, – философ прихлебнул из кружечки.

– Ладно, отстаньте от него, придурки, – вступил в разговор Гриша. – И что вы все про баб хотите разгадать? Сами, наверное, живой бабы не видели? То-то всё и спрашиваете. Вы сами со Стёпой поговорите, она вам и покажет вашу мечту, конечно, за деньги. Мы пришли за Египет разговаривать, а не за баб. Давай, Соломон, чеши.

– Да разве можно здесь о серьёзном говорить? Сколько остряков вокруг! Только Райкина не хватает, а таки все в сборе. Одна у них неудача, как Райкин приходит, они уже своими умными головами на столе лежат. Мысли – вещь тяжелая. Какой им Египет, до дому бы добраться, – горестно вздохнул Соломон.

– Ладно, не грусти, Соломон. Что о них грустить, у них самих борода седая. Им бы грехи отмаливать перед Божьим свиданием, а они знай себе новые собирают. Старость, она из грехов создается. Один, два, десяток – много, вот и сгорбился, глаза слезятся, а Бог смерти не даёт. Грешить умел, когда молод и силен был, вот теперь носи их на себе, те грехи, когда сил нет. Если бы люди не грешили, то и старости не было бы у них. Ну а как не грешить? Мир – чертова карусель, каждому прокатиться хоть раз охота, а там ещё раз, и пошло-поехало, глядь, а уже ноги едва держат, руки трясутся, память отшибло, тут и начинают виноватого искать в своих грехах. Ну, чтобы не так тяжело носить было. Вот и к тебе пристали, что да как, мол, грешит Соломон, а мы нет. Мы по стаканчику и домой. А дома их только под старость лет и видеть начали, далеко уйти не могут. А по молодости так иногда заглядывали посмотреть, все ли на месте. Да ты их не слушай, Соломон. А с женщиной полежать никогда не грех. Отец небесный так и сказал – живите и размножайтесь. Значит, все спервоначалу было предусмотрено. А размножаться тебе ни к чему, детей кормить надо. Стёпе тоже зачем, её и так много, да и кто потом будет тут пьяниц обносить, ежели она с детьми дома сидеть будет? Так что всё в порядке, давай про Египет, – успокоил его грусть Гриша.

– Дался тебе этот Египет. Жара в Египте да люди чёрные, как головешки. Когда вышли из Египта, так всё пустыня была. Пекло так, что до сей поры пот прошибает. А там ни пота тебе, ни дождя и слова ни от кого не услышишь. Никогда не поверишь, что где-то деревья растут и фонтаны под ними брызжут. А ты бывал там, Гриша? – поблекшим голосом спросил рассказчик.

– Где, у фонтанов? – не понял Гриша.

– Да нет, в пустыне, в жаре?

– Нет. Зачем мне там быть?

– Вот и не бывай, ничего там нет. Жара и все, – отрезал Соломон.

– Ты что, кроме жары ничего и не помнишь? – не давал ему отступления Гриша.

– Когда жара, разве можно что-нибудь знать, кроме нее? Когда рыба на сковородке, о чем она думает? Когда кончится эта казнь. Вот так же думает человек в пустыне. Он ничего не думает, он только ждет, когда

кончится песок. Но он никак не кончается, никогда. Представляешь? Потому я каждую ночь во сне иду пустыней и никуда не прихожу. Потом наступает утро. Начинается работа. А ночью я опять путешествую по пустыне. Днем живу здесь, а ночью – там. Где прошлое, где настоящее, трудно сказать. Как ты думаешь, где правда? – вопросительно глянул Соломон.

– Правда там, где ее не ищешь. Правда бывает и в пустыне, и у фонтана. Она не всегда красивая, эта правда. Она острая, как твоя иголка, но колет не одежду, а тело. И то хорошо, если тебя уже ничего не колет, то, значит, ты покойник. Вроде живой, но это только тебе кажется. Живешь для того, чтобы отбрасывать тень. Ты тень, и больше ничего. А тень, какая это правда? Она как правда, но наоборот. Вот тут-то и возникает непонятность, какая из них правда? Да и правда, Соломон, существует только относительно неправды. Какая неправда, такая и правда. Вот бывает плохо, бывает очень плохо и бывает еще совсем плохо, ну уже край. Так вот это плохо, по сравнению с совсем плохо, выглядит совсем неплохо. Так и правда – она разная. У тебя своя, у меня своя. Не надо лезть в чужую правду, и всё будет нормально. А общей правды не бывает, как не бывает ничего общего. Вот говорят – наше государство, а пойдешь возьми у того государства что-нибудь за так, и вот тогда и узнаешь, чье оно, это государство. А Египет – это правда. Это было. И исход был. Давно, но было, – решил за все Гриша.

Выпитое давало себя знать, и приятели загрустили. Появился Бутыль, он всегда появлялся перед закрытием кабака. Вот порхнула Стёпа с двумя дармовыми стаканчиками для Соломона и Гриши (ну не будешь же угощать только одного, ведь он с другом), улыбнулась так, что весь кабак позавидовал Соломону уже белой завистью, и потихоньку, кто сам, кто под руку, стали расходиться.

– Ну что ж, – сказал Гриша, – я, пожалуй, пойду. Стёпа тебя сегодня домой не отпустит. Я это вижу. Да и зачем бежать от того, что хорошо? Следующий раз договорим за Египет.

Он ушел, и в кабаке остался один Соломон. Он ждал, пока освободится Стёпа. То правда, чего бежать от хороших дел?

Стёпа вышла совсем непохожая на Стёпу-официантку. Она переоделась в скромное, но симпатичное платье, щеки ее были розовыми после купания в душе, вся она превратилась в желанную женщину. На лице её блуждала счастливая улыбка, предназначенная, конечно же, Соломону. Они вышли из ресторанчика и пошли по темной улице. Соломона покачивало, и Стёпа поддерживала его под руку. Идти было недалеко, и вскоре Стёпа уже зажигала свет на веранде своего дома.

– Соломон, ты еще выпьешь стаканчик? – спросила Степа.

– Нет. Я хочу спать, – устало ответил Соломон.

– Ну, тогда иди ложись, а я немного приберусь, – Стёпа повела своего друга в дом.

Когда Соломон проснулся, было совсем светло. Он ничего не понимал. Он всегда уходил домой, когда было еще темно, а тут вдруг утро, а он у Стёпы. Стёпа спала, прижавшись к его плечу. И тут он понял, почему проспал. Ему сегодня ничего не снилось. Он не был в Египте, не видел пустыни, не изнывал от жары. На душе его было спокойно и светло. Он пошевелился. Стёпа открыла глаза.

– Слушай, Стёпа, я сегодня ничего не видел во сне. Спал как младенец. Никакой пустыни. Если здесь, у тебя, я не вижу этой проклятой пустыни, то мне кажется, что мне нужно здесь остаться жить.

Ты не против, Стёпа? Сколько можно прятаться? Мы ведь давно с тобой знакомы. Я сегодня перенесу свои вещи. А дом, где живет мой вечный сон, мы продадим, пусть другие гуляют по пустыне.

Стёпа ткнулась носом в плечо Соломона, и на глазах ее выступили слезы.

Гриша тоже пришел домой, немного покачиваясь и разговаривая сам с собой, неплохо ведь поговорить с умным человеком. Но дома он был очень недружелюбно встречен своей горластой Хайкой, долго перечислявшей все его недостатки, которых в ее словах накопилось столько, что хватило бы на все мужское население городка. Гриша слушал молча, уже раздевшись и лёжа в кровати, и думал о Соломоне. Хорошо Соломону, на него никто не кричит, тем и отличается жена от любовницы, что любовница ждёт не дожждётся своего милого, еще и стаканчик нальёт, а жена ждет не дожждётся, когда кончится мужнин стаканчик и будет муж сидеть дома трезвый, послушный, свой.

Потом Гриша уснул, и приснился ему Египет, люди черные, как головёшки, исход и пустыня. Он все шел по пустыне, обливаясь потом, и все не мог достигнуть фонтана, который бил из-под земли прямо среди песка и казался недалеким, но дойти до фонтана он никак не мог и все шёл и шёл, задыхаясь от страшной жары. Когда он проснулся, Египта не было, а оказалось, что Хайка, раскинувшись, накрыла его своим горячим огромным телом, и он, мокрый от ее и своего пота, тяжело дышал. Выбравшись из-под жены, Гриша сполз с кровати, прошёл на кухню, напился воды. Потом он отодвинул штору и посмотрел в темноту. Египта видно не было. Но Гриша понял, что в его жизни начинается пустыня. Завтра он обо всем расскажет Соломону. И первый раз в жизни Гриша прилёт досыпать на диване.

ЛОШАДИ ВЕЗУТ

Мишка Штейн был еврей. Настоящий. И папа, и мама, и все остальные в его родне были тоже евреи. Но сам Мишка евреем был только по паспорту. Он к ним не принадлежал. Нация – не паспорт, нация – продолжение мысли, определяющей эту нацию. Этой-то мысли в Мишке и не было, тем более её продолжения. Нет, в него её, эту мысль, закладывали, но она не прорастала. Мишкин папа, в народе тоже Михаил, был этим очень и очень удручен. В своих сетованиях к кому-либо он вздымал руки, закатывал глаза и говорил: «Видит Бог, я всё делаю для того, чтобы он стал человеком». Человек, видимо, было для него понятием давно определённым, и сын под это его понимание жизни не подпадал. Мишка был единственным его ребёнком, и потому скрасить огорчение было нечем, то есть некем.

Дом у семьи был большой, но изнутри смотрелся как временное пристанище. Новые, шикарные вещи соседствовали с рухлядью, и потому казалось, что кто-то ещё не совсем уехал, а кто-то не совсем приехал. Не было уюта, священного смысла дома. Сам хозяин, по имени Мордехай, которого с лёгкой руки, а скорее с лёгкого языка его жены, все за глаза звали Мордой, работал невесть где. Аккуратно уходил и приходил в одно и то же время, ничем, в общем-то, не выделялся среди жителей квартала, разве только большой связкой ключей, которые постоянно держал в руке, да осторожностью высказываний на спорные темы. Жена его больше интересовалась бытом соседей, нежели своим. Потому её редко кто видел прибранной, да и Морду тоже. Они очень часто бранились между собой, отголоски брани достигали соседских ушей, но на том погасали, так как они были откровенны только наедине и большего от них никто не мог добиться. Случался праздник, и они, на удивление соседям, выходили в лучших, немного мешковатых одеждах, под руку, раскланивались и улыбались каждому встречному. Так что об их жизни могли судить только они сами. Мордой жена звала мужа, видимо, как-то по-своему ласково, но незнание языка превратило ласковое название в грубое прозвище. Жену звали Рая, она не работала, потому целый день болталась по соседям, но к возвращению мужа всегда торопилась домой. Кроме обстановки в доме присутствовал еще вечный горелый запах, то ли котлет, то ли рыбы, а скорее и того и другого. И ещё порой в семейных ссорах Морда упрекал жену в прелюбодействе. Намекал на непонятность сына.

Ещё учась в школе, Мишка перестал подавать своему папе надежды. Учился отвратительно, хулиганил, а главное, никогда не хотел вывернуться. Виноват – соглашался и получал наказание. К советам отца был безразличен и поступал против них. Вообще был сыном не своего отца. Мать, правда, мало обращала на то внимания. Была до надоедливости ласкова с сыном, похожа на клушу, которая не замечает, что цыплёнок вовсе не цыплёнок, а утёнок, лишь бы вырос целым. Папа не разделял

её безумной любви. Было в его жизни одно обстоятельство, которого Морда страшно боялся. У него стыла в жилах кровь, когда он проходил мимо городского ипподрома. Именно здесь его сын перестал быть его сыном. Это он сам привёл его на скачки, а потом узнал, что после школы Мишка ходит на ипподром и в конюшне ухаживает за лошадьми. Даже просит, чтобы ему разрешили почистить в конюшне. И чистит. Об этом ведь никого долго просить не надо. Сначала все думали, со временем эта его дурь пройдёт, но после окончания школы Мишка стал там работать постоянно. Он чистил в конюшне, иногда объезжал лошадей. Родственники вначале качали головами, теперь откровенно ухмылялись. Вот до какой неприличности дошло дело. Морда не знал, что делать. Все душевспасительные беседы, тет-а-тет с сыном, не помогали. Ответом был с каждым днём усиливающийся лошадиный запах и больше ничего. Сын даже не пытался отвечать. Книги он покупал только о лошадях. Оклеил свою комнату фотографиями коней. Если человек думает только о лошадях, может ли он понимать отца? Об этом постоянно думал Морда. От этих мыслей он становился медлительней. Он даже наедине с собой вздымал руки и повторял одному ему понятные слова о человеке. А для этого нужна была остановка. Остановки становились всё чаще. От непонятности происходящего он стал похож на безумного. Рае до него не было никакого дела. Она привыкла к странностям мужа или же вообще не собиралась к ним привыкать. Это одно и то же. К чему-то привыкнуть и чего-то не знать – равноценное понятие. Рая носилась по соседям. Морда всё больше уходил в себя. Мишка приходил домой только ночевать, приносил конский запах, от которого морщился отец и которого вовсе не замечала мать. Родственники заходили редко. Продолжения у Морды не было, а значит, не было и перспективы. К неперспективным евреям родичи не ходят. Они сочувствуют, качают головами, говорят: «Ай, ай», но в гости не ходят. Потому, может быть, Морда часто сидел вечером возле дома на низенькой скамейке, наверное, ждал, что кто-нибудь из родственников вспомнит о нём. Потом выходила Рая и уводила его домой. Войдя в свой двор, они о чём-то гортанно кричали, тоскливо и нервно, потом хлопала дверь, как бы закрываясь за ещё одним днём – безрадостным, кромешным для Морды и обыкновенным для семьи.

Но однажды всё переменялось. Морда шёл обычным своим путём на работу. При подходе к ипподрому кровь его начала стынуть, потому походка его стала медленней. Он даже рассмотрел объявление, висящее на заборе. Объявление носило следующее содержание: «Состоятся скачки... число, год». Поимённо лошади участницы, с цезаревскими кличками. А в самом конце стояло: «Главный администратор ипподрома Михаил Штейн». Кровь, готовая остыть, забурилась, мышцы напряглись. Он не мог оторвать взгляда от объявления. Что это, когда это случилось? Он просто навсегда углубился в неудачное поведение сына и забыл, что в каждом деле возможен успех.

Идя вечером со службы, он уже не был Мордой, он был Михаилом Штейном, отцом главного администратора ипподрома. По дороге он встретил близкого родственника Морриса и от имени сына пригласил его на семейный праздник, по случаю вступления сына в должность. Моррис округлил глаза, благодарно закивал, долго жал руку, говорил давно забытые Мордой слова. Когда он шёл по своему кварталу, ему казалось, что соседи специально вышли на улицу, чтобы встретить его. Просто в своём отрешении, граничащем с безумием, неожидан-

но кончившимся, он забыл о текущей рядом жизни. Он раскланивался с соседями и даже говорил комплименты женщинам. Те смущались, оправляли засаленные халаты и добрели. В этот вечер он перестал быть Мордой, он был отцом Михаила Штейна, главного администратора ипподрома.

Зайдя в свой двор, он не стал запирать, по обычаю, ворота, а сразу прошёл в дом. Рая обезумела от его поцелуя, заверещала, засуетилась, убежала в спальню и явилась обратно в праздничном платье.

– Ты уже всё знаешь, Мордехай, какой молодец наш сын! Я уже приготовила стол. Сегодня, наверное, будут гости. Соседи, говорили, зайдут.

– Пусть заходят все, – торжественно ответил муж. – Я всегда говорил, что мой сын будет человеком. Я всё сделал для него. Как ты думаешь, что мне надеть для такого случая?

Через некоторое время гордый, переодетый во всё новое, Мордехай встречал гостей, провожал их к столу, потчевал, благодарил, что они уважили его в приятный для семьи день. Желающих уйти не отпускал, называл друзьями и потчевал, потчевал.

Когда гости разошлись, они с женой ещё долго сидели за столом, болтали. Мордехай говорил:

– Не пришёл только Буткевич. Но когда Михаил станет директором, он придёт. Будь уверена, жена, он придёт.

Несмотря на позднее время они продолжали беседовать за столом, говорили о своих родственниках и ждали, ждали своего сына, главного администратора ипподрома.

Стало совсем поздно. Решили лечь спать, отложив встречу на утро. Одетый в полосатую пижаму, сидя в кресле возле кровати, Мордехай говорил лежащей перед ним жене:

– Конечно, у нашего сына теперь много забот. Столько народу, да и лошадей тоже много. Со всеми надо разговаривать. К каждому человеку нужен подход, Рая, да и к лошадям тоже. Лошади тоже иногда везут. Когда ты к ним добр, они везут.

Он поднялся, погладил жену по голове и выключил свет. Уже в темноте он проговорил:

– Рая, нам нужно заменить старую мебель. У нас теперь бывают люди.

Стихи по кругу

Мария ЧЕРНОВА

Москва, Троицк

* * *

В районной библиотеке города Арзамас,
Куда не летают ракеты ЦАХАЛ или ХАМАС,

Между страницами книги лежит билет,
Лежит уже около ста миллионов лет.

Это билет в кинотеатр города Ржев,
Не штурмовали его ВСУ и ВС РФ.

В кинотеатре в подсобке висит портрет
Человека, не появившегося на свет.

Я его встретила в городе Абакан,
На который не претендует ни Армения, ни Азербайджан.

Попросил телефон одолжить ему позвонить,
В трубке тоненький голос фюить-фюить:

«Набранный вами номер – древнее божество.
Это конец истории, времени и всего»...

Остался ж/д участок Шумерля–Небылицы,
Чтобы священный поезд мог где-то остановиться.

На одной из станций избушка, в ней погребок.
Весна-осень затоплен, но в целом – ок.

То мокнут, то сохнут в погребке тряпки
И банки, как насекомого яйцекладки.

В банках крупы, закрутки, всякая ерунда,
Собранная из козлиных копытец вода,

Волосы с бороды, ведьмин студень, мёд,
Красная плесень и рифмы к слову «прилёт».

Лишь в одной из них ядерная война.
Подниму эту банку с сырого дна.

Отнесу в дальний угол лесной глуши,
Из грибницы стальной там растут ножи,

Во главе угла – табурет планет
С четырех сторон поглощает свет.

Охранять банку будет учёный лис
С тепловизором в тени лесных кулис.

Имя его не сказать, не понять, не пнуть.
Имя его можно выдохнуть и вдохнуть.

И ловушки этой не избежать –
Сколько будешь жить, будешь звать.

* * *

штрихует дождь под фонарём,
темень.
я не копила всем на смех
денег
и не была ни с кем вдвоём
в загсе,
а в остальном всё как у всех
в массе

напыхал чайник на стекло
паром.
вода привыкла с неба лить
даром
окно, как будто полотно –
тут бы
скорее пальцем выводить
буквы

мелькнула тень у турника
чья-то
одним движеньем обведём –
снято!
напоминает букву А
в круге
или сгорающих живьём
в срубе

дождь шумно дышит, в темноте
пусто.
на домофоне пискнул код
грустно.
повисла на дверном глазке –
кто ж там
укрыться от воды помог
кошкам

штрихует дождь под фонарём,
ливень
уносит кровь, плевки, помёт
к сливам
гром – словно в телефон орёт
шутку,
но молния уже кладёт трубку

Клара ШОХ

Санкт-Петербург

* * *

Мы все тут,
ну и ты приходи –
в утро гнутых минут
где-то ближе к шести –
открывается лаз.
Хоть на час забеги.
Здесь у нас
есть причал у реки –
не забудь туфли-лодочки – и
поплывём
на тот край, где дожди
наливают в колодцы небо.
Мы пунктирные птичьи следы –
Мы кувшинок слепые стебли,
Мы воздушные чьи-то дети.

Не поверишь, здесь был Серафим –
он наверх отлетел на рассвете,
ну и ладно, решили: Бог с ним.
И с тех пор мы живём как-то сами,
всех прощаем простыми словами
и по имени всех говорим.

* * *

Я не знаю, как это бывает.
Никогда не случалось пока,
Но хочу сеновал – чтобы аист
Нахлобучил гнездо у конька.

Сны под утро особенно шатки:
Торкнет в бок заблудившийся кит,
Щекотнёт полевица лопатки –
Ойкнет жизнь, и захочется пить.

Ты выходишь веснушчатой, рыжей
В час, когда соловей режет тишь,
И сбегает по лестнице с крыши...
Нет, сегодня, наверно, летишь.

Андрей АЛЬПИДОВСКИЙ
Нижний Новгород

1941

Отцу

Город Горький. Зорьки хмурятся.
Окна – в светомаскировке.
Сорок первый год на улице,
Каждый день бомбардировки.

Кинохроникой из прошлого
Кадр встаёт передо мной:
На веранде дома – взрослые,
Дети. И сирены вой.

Бьют зенитки по стервятникам,
Смерть несущим под крылом,
И летит она, проклятая,
По соседству сносит дом.

И осколки – злыми осами,
Сквозь открытое окно
Пролетают между взрослыми –
Ох, недетское кино!

А смотрел его мальчишечка
Лет пяти тогда еще,
Про «четыре года-лышечка»
Ничего не знающий.

И что сгинут эти сволочи,
Он не ведал – верил, жил.
Вспоминал металл осколочный,
Тот, что сердце не прошел.

И Господь сподобил вырасти,
Послужить родной стране,
По великой Божьей милости
Жизни благо дать и мне.

Валерий РУМЯНЦЕВ
Сочи

* * *

История всегда права,
Хоть кажется порой – не очень.
И тяжелеет голова,
И пессимизм скользит меж строчек.

И хочется совсем чуть-чуть,
Слегка, историю подправить,
Чтоб куда надо повернуть
И в нужном свете всё представить.

История всегда права,
Хоть кажется порой иначе:
Историю творит молва,
А глас её немного значит.

Историю из фактов шьют,
Но среди портных такие споры,
Что часто их тяжёлый труд
Похож скорей на ключья вздора.

Часть фактов спрятана в слова,
Другая часть вообще под стражей.
История всегда права –
О людях этого не скажешь.

Анна ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Москва

* * *

Плохие новости
Не сообщают о прибытии своего поезда.
Они сами выгружаются на вокзале.
Сами вызывают себе такси.
Их никто не ждет на перроне,
Не целует,
Не обнимает.
Плохие новости уже выехали.
Но я еще не знаю о них.
Плохие новости не торопят водителя «Яндекса»,
Но в этот раз навигатор не барахлит.
У плохих новостей нет ключей,
Но соседка выходит гулять со своим доберманом,
И они попадают в подъезд.
Плохие новости не ездят на лифте –
Следят за собой –
Поднимаются на четвертый этаж.
Жмут на звонок.
Но им открываю не я.
Я вас обманула,
Плохие новости.
Точнее ошиблась, когда заполняла данные.
Я живу на пятом.
На четвертом живут мои родители.
Но в другом городе.
На другой улице.
До свидания.

* * *

Какая легкость бытия
Невыносимая –
Неси меня от ты до я,
Неси меня.

И божьи слезы упадут
На утомленную
Макушку нежную мою,
В тебя влюбленную

Елена КОЛЕСНИКОВА

Воронеж

* * *

Леса бурый подшёрсток
Обнажил ветерок,
Звонких дней отголосок
Безнадёжно далёк.

Вяжет дождик на спицах
Серый полог земле,
Чёрным вышиты птицы
По лиловой кайме.

Что же мне остаётся –
Только в руку перо
Да печаль, что прольется
Светлой строчкой в окно...

Петр РОДИН

р. п. Воскресенское, Нижегородская область

Про квашню и ухваты

Бабушки-старушки
Нашей деревушки,
Вам досуг припомнить прежний говорок?
В нём душа народа,
Русская природа
Да исповедальный наших душ исток.
Внуки забывают,
Что как называют,
Как в деревне *баяли* старики *допрежь*.
Русские словечки
Ласково сердечка,
Может быть, коснутся
(не таю надежд).

Где они – *ухваты*,
 Как быки рогаты,
 Что в печи *тутушкали* чугуны с утра;
 Самовары *баские*,
Коромысла вятские
 Да *кадушка* в *голбце* с *брагой*, в три ведра?
Рубель не забыли,
 Чем стирали-мыли?
 «Не мытьём, так катаньем» – про него слова.
 Уж катали-мыли,
 Семьи круты были,
 Сколь портков с рубахами – кругом голова!
 После стирки – сушка,
 Глажка да утюжка.
 У печных *приступков* он – хозяйки друг,
 Тяжек, словно гиря,
 Золу сыплет в дыры,
 Важный и пузатый *угольный утюг*.
 Рядом – *умывальник*,
 Всем с утра начальник.
 Лучше Михалкова вряд ли описать.
 Помню лишь из детства,
 Как побудки средство -
 Брякает зараза, не даёт поспать.
 У *загнетки* доски,
 То *квашни* обноски.
 Запах то ли щуки, то ли карася...
 Эх, ещё бы в детство
 Вдоволь наглядеться!
 ...Бабушка *устряпалась*, *рыбник* испекся!
Ходики сломались,
 без ноги остались,
 Время отсчитали всё за прошлый век.
 Бабушки-старушки
 Навострили ушки:
 «Не забудь деревню,
 Добрый человек!»

Ярослав КАУРОВ

Нижний Новгород

Высоково-Успенский монастырь

Высоково-Успенский монастырь –
 Приют моей души, когда ей худо.
 Молитвы долги, часослов, псалтырь.
 Спасибо, Господи, за это чудо!

Спасибо вам, Паисий и Андрей,
 За ум и кротость, силу и смиренность,

За вечную распахнутость дверей
И за молчание, без поученья...

В лесах затеряна, удалена
От жизни суетной и некрасивой
Спасенье наше – древняя страна,
Осколок незапятнанной России.

Как будто недоступное для глаз
Пляшущее прекрасное виденье,
Но и не считаешь, сколько раз
Отсюда начиналось возрожденье.

Столицы позавидовать могли
Церквям и величайшей колокольне,
Но этим башням на краю земли –
Божественней, достойней и спокойней.

Спасибо вам за тишину ночей,
Ту тишину, что только там осталась,
За то, что утром бегал на ручей
И там, с мостков, смывал с себя усталость.

Потом молитвы длинные как век,
Еда крестьянская, вкуснее нету,
Здесь знаешь, что такое человек
И для чего он странствует по свету.

Ты одинокий, светлый и простой
В заботе о свободе и о хлебе.
Мой монастырь, спокойный, как святой,
Как будто правда выстроен на небе.

Теперь укутан в чистые снега:
Мой милый монастырь еще белее...
А я смотрю на Волги берега –
И в городе приют в себе лелею.

Николай СВЕЧИН

Родился в 1959 году в Горьком. Окончил экономический факультет Горьковского госуниверситета. Работал нормировщиком на заводе, инструктором горисполкома, занимался бизнесом.

Первая книга, объединившая две повести («Завещание Аввакума» и «Охота на царя»), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. Работает в жанре исторического детектива. Лауреат премии в области литературы и кино «Русский детектив» (2021) сразу в двух номинациях: роман «Взаперти» назван лучшим в номинации «Детектив года», а сам автор признан «Автором года» с произведением «Кубанский огонь». Почетный гражданин Нижнего Новгорода.

Живет в Нижнем Новгороде.

ОПАСНАЯ ДОРОГА

Глава из книги «Тайна мыса Пицунда»

Сыщики сели на пароход «Елизавета» Российского транспортного и страхового общества. Того самого, в конторе которого в Гаграх служил агент Папаша. Пароход выполнял регулярные рейсы по маршруту Одесса – Батум и обратно. Питерцы заняли двухместную каюту первого класса и получили право обедать за одним столом с капитаном. Тот оказался греком, звали его Апостол Манолович Харлямпопулос, и он взял пассажиров под свое покровительство. То, что у них было с Азвестопуло общее отчество, сблизило обоих.

Уже за первым совместным ужином Алексей Николаевич заговорил с Харлямпопулосом о бухте Мюссеры. Они-де с Сергеем ищут место, куда можно вложить капитал. Открыть, к примеру, частную санаторию для раненых. Вон их сколько война поставляет! А бухта там, говорят, славная.

– Славная, но мелкая, – отчеканил капитан. – У Черного моря есть дурная особенность: здесь часто штормит. Иногда людям на берегу приходится ждать парохода по две недели, а тот не может пристать. С этой целью власти строят порты-убежища. Их задумано восемь: в Геленджике, Джубге, Сочи, Адлере, Гаграх, Гудауте, Очемчирах и Сухуме. Заметьте: Мюссеры нет в этом списке.

– Но бухта-то есть!

– А потому что место не очень удобное. Проход узкий, только баркасу контрабандиста и пролезть в него. Потом, малярийные болота по всей округе.

– В рекламе пишут, что их осушили, – выразил удивление Азвестопуло.

– А вы верьте больше газетам, там одно вранье.

– Куда же тогда вложить средства? – насутился Лыков.

– Например, в Геленжике есть имение «Джанхот». Там продаются места под дачи, всего в полуверсте от пляжа. Цена от двух до четырех рублей за квадратную сажень. Рядом запроектирована станция Черноморской железной дороги. Как построят ее, цены взлетят вчетверо! Надо сейчас брать, пока дешево.

– «Джанхот»? – оживился Алексей Николаевич. – Это там старые вина продают?

– Точно так, – Харлямпопулос ответил ему понимающей улыбкой. – Вижу, вы знаете толк. Вино урожая тысяча восемьсот восемьдесят шестого года стоит три рубля! А всякие простенькие рислинги и сотерны – от сорока до шестидесяти пяти копеек. И очень вкусные.

Увидев, что пассажиры не могут определиться, капитан стал рассказывать, как устроена жизнь на побережье. Многие перед войной накупили здесь себе дачных участков. Был спекулятивный бум, люди вкладывали деньги, не посещая места, доверяясь рекламе. А когда приехали, выяснили, что до ближайшей лавки пятьдесят верст! И приходится даже иной раз голодать. Или покупать у проходящих торговцев все втридорога. Иные, пожив так один сезон, уехали и больше не вернулись. Ищут, кому сбыть ненужную землю. А единственные покупатели тут – это кавказские инородцы, часто бывшие турецкоподданные.

– Которые называют себя мухаджирами?

– Да, да, я о них и говорю!

– Но, Апостол Манолович, ведь мы сейчас с турками воюем!

– К этому и веду, господа. Приходится удивляться слепоте нашего правительства. Сначала выгнали черкесов взащей, сделали их подданными страны, с которой Россия постоянно сражается. А потом впустили их обратно и позволили купить землю вдоль береговой полосы. Разве не глупо?

Лыков попридержал критику грека:

– Есть казенная береговая полоса шириной двадцать пять сажень, она тянется сплошной полосой вдоль берега и не подлежит продаже в частные руки.

– Да знаю я это... Ну и что? Мухаджиры купят себе участки возле важных объектов: порты, мосты, маяки, хлебные ссыпки и нефтяные терминалы. Да уже купили. Потом турки высаживают десант и получают... как это у военных?

– Плацдарм, – подсказал Алексей Николаевич.

– Именно так. И не только плацдарм для сосредоточения войск, но и само войско, и базу для снабжения. Куда смотрит правительство?

– Апостол Манолович, а еще говорят, что где-то на побережье те самые инородцы прячут базу германских подводных лодок, – вставил Сергей. Капитан тотчас же подхватил:

– Да все об этом говорят, я тоже слышал.

– Но что вы на это скажете? Может такое быть? И если да, то где именно расположена такая база?

Капитан почувствовал что-то неладное, но статский советник его успокоил:

– Мы же не просто так спрашиваем. А то купим землю вроде бы как в хорошем месте. Вложим туда все деньги. А потом приплывут османы и сделают нам секир башка.

– Лодки, лодки... Не дай нам бог, господа, встретить их на пути. Я специально держусь ближе к берегу, чтобы в случае чего выбраться. А то получится как с «Орионом», который далеко отошел,

чем себя и погубил. Про что уж я? Да, про условия жизни на побережье. Условия, прямо скажем, тяжелые. Когда пятьдесят лет назад выгнали отсюда черкесов, земля была другая. Ухоженная – вот какая она была. Всюду сады, ореховые рощи, запашка. Черкесы держали много скота, жили небедно. Пришли ваши и все угробили. Теперь в лесах уже почти не видны старые туземные дороги и тропы. Леса опустели. В них поселились дикие звери. Не поверите: еще несколько лет назад с гор в Новороссийск спускались барсы и съедали собак.

– Но на пустые земли черкесов пришли переселенцы, – словно про себя сказал Алексей Николаевич.

– А вы знаете, что это были за переселенцы? – вспыхнул Харлям-популос. – Самый дурной материал. Из них никто тут не задержался, вообще никто! Первыми разместились повзводно части Шапсугского батальона. Его сформировали во время резни, в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году, из порочных казаков Кубанского войска. Эти люди дали всем жару! Разбойники с большой дороги вели себя приличнее. Батальон должен был обеспечить безопасность переселенцам, а он, наоборот, всех распугал. А потом казаки те вымерли от малярии... Стали кучками появляться люди из внутренних губерний России. Им давали по три десятины на мужскую душу и селили только крестьян, для занятия земледелием. Сперва на побережье, а потом начали они проникать и внутрь. А как вести хозяйство? Кругом непроходимые леса, распаханное ранее земли вновь одичали. Зверье по ночам воет. Климат непривычный, что сажать, а что не сажать, мужики понять не могут. Поколотились год-другой, много третий, плюнули и ушли искать счастье в других местах.

Тогда правительство объявило частновладельческую колонизацию. Приходи кто хочешь! До трех тысяч десятин продавали одному лицу, по цене десять рублей десятина. Рассрочка платежа десять лет. А многие получили бесплатно, за заслуги перед государством. От купивших требовали начать разведение ценных насаждений. Еще под то же самое предоставляли участки в пятилетнюю аренду. За этот срок приобретатель должен был расчистить не менее четверти участка и возвести усадьбные постройки. Если выполнял – мог купить землю по известной цене, с рассрочкой в тридцать семь лет. Спрос раздули огромный, опять пошла спекуляция. Перед самой войной выделили так называемые группы участков, их всего три: Адлеровская, Головинская и Муравьевская. Землю там скупают, но никаких земельных работ не ведут. Просто дробят участки и продают желающим под дачи. Население в городах растет. А в горах – нет. Не хотят православные селиться в тех гибельных местах... А кто поселился, скоро уезжают.

Капитан отпил чаю и вновь сел на любимого конька:

– На их место тихо-тихо вернулись прежние хозяева. Только с ненавистью ко всему русскому и с турецкими паспортами.

– Я слышал, что последнее неверно, – со значением сказал Азвестопуло. – Они в большинстве своем приняли русское подданство.

– Эх, молодой человек, как вы наивны. Подданство можно поменять. А память? А душу? А то, что впиталось с молоком матери?

Лыков вмешался в разговор и приял сторону капитана:

– Да, мухаджирьы формально поменяли подданство. А знаешь почему? Чтобы не лишиться своих земельных владений.

Сыщик имел в виду закон от 2 февраля 1915 года о прекращении землевладения и землепользования выходцев из враждебных России

государств. Имена подданных Германии, Австро-Венгрии, Турции, а теперь еще и Болгарии должны были поменять хозяев. Только сегодня Лыков видел в газете подобное объявление: «Готфрид Цигель продает имение 4 000 квадратных саженей в местности Арлы близ Поти». Если в течение года и четырех месяцев имения не будут отчуждены самими владельцами по добровольным соглашениям, тогда власти выставляют их на публичные торги.

Алексей Николаевич напомнил о законе и осекся. Вдруг в голову его пришла неожиданная мысль. Если такие участки в долине Мюссеры принадлежали немецким или турецким выходцам, разведка противника могла купить их по фиктивным договорам. И передать своим агентам, обладающим российскими паспортами. Вроде все ладно, участок отчужден согласно закону. Но на деле он перешел из рук врага в руки такого же врага. И остался под чужим контролем. Интересно, проверялась ли догадка сыщика силами полиции и контрразведки? Вот, к примеру, те три больших дачи, которые на карте треугольником окружают бухту реки, – кто их владельцы? Если прежде это были турки или германцы и их заставили продать имения, скорее всего шпионы просто переписали купчие на своих людей. Надо срочно донести это предположение до Нищенкова, пусть проверит.

Капитан между тем продолжал развивать свою тему насчет махинаций с землей. Лыков вторично вернул его к базе подлодок. Видя, что увернуться ему не дадут, Апостол Манолович сказал:

– База вполне может быть. Где – не знаю. Люди разное говорят, в том числе приплетают и вашу бухту Мюссеры.

– Будь вы нашим противником, где бы решили базироваться? – заострил вопрос статский советник.

Грек зачесал картофелеобразный нос:

– Где? Ну вы спросили... Я хоть и моряк, но не подводник. Мне, чтобы пристать к берегу, нужны тридцать футов глубины и причальная стенка. И другие портовые сооружения, если несущ груз. А для подлодки нужна стенка?

Все трое помолчали, и Харлямпопулос продолжил:

– Ежели обратиться к здравому смыслу, то любая серьезная река имеет устье и может быть использована для причаливания. Таких рек у нас на маршруте несколько.

Капитан начал загибать пальцы, а Сергей – записывать:

– Бзыбь, Псоу, Мчишта, может быть, и Чурей... Хоби. Мзымта? Пожалуй, и Мзымта. Гулиста. Моква. Цхенцкар. Гагида. Окум. Кодор. И, конечно, Ингури. Сколько получилось?

– Тринадцать рек.

– Во! И в любой из них можно соорудить укрытие. Правда, ваша Мюссера из них лучше всех, потому как впадает в море в самом безлюдном месте. Ни дорог, ни селений! Отойди от берега на десять верст, и никто никогда не узнает, что ты там прячешься.

– Кроме местных жителей, – поправил моряка старший сыщик.

– А!.. Жителей тех горсть. И потом, с ними всегда можно договориться. Лыков вспомнил карту побережья и дополнил:

– Такому условию удовлетворяют из перечисленных вами Гагида, Окум и Гулиста. Глухие места, горы и полное безлюдье.

– Соглашусь, – не стал спорить капитан. – Вот там землю и не покупайте!

На этом разговор закончился. Харлямпопулос ушел на мостик, сыщики заперлись в каюте и обсудили новости. Сергей бранился:

– Года не хватит, чтобы облазить все эти речки! Даже если брать лишь глухие и безлюдные.

– У нас в инструкции сказано – Мюссера, с нее и начнем.

– А чем хуже тот же Окум?

– Тем, что его нет в инструкции.

– Формалист вы, ваше высококородие. Чернильная душа!

– А ты мизерабль, – обозвал помощника в ответ Лыков. И тут же поправился: – Впрочем, теперь уже нет. После Колымы – нет. Нувориш, вот кто ты. Скороспелый богач, происхождение капиталов которого вызывает сомнения.

Сыщики выпили от скуки вина, и статский советник сообщил коллежскому асессору:

– В Батуме нас будет ждать Николай.

– Чунеев?

– Он самый. К нашей операции подключается разведывательный отдел Кавказского фронта. Николка их представитель. Он привезет своих людей, кандидатов в дезертиры, а заодно всю информацию, какая имеется у разведчиков насчет шпионажа на побережье. Там и решим, шупать твой Окум или сразу проникать на Мюссеру.

– Ну тогда куда ни шло, – повеселел грек. – Ну-ка, где у нас затаился рислинг? Или сразу коньячку, ваше высококородие? На закуску есть булка «флотского» хлеба и сыр бакштейн.

– Хлопнем коньяку, а закусывать пойдем в буфет, – постановил статский советник. – Наливай!

Плавание шло своим ходом. Погода благоприятствовала: светило теплое майское солнце, море радовало небольшой зыбью, от которой сыщиков даже не тошнило. До берега было недалеко, и пассажиры любовались молодой зеленью. Дачи стояли в окантовке цветущих деревьев. Казалось, их пьянящие ароматы долетали до парохода. О войне напоминали двое вахтенных. Они ходили вдоль бортов и внимательно всматривались в бинокли – нет ли перископа или, не дай бог, буруна от пущенной торпеды.

«Елизавета» последовательно швартовалась в Новороссийске, Туапсе, Сочах. В Туапсе сыщики увидели разбитый снарядами «Гёбена» мол... После Сочей показались снежные вершины гор, пейзажи стали еще живописнее. Когда проплывали Хосту, Харлямпопулос указал на красивое здание на берегу:

– Дача бывшего министра юстиции Щегловитова.

Щегловитов в свое время закатал Лыкова в тюрьму. Сыщик повернулся к своему помощнику:

– Ну почему «Гёбен» не сравнивал эту дачу с землей? Надо будет подсказать шпионам.

– Можно подослать наших «дезертиров» с зажигательными средствами, – предложил Сергей. – Когда закончим дело. Под шумок никто не обратит внимания, скажут – диверсанты.

«Елизавета» шла ходко, но пассажиров было немного. Капитан кряхтел:

– Чтобы рейс дал прибыль, надо армию возить! А она нас почему-то не любит.

Когда зашли в Адлер, на борт поднялись двое: ефрейтор с винтовкой и солдат без винтовки. А также без пояса и погон. Командант порта посылал проштрафившегося нижнего чина в Гагры на заседание военно-окружного суда.

– Вот вам и армия, – съязвил коллежский асессор.

Сыщики стояли на корме. Азвестопуло курил, его начальник кидал чайкам куски «флотского» хлеба. Пароход шел ходко, дым весело валил из трубы, вдали уже показались Гагры, как вдруг раздался крик вахтенного:

– Справа по курсу полтора кабельтова перископ!!!

На секунду наступила тишина, а потом слышались дикие крики и топот множества ног. Капитан гаркнул:

– Лево руля, полный ход!

И следом:

– Команде и пассажирам: возьмитесь за что попало и держитесь крепко – буду выбрасываться на берег! Вещи не брать, потом схватите!

Визг превратился в животный вой. Какая-то баба из простого сословия села на палубу и стала биться о леер головой, приговаривая:

– Господи, спаси! Господи, спаси!

Лыков прикрикнул на нее:

– Возьмись за поручни, дура! Сейчас кувырком полетишь!

Но та не послушалась и продолжала колотиться.

Алексей Николаевич посмотрел в море и разглядел в трехстах метрах как будто скалу, вырастающую из воды. Это была обсервационная рубка. Затем лодка показалась всем корпусом, похожая на огромную темно-серую сигару. Сыщик увидел, как из рубки на палубу, передавая друг другу ящики, спустились по лесенке четверо. Моряки захопота-ли возле орудия. Один из канониров нагнулся над ящиком, и в его руках блеснула на солнце латунная гильза снаряда. Сейчас начнут обстрел!

Лыков лихорадочно осмотрелся и обнаружил возле себя караульного солдата и штрафованного. Они стояли бок о бок и заворуженно смотрели на вражеский корабль.

– Сядьте и возьмитесь за леер! – приказал им сыщик. Те послушно исполнили, но глаз не отвели.

Питерец хлопнул караульного по плечу:

– Дай винтовку!

– Не положено!

– Ты жить хочешь?

Ефрейтор на секунду замаялся, но потом протянул оружие. Лыков продолжал распоряжаться, и таким тоном, что все вокруг его слушались.

– Лечь на палубу и держаться крепко-крепко!

Азвестопуло, нижние чины и публика послушно повалились.

Алексей Николаевич тоже лег, устроился поудобнее, положил ствол магазинки на нижний поручень ограждения и прицелился. В это время раздался первый выстрел. Снаряд с улюлюканьем пролетел над палубой и прошел насквозь дымовую трубу. Многие вскочили и бросились на нос. Однако берег был уже совсем близко, и питерцы хором крикнули:

– Лежать! Сейчас будет удар!

Лыков зажал винтовку коленями и ухватился за трос ограждения. И тут «Елизавета» врзалась наконец в берег. Все, кроме статского советника, улетели по палубе назад до кормового отсека. Хлопнул второй выстрел, снаряд впился в корму выше ватерлинии. Из открытых дверей кают сразу показался вонючий желтый дым.

– Ну, держись, сволочи, – пробурчал питерец и прицелился. Командир расчета поднял руку, но дать команду не успел. Лыков нажал на спуск, и немец полетел за борт.

Прислуга засуетилась вокруг пушки – выстрела, да еще такого меткого, они не ждали. Привыкнув, что все пугаются оружейной пальбы, германцы подошли к пароходу слишком близко. А статский советник

уже взял на мушку заряжающего. Бах! Артиллерист покатился по палубе, суча ногами.

Двое уцелевших канониров, толкая друг друга, бросились назад, к рубке. Третьего сыщик убил в спину на лесенке, а четвертый успел спастись, прыгнув с мостика внутрь.

– Чрезвычайно ловко, ваше благородие! – раздалось над ухом. Это ефрейтор подполз сзади и наблюдал расправу над орудийным расчетом.

Люк рубки стал закрываться. Лыков лихорадочно, почти не целясь, пустил в него две оставшиеся в обойме пули, надеясь на рикошет. Люк захлопнулся, и лодка тут же начала погружаться.

Сыщик вручил ефрейтору его винтовку и сказал:

– Ну, теперь бежим.

– А што так?

– Не понимаешь? Они по нам сейчас торпедой жажнут. В отместку.

И они бросились к носу, все четверо. Лыков успел показать штрафованному кулак:

– Не вздумай воспользоваться!

Палуба впереди была пустая – пассажиры и команда уже спустились по канатам или попрыгали в воду. Нос «Елизаветы» глубоко зарылся в песок – капитан рассчитал все правильно, и пароход не повалился на бок, только немного накренился и стоял почти прямо.

Алексей Николаевич глянул вниз. До воды было две сажени, внизу барахтались женщины, путаясь в распластавшихся по воде юбках. Высоко... Дальше сделать он ничего не успел. За спиной грохнул взрыв, и статский советник кубарем полетел за борт.

Очнулся он быстро и понял, что Азвестопуло тащит его за ворот прочь от судна. Он остановил помощника:

– Стой, я сам могу.

Нашупал дно – было мелко, по грудь. Шагнул раз-другой – ноги держат. Волны прибой аккуратно подталкивали в спину, помогая добраться до берега. Сыщик осмотрелся и увидел, как провинившийся солдат ведет под руки своего конвоира, а на плече у него винтовка.

– Что, оглушило ефрейтора?

– Так точно, вашество. Ничаво, вытащим.

Команда и пассажиры собрались на берегу, прячась за корпус «Елизаветы». Люди причитали, крестились, но раненых и убитых не было. Публика начала понимать, что легко отделалась. Многие предлагали бежать в лес, прятаться от артиллерийского огня. Азвестопуло вылил воду из сапог и громко сказал, обращаясь ко всем сразу:

– Не боись, православные! Лодка убралась восвояси, стрелять в нас некому!

Пассажиры закричали кто во что горазд. Старик в мокрой чуйке укоризненно сказал сыщику:

– Молчи, дурак, коли не знаешь. Как почнет немец сейчас глушить нас из пушки, тут и конец многим. Он же пароход наскрозь пробьет!

Но его оборвал пришедший в себя ефрейтор:

– Сам молчи, старый хрыч. Потому, ни черта ты не видал, когда драпал. Ихнее благородие из моей трехлинейки весь поганый расчет пострелял, только один успел взад мырнуть.

– Как так пострелял? – опешили пассажиры.

– А вот так. Раз-два – и в дамки! Видать, их благородие в семи водах вареный, коли один с целой лодкой совладал. Сколько буду жить – буду вспоминать.

Ефрейтор с чувством сорвал с головы фуражку и в пояс поклонился Лыкову:

– Спаси вас бог! Тут многие вам жизнью обязаны!

Азвестопуло поправил конвоира важным тоном:

– Только не благородие, а подыми: ваше высокородие.

К питерцам подошел капитан. Он тоже был в мокром кителе, запачканном водорослями.

– Неужели правда? Из винта отбились от подводной лодки?

– Ребята обнаглели и слишком близко подошли, – объяснил Алексей Николаевич. – Вот я их и наказал. Спасибо не только мне, но и ефрейтору – не было бы его с мосинкой*, так бы нас михели и расчихвостили. Но и они успели наказать пароход: два снаряда вlepили и торпеду в корму.

Харлямпопулос улыбнулся во весь рот:

– Это такие пустяки в сравнении с тем, что могло бы быть! Ведь чудо из чудес: все живы! Спасибо, господин Лыков! И тебе, ефрейтор, спасибо! Видать, сам Всевышний привел вас двоих на мой пароход...

Публика медленно отходила от пережитого страха. Моряки смотрели в море, смотрели – перископа нигде нет. Похоже, что лодка, получив неожиданный отпор и потеряв нескольких человек из экипажа, убралась восвояси. Урон немцы нанесли немалый: пароход был сильно поврежден, а море вокруг усеяли шляпы, сумки, верхняя одежда...

Когда паника улеглась, выяснилось, что все не так хорошо, как казалось. Три женщины получили сильные ушибы, когда прыгали за борт. Два абхаза, пожилые и степенные, сломали одну руку, а второй ногу. Но хуже всех пришлось мужчине в тужурке железнодорожника. От пережитого потрясения у него прихватило сердце. Через полчаса он умер на руках у жены.

Расстрел парохода видели с маяка. Телеграфировали в Гагры, и скоро оттуда прибыли закладки**. К этому времени моряки с «Елизаветы» сумели забраться на пароход и спустили оттуда трапы. Мужчины поднялись и выгрузили вещи. Лыков с Азвестопуло простились с капитаном, сели в экипаж и уехали. Апостол Манолович остался изучать полученные повреждения.

Сыщики оказались в непростой ситуации. Статский советник совершил в некотором роде подвиг. О происшествии доложат по команде, с упоминанием чина и фамилии героя. Но общаться с администрацией города ему было нельзя. Через какое-то время питерцы вернутся сюда под личиной мошенников – а их еще не забыли как полицейских чиновников.

В результате, никому не говоря, сыщики сели в омнибус до Гудаут и быстро покинули Гагры.

Омнибус, запряженный четверкой лошадей, тянул фуру, в которую набилось девять пассажиров. К счастью, среди них не было никого с «Елизаветы». Дорога должна была занять семь с половиной часов. Солнце палило и высушивало на сыщиках мокрую одежду. Они с любопытством крутили головами по сторонам. Нежданно-негаданно командированные попали туда, куда собирались забраться только после совещания в Батуме. Вот они, дебри приморского побережья вблизи Пицунды!

Все вокруг было непривычно для питерского глаза. Тропический лес, обвязанный лианами, стоял непроходимой стеной. Кругом цело

* Мосинка – винтовка Мосина.

** Залкадка – пролетка.

и пахло. Русская Ривьера! Шоссе делало тут изрядный крюк, огибая мыс. Большой кусок прибрежной суши оказывался таким образом в стороне от посторонних глаз. Действительно, особенное место.

До Гудаут они так и не доехали. На станции Черная речка предстояла перепряжка лошадей. Лыков вышел размять ноги и обнаружил военный пикет во главе с молодым прапорщиком. Он подошел и предъявил свой открытый лист за подписью наштаверха Алексеева, предусмотрительно завернутый в клеенку и потому не размокший. И приказал доставить их в Батум или хотя бы в Сухум. Так, чтобы никто из местных не видел.

Офицер оказался расторопным. Через час подъехал военный мотор с поднятым верхом, забрал питерцев и двинул на восток. Они помчались по так называемому Анненковскому голодному шоссе. Его начали строить в 1893-м, в самарский голодный год, руками приехавших с Волги на заработки крестьян. От Гагр до Сухума сто одна верста, автомобиль покрыл это расстояние всего за три часа.

Сухум – небольшой прибрежный город с двадцатью пятью тысячами жителей, собором, пятью храмами и тремя монастырскими подворьями. Здесь никто не знал о нападении подлодки на пароход «Елизавета», и сыщики могли спокойно перевести дух. Они поселились в лучшей гостинице «Гранд-отель», первым делом приложились к буфету и крепко уснули под шум моря.

Утром приезжая парочка отправилась посмотреть город. Тот расположился в обширной долине, которую с трех сторон обступили горы. Местность на юго-западе была низменная и нездоровая, и гости сразу полезли на возвышенную часть. Ее недавно осушили, вывели малярийные болота, и быстро-быстро это место застроили богатыми дачами.

Туристы поневоле сочли возможным расслабиться и вели себя праздно. Они осмотрели военный лазарет, санатории докторов Кошко и Мееровича, пансион Арзамасовой, которые неизбежно присутствовали в каждом путеводителе. Затем пообедали на Приморском бульваре у бойких армян и заглянули в акклиматизационный ботанический сад. Все деревья в нем были с этикетками на русском и на латыни, с указанием части света, где они произрастают. Эвкалипты, бамбук, масличные деревья, бананы, пальмы; имелся даже бассейн с папирусом. Много было и местных уроженцев, таких, как олеандр, самшит или кизил. На Черноморском побережье ботаники насчитывали более 300 пород деревьев и кустарников, тогда как по всей остальной России – только 200. Сады Семирамиды, райские кущи! Зеваки почтили вниманием кавказскую липу, которую в 1877 году с досады на русских срубили восставшие черкесы, а она потом снова выросла красивым шатром...

Но надо было как-то добираться до Батума. Снова плыть морем питерцы опасались – им хватило приключений. Алексей Николаевич телеграфировал сыну и попросил эвакуировать их в нужную точку. Через полдня явился посыльный из крепости и доложил, что по приказанию самого комкава* Юденича сыщиков велено посадить на борт тральщика «Т-340» и пулей лететь к месту сбора. Как быть? Не скажешь же морякам, что боишься повторной встречи с «головастиком» кайзера. Пришлось собрать волю в кулак и сесть на военный корабль.

Через сутки питерцы сошли с трапа в военной гавани Батума и попали в объятия штабс-капитана Николая Лыкова-Нефедьева.

* Комкав – командующий Кавказской армией.

Далекое – близкое

Павел КРЕНЁВ

Родился в 1950 году в деревне Лопшеньге Архангельской области. Окончил Ленинградское суворовское военное училище, факультет журналистики Ленинградского госуниверситета, Высшие курсы КГБ СССР, аспирантуру Академии безопасности России. Кандидат юридических наук.

Работал в СМИ, служил в органах государственной безопасности, преподавал в Академии безопасности, занимался научной работой, руководил группой научных сотрудников и консультантов Министерства безопасности РФ по вопросам разведки и контрразведки. Работал в администрации Президента РФ в Главном правовом управлении, занимал ряд других должностей на государственной службе.

Автор многих книг, лауреат всероссийских и международных литературных премий фестивалей «Русские мифы», «Золотой витязь», имени Николая Лескова, Александра Невского, Союза писателей России.

Секретарь Союза писателей России. Живет в Москве.

ПРО ОРЛИКА, ГОЛУБКУ, ВАСЯТКУ И ДРУГИХ

Цветные картинки из детства

Всякий мальчишка, наслушавшись бабушек и дедушек, всяких других взрослых людей, начитавшись детских книжек, грезит морями, штормами, увлекательными путешествиями... Ему хочется поскорее оторваться от домашней обыденности, от родительских глаз и ушей, от всего того, что держит его внутри надоевших правил поведения, каких-то глупых рамок приличия, взрослых условностей... Мальчишек до смерти раздражают «кандалы» детских садов, «железные клетки» школ, обрыдливые диктанты, изложения и сочинения, всякие там алгебры и геометрии...

На природу бы! В леса, в поля, луга и речки! Туда, где воля-вольная и рыбалка!

В раннем детстве я сильно хотел быть конюхом. Причин, почему во мне жила такая мечта, было две. Во-первых, отец мой рассказывал, что раньше в их семье жил конь, которого звали Орликом. Папа крепко дружил с этим конем, любил ухаживать за ним и ездить на нем верхом. Потом в деревню пришло колхозное хозяйство, и всех животных с крестьянских дворов согнали в единые коллективные стада. Орлик стал частью такого колхозного табуна. По привычке первое время он в конце рабочего дня выходил из стада и приходил к своему хозяйскому хлеву, где родился и вырос, где жили хозяйка и хозяин и добрые домочадцы, которых любил и которые любили его тоже. Долго стоял перед дверью под бревенчатым взвозом и по привычке ждал, когда же

его впустят внутрь. Даже пытался перепрыгнуть через жерди, преграждавшие путь к месту привычного с его раннего жеребьячества стойла. Однажды и перепрыгнул, едва не сломав себе ноги. Но в стойло его не впустили. Орлик метался среди жердей, ржал с всхлипываниями, напоминающими горький плач... Ему не хотелось в общее стадо... Потом из конюшни пришел конюх и, стремительно работая плетью, отвел взбунтовавшегося молодого коня обратно...

– А чего было делать? – объяснял мне ситуацию отец. – Колхоз тогда пришел к нам, он и командовал...

Я перенял у отца любовь к лошадям, к давно почившему Орлику и вот, когда в колхозном табуне народились маленькие жеребята, я приступил к колхозным конюхам – дяде Зосиме и деду Никанору – со слезной просьбой дать мне на воспитание какого-нибудь жеребёночка. Конечно, ничего такого они разрешить мне не могли, единственное, что было позволено, – приходиться в стойло к кобыле Берёзке – мамаше недавно народившегося жеребёночка, где он и содержался вместе с ней, и подкармливать его, ухаживать за ним, изредка выгуливать...

В память о том любимом отцовском Орлике я назвал своего жеребёнка тоже Орликом. Конюхи мне это разрешили.

А мне и достаточно было. В любую свободную минуту я был рядом с ним. Гладил его голову, шею, спину... Мама наша, для того чтобы побаловать кого-нибудь из подопечных скотинок, всегда держала в уголке сеновала небольшой куточек душистых травок: клевера, душицы, одуванчиков, всяких других цветочков, свежих веточек березы, ивы, рябины, всякого разного нежного жеребьячьего лакомства... Я помаленьку воровал из мамино куточка душистые пучки травки, набивал ею карманы и все пазухи и украдкой нёс своему другу Орлику. Конюхи не возражали против моей опеки над жеребёнком и всегда пропускали к нему. Только маленько ворчали:

– Забалуешь коня, Пашко. Хорошо чичас малой он, а завырастат, чё нам делать-то с им? Затребуёт с нас: давайте-ко, мол, ишше, братцы вы мои, травы сладенькой, как Пашко ему носил! А нам чего с им делать надоть будёт? Лягаче станёт, конюшню громить, ежели не дадим. А нам откуль траву ету добывать? По приполькам шастать, искать ей? Дак нам ето не надоть! Нам бы с остатным табунком совладать...

Правы они были, конечно, дядьки Зосима да Никанор. Что мне было делать? И я волей-неволей маленько ослабил свой глугчий интерес к жеребёнку, но частенько, как только позволяла ситуация, приходил к нему и радовался новой встрече с ним: гладил его, вычесывал короткую и жесткую шерсть его железной щеткой. А уж как радовался мне каждый раз Орлик мой! И мать его, Берёзка, радовалась мне тоже. У них, лошадей, все, как у людей: мать-кобыла любит тех, кто заботится о её детях.

Было лето, и у Берёзки стояла благодная пора отдыха от колхозных забот. Мне разрешили брать её с собой, когда я уходил по домашним или своим ребячьим делам на морской берег, или в ближний лес, или же на реку Верхотину на рыбалку. Всем было чудно видеть, как деревенский мальчишка ловит рыбу удочкой, а рядом пасутся и не уходят от него далеко кобыла с жеребёнком. В колхозном хозяйстве такое было не принято.

Я бы, наверно, и забаловал любимого жеребёнка, но идиллию наших с ним отношений прервал мой отъезд в Ленинград на учёбу в Ленинградское суворовское военное училище.

Когда пришел вызов из Приморского районного военкомата города Архангельска, из которого следовало, что я «обязан прибыть для прохождения медицинской комиссии и сдачи вступительных экзаменов в город Ленинград», я пошел на конюшню. Там первым делом потрепали мою волосню старые конюхи Никанор да Зосима и в шутку, наверное, сказали мне так:

– Гляди, Пашко, ежели не поступишь на военно своё дело – обратно не возвертайсе, не дадим тебе больше Орлика! Не в жись не отдадим! Штёбы с им дело иметь, надоть учиче на пятёрки. Дак ты ето и знай!

И тем самым лишили меня выбора: теперь волей-неволей надо было поступать! Какая была бы у меня жизнь без моего жеребёнка? Никакой жизни! Вот с такими напутствиями я покинул родительский дом и ставших дорогими и близкими Берёзку с её сыночком Орликом. И потом, уже в Ленинграде, мне долго-долго снились и приходили в раздумья гуляющие на зелёном лугу две лошадки шоколадного цвета – кобыла средних лет Берёзка и её вечно весёлый сыночек, всегда не в меру разыгравшийся, подпрыгивающий и дрыгающий в воздухе ногами ретивый молодой жеребёнок Орлик. Ещё они представлялись мне лошадками, замершими среди высокой травы, задравшими над верхушками растений красивые свои головы и высматривающими где-то вдаль, на краю луга, меня, спешащего к ним из города с охапкой душистой травы, пахнущей клевером.

Васяткины ритуалы

Каждое утро начиналось так. В пять часов утра первым начинал рабочий день серый, толстый и пожилой котяра Васятка. Он просыпался на печке, поднимался на лапы и, покачиваясь на них на печной лежанке взад и вперед, какое-то время вытягивал жирное тело, музыкально похрустывая при этом уставшими за долгую жизнь позвонками и косточками. Затем сообщал всем, что проснулся он, Васятка, громко промурчав на краю печки что-то весьма важное для нашего дома и для деревни. Наверное, он сообщал, что готов заняться неотложными козовыми делами и просит обитателей дома и деревни не мешать ему в этом почтенном занятии. Потом, внимательно оглядев пространство внизу, Васятка прицеливался, куда бы прыгнуть, и сигналы с печки на пол. Там внизу, чуть поодаль, стояла родительская кровать, на которой почивали папа и мама. Хитрый кот недоверчиво относился к папиным ногам, правильно догадываясь, что от них может прилететь неожиданный тычок в бок за неосторожное обращение со спящим его хозяином, и тихонько-тихонько огибал опасную зону. Целью его утреннего путешествия была мамина подмышка – теплая, уютная и безопасная. Васятка подкрадывался к ней, мягко-мягко переползал через мамину руку и оказывался в родном гнёздышке, нагретом всегда ласковой к нему мамой, специально для него, дорогого котика.

Но даже там, в этом приветливом для него местечке, Васятке долго не лежалось спокойно. Ему не терпелось чего-нибудь сожрать. Например, мышку, она, конечно, вкуснее всего того, что имеется в этом доме, или хоть кусочек наваги или трески. Да побольше, да поскорее. Только вот незадача: где взять эту самую мышку? За ней ведь охотиться придётся, подкарауливать, бегать... Поди её поймай... Сколько сил на это уйдёт и нервов... Не очень-то ему все это было надо! Для обеспечения

его продовольствием хозяева имеются, это их забота... И он начинал ворочаться и мурлыкать, чтобы разбудить добрую женщину.

Хозяйка всегда воспринимала эти Васяткины мурчания как будильник, который работал по обыкновению надёжно и регулярно.

Она покорно вставала, гладила спинку беспокойного кота и приоткрывала ему дверь, ведущую на поветь. Васятка медленно и важно, как полагается матерому домашнему котяре, выходил за дверь и совершал утренние свои дела или в укромных уголках повети, когда на улице довольно холодно, или же на дворе, ежели там была на тот момент сносная температура.

Чтобы оправдать хозяйского кота и не выставить его в качестве бесполого и ленивого животного, совсем уж бесполезного, отметим, что за годы пребывания в родном для него доме, он изловил всех мышей, и они теперь совсем не водились в нём. От этого у старого кота пропал охотничий азарт, в нём угасал тонус ретивого хищника. По этой причине и появилась и развивалась в нём теперь та самая лень-матушка, отсюда и жирок толстенький завёлся на загорбке.

Но, если вдруг какая-нибудь серая тварь проникала в дом и в нём опять начинали витать отвратительные для людей мышиные запахи, старый кот радовался им словно очаровательным и душистым кусочкам колбаски, неожиданно свалившимся к ним в дом с щедрого неба. Запахи эти были неприятны только для людей, а для кошачьего отродья, к которому имел честь принадлежать и уважаемый всеми Васятка, это был аромат высочайшего порядка. Он оживал, начинал вертеть хвостом и нетерпеливо постукивать им о деревянный пол, кружить по дому в поисках источника запаха – самой мыши. К нему мгновенно возвращался азарт, и в глазах опять загорались желтые огоньки удачливого мышиного зверолова. Васятка в одно мгновение превращался в лютого и беспощадного саблезубого тигра, вставшего на охотничью тропу.

Он умело и последовательно вычислял точку нахождения будущей жертвы и начинал ходить около неё сначала большими кругами, потом круги сужал... Коту нравилось наблюдать, как приближалась к нему ничего не подозревающая жертва...

Вот она совсем уже рядом, вот совсем близко, но не видит его, потому что нет среди котов такого умельца, как он. Васятка прячется то за хозяйским валенком, то за стоящим около печки помелом... Он неминуемо, неумолимо приближается...

И наконец делает последний, смертельный прыжок к своей добыче...

Уже оказавшаяся в безжалостной пасти огромного северного котичи крохотная мышка издаёт отчаянный прощальный, тоненький писк, который скоро исчезает в дебрях большого поморского дома. Васятка, полузажмурившись от истинного наслаждения, деловито, с показной равнодушием, делает первое жевательное движение... Кот давно уже ведет себя несколько церемонно, ведь за ним откуда-нибудь издали и сбоку может наблюдать очередная симпатичная кошечка...

Раньше, когда этот хозяйский котиче оттачивал своё мастерство, он за единый выход на охоту добывал по три-четыре домашних мыши, которые, чтобы порадовать хозяев, затем рядочками укладывал на верхней ступеньке крыльца. Теперь, когда кот переловил в доме всех, даже самых хитрых серых тварей, Васятке стало маленько тоскливо без прежнего азарта, без страсти любимого дела... И он изрядно скучает по нему. И, хотя хозяин нахваливает своего кота:

– Ты, Васька, добытчик у нас – семью без мяса не оставишь! – все равно опытному зверолову Васятке скучновато без добротной охоты.

Вынужденные простои в добыче мышинного мяса, правда, удачно компенсируются периодами кошачьего загула. Вот уж радость для первейшего среди деревенских котов самца, сексуального рекордсмена Васятки! Кошки давно распознали его непревзойдённые способности ублажать самых отчаянных любительниц котовой силушки, и, когда настает для них очередная пора испытать её, все они забывают других деревенских котов и стремятся только лишь к нему одному – заветному, сладенькому котику, к Васятке. А Васятке чего? Он их принимает с большим удовольствием!

И стоит тогда на чердаке его дома большой переполох. К костру любви, который был воспламенен им да еще двумя-тремя кошечками, спешат прибежать и погреться другие представители кошачьего мира. И начинается на деревне бедлам кошачьей свадьбы.

Мама души не чаяла в своих домашних животинках: в коровушке Голубке, барашке Борисее, овечках Белеюшке, Чернушке и Серейке, в собаке Венке и в уже упомянутом коте Васятке.

Кроме этой живности, вечно ноющей, неизменно клянчащей, чем набить свои толстые пуза, у мамы был еще один существенный прибавок, несомненноотягощающий её человеческое существование. У неё ещё были мы – пятеро ребятишек, которые так же, как и животинки, неустанно-вечно с каждого утра открывали голодные рты и тоже ныли и кривили недовольные мордочки, требуя порции пищи и сладкого чая.

По прошествии теперь уже многих лет, минувших с тех давних пор, я все никак не могу осознать, где брала силы эта красивая, простая русская школьная учительница? Вырастившая пятерых детей, а затем настоящая на том, чтобы все они получили высшее образование...

Активный организатор и постоянный участник колхозной самодеятельности, мама вечно ставила какие-то спектакли в нашем Доме культуры, собирала из местных активистов хоры, и созданные ею коллективы всегда (!) занимали призовые места на районных, а то и областных творческих смотрах. Она стремилась поспевать за жизнью страны, в сфере её нешуточных интересов были политические события, международная обстановка, поездки наших лидеров по зарубежным странам, переговоры на высшем уровне... Всегда любила обсуждать их, высказать своё суждение. Не берусь судить о глубине и компетентности её взглядов. Наверно, они не были достаточно выверенными с точки зрения политической и идеологической и не вполне соответствовали царствовавшим на тот момент коммунистическим доктринам, но я твёрдо помню и знаю: моя мама абсолютно соответствовала своему времени. Она, как и отец, была членом Коммунистической партии Советского Союза и гордилась этим. Долгое время возглавляла партийную организацию нашего колхоза...

Она всегда неустанно заботилась о том, чтобы быть на гребне событий, волнующих страну. И волновалась о ней, как волнуется добрая хозяйка, желающая чистоты родному жилищу. Она всей душой стремилась, чтобы ни в одном уголке, ни в каком-то закуточке её дома не осталось ни бумажки, ни соринки, чтобы везде и всюду царила чистота, чтобы никакая зловердная душа не могла бы потом сказать:

– А вон там у Ольги Георгиевны мусор по углам валяется!

И учила этому нас. И в нашем доме всегда было чисто.

Наверное, в плане убежденности она многое взяла от своего отца, старого коммуниста, пулемётчика в Гражданскую и в Отечественную войну, буденновца, колхозного бухгалтера, погибшего в сорок втором на Карельском перешейке.

Кроме всего прочего мама была учительницей начальных классов в нашей восьмилетней школе и в любую свободную минуту склонялась над ученическими тетрадками. Она «за уши» вытягивала отстающих учеников, к ней приходили и советовались родители самых нерадивых и неуспевающих. Мне кажется, мама была педагогом от бога. Её ценила деревня, её любил деревенский народ.

Особенность сельской учительницы еще и в том, что в деревне для неё не создаются особенные условия: она такая же хозяйка своего дома, как и все деревенские женщины, в её ведении кроме школы и уроков муж, вся семья, дети, хозяйство, домашний скот... И я совсем не понимаю теперь, как это всё мог тянуть на совсем не могучих плечах один человек? Тем более хрупкая на вид женщина? А наша мама тянула и, что самое удивительное, искренне и глубоко любила эту свою ношу! А какие поэтические вечера она устраивала для нас, для своих домашних! Наверное, именно с той, желанной теперь, поры я навсегда полюбил Тютчева (именно Тютчева!), Фета, Лермонтова и Пушкина! И всегда считал их ведущими русскими поэтами.

Еще мама самозабвенно обожала, как-то умудрялась знать тексты и мелодии как старинных, так и современных русских песен, и всегда напевала их на домашних творческих вечерах. При этом часто плакала над особенно душевными мелодиями и словами. Песню какую-нибудь голосит, а сама всхлипывает и слёзки платочком утирает...

Тяжелой для всей семьи была заготовка сена для домашней скотинки. Мать буквально убивалась при этом. Всё она боялась, не начнётся ли, не хлынет ли дождь, который замочит подсохшее сенцо, и оно потом сгниёт в стогу. Всегда торопилась и торопила нас, все поглядывала на небо: не бегут ли тучки, не промочат ли сено, которое под её руководством скорёхонько укладывалось в стога. А уж было беды, если где-то, с какого-то краю, показывалась та самая тучка, – мы тогда все начинали не ходить, а бегать, чтобы успеть до дождя уложить сено в подготовленные заколинки, сметать правильный стог.

Стога она всегда метала сама. Ей нравились те, которые имели правильную форму: чтобы, если поглядеть сбоку, они напоминали стройную девичью фигурку. Снизу сено должно быть уложено так, чтобы оно висело на коротких кольях – подпорах, но не лежало бы на земле, а как бы зависало над ней. От этого сено снизу продувалось и никогда не портилось. Потом, по мере навала мамой на зарод сена его толща потихоньку расширялась и, когда обустройство стога переваливало за половину его конструкции, мама вилами уменьшала объем сенной толщи до требуемых размеров. Она работала словно тонкий, знающий своё дело скульптор, филигранно и расчётливо. Форма стога, создаваемого мамой, приобретала требуемую завершенность и даже изящество линий. Мама очень любила красивые стога. Среди множества стоящих на различных пожнях стогов она распознавала тех, кто их создал.

– Этот стожок метал Иван Петрович, – говорила она с уверенностью и с некоторым восторгом, указывая на очередной встретившийся нам в лесу сенокосный шедевр. – Он это сметал, больше никому.

А потом, увидев другой, определяла:

– А вон тот мётан Автономушком, сразу видно.

Затем в деревне при встречах с теми односельчанами мама интересовалась:

– Видала я твой стожок, Автоном Кириллович. Красивый он у тебя вышел. Четыре заколинки, благошко сенца прибрал. Не ошиблась ли я, ты его метал-то или другой кто?

– А где, Ольга Георгиевна, видала-то ево?

– Дак в Егорушковой кулиге, перед Задним озером. Красивяшшой он больно, подумала я, что твой.

– Дак он и есь мой, чей ишше? Каков он тамогде? Лоси-то не смячкали?

– Да не-е, стоит. Чего ему сделается?

– Да вот волнуясь я, Ольга. Сено-то ведь надоть обкурить со всех сторонков табачком, а табачок следоват вдохнуть вовнутрь ево поглыбже, а то выветрит скоро весь. Тогда какой толк? Никакого! Я, Георгиевна, раза три перед зимой обкурить лажусь, штоб, значеть, надежно дело было...

Надо тут заметить, что местные мужики испокон веку придумали верное средство против нападений на сенокосные стога извечных губителей заготовленного сена – зайцев и лосей. Заготовленное и оставленное в лесу сено мужики в наших местах обкуривают – ходят вокруг с зажжённой папироской и усиленно пускают дым на только что смётанный зарод сена. Стараются даже вдохнуть табачок вовнутрь сенца, чтобы зарод просто-таки «дышал» табачиной и уже издали пугал зверьё. А коровушки наши табачка не боятся, они ведь живут рядом со своими любимыми курящими хозяевами и очень даже приветствуют все запахи, исходящие от них.

Лосиная семья за одну только зиму запросто может скушать два-три полноценных зарода сена, тем более в местах, где зверей не особенно тревожат. А крестьянскому хозяйству невозможно выжить без этого запаса. Зимы на севере долгие и очень холодные. Никакие капканы и петли против них не помогают, кроме простого, но самого надежного средства – запаха табака. Лесное зверьё прекрасно знает, что запах этот всегда сопутствует их злейшему врагу – человеку, и стремительно убегают от того места, где обнаруживается этот дух.

Мамины коровушки

Сколько себя помню, самозабвенно любила мама домашних коровушек. Кормилицы эти менялись совсем нечасто – на моей памяти было их в нашем доме в мою деревенскую бытность за все время всего только три коровушки.

О каждой из них можно писать рассказы.

Дело в том, что каждая домашняя бурёнка – это отдельный член семьи со своим характером, привычками, с индивидуальным, как правило, капризным нравом. К каждой коровушке должен быть особенный подход. Мама утверждала: если она перед утренней дойкой не выскажет домашней кормилице обычный набор ласковых слов, не погладит, как обычно, не подарит улыбочку, не поскоблит животик – доброй отдачи не жди: молочка выдаст меньше, а то и пнет подойник с надоенным молоком, чтобы провинившейся хозяйке ничего не досталось. Не знаю, как у других, а у меня, глядя на маму и её коровушек, сохранилось впечатление о любой корове, как о нежно любимой, но хитрой и коварной женщине с непростым характером.

Для моей мамы все её коровы были самыми заветными подружками. Она входила в хлев и начинала с ними обниматься. У меня до сих пор в памяти сохранилось, что она с каждой своей коровушкой при встречах обнималась и даже целовалась. И кажется мне, что коровы также

обнимали и ласкали маму, как и она их. Вот такое воспоминание осталось с той поры, и представляется оно мне совершенно реальным.

Первую коровушку, которая жила на моем веку, звали Голубкой. Она была приземистой, но не маленькой, стояла в стойле на ногах, словно крепенькая богатырочка – уверенно и твёрдо. Происходила из коровьей элиты – в раннем своем детстве была привезена в наш колхоз в составе небольшой партии «холмогорочек» – телят знаменитой холмогорской породы, которые действительно были привезены из Холмогор для улучшения колхозного коровьего поголовья... Наверное, была там какая-то интрига, потому как один телёночек из той славной партии неведомо как попал вместо колхозного стада в хлев нашего дома... Ситуация вполне, впрочем, объяснимая: отец мой на тот самый период был заместителем председателя колхоза «Заря» – нашего колхоза... И, увидев такое вот счастье – холмогорских телят, оказавшихся под его «надёжным руководством», принял самое разумное решение: «как не порадовать родному человечку», то бишь самому себе! «Одна теляточка», названная впоследствии Голубкой, как-то, может быть и случайно, оказалась в его собственном хозяйстве... так уж получилось...

Голубка всей коровьей статью, поведением и удоиностью отвечала своему ласковому и милому имени: это было добрейшее, умнейшее и очень полезное для семьи животное. Коровушка наша приносила каждый день более тридцати литров молочка очень высокой, небывалой для северной деревни жирности. Я так пристрастился с далекого детства к её молочку, что не могу отвыкнуть от него до сих пор. Все ведь говорят: коровье молоко взрослым людям пить не рекомендуется, мол, присутствует в нём какое-то вещество, которое могут потреблять только лишь маленькие дети. Какая-то лактоза. А людям, вышедшим из детского возраста, молоко пить опасно. Да и люди сами в солидном возрасте это чувствуют и от молока отворачиваются. А вот я, наверное, не смогу никак выйти из того возраста, потому что самозабвенно обожаю молоко от коровы и могу пить его без ограничений до сих пор.

Голубка избаловала нашу семью своей любовью к нам. Она растворилась в ней и была равноправным её членом, знала и любила каждого из нас. Летней порой, вернувшись в дом после пастбища, в хлев не заходила, пока не пообщается со всеми моими братьями и сёстрами, тоже и со мной. Мы так привыкли к ней, что не мыслили жизни без нашей коровушки.

К сожалению, и это страшный и неизбежный догмат для всего сущего: в этом мире конечно всё, всё когда-то заканчивается...

На Севере в зимнюю, тем более ночную, пору, всегда очень холодно. И почему-то родители приняли решение как раз в зимний период отремонтировать коровье стойло, которое слишком прохудилось: через его дырявые стены сквозили северные ветра и грозили выстудить не только коровью загородку, но и весь хлев. Очень уж суровой выдалась та зима... Папа и мама решили срочно утеплить опасные места, но для этого требовалось временно переселить Голубку в другое стойло, тем более, что его отыскили довольно быстро – это был пустующий хлев нашего соседа. Быстренько сговорились и в положенное время Голубку туда перевели.

Коровушка наша благополучно жила там несколько дней. И вот однажды вечером к соседу заявился друг, а точнее, старый собутыльник, с которым они слишком долго обсуждали мировые проблемы. Покинул дом нашего соседа он довольно поздно – вышел из него уже полночь и, понятное дело, в развеселом состоянии. Как назло, выходил он не через главную, а хлевную дверь, рядом с которой находилось стойло Голубки.

Дверь он, будучи сильно выпившим, конечно же, за собой не закрыл, а так как зимней ночью был сильный мороз, холодные сквозняки выступили стойло нашей коровушки – Голубушки. В ту ночь она смертельно простудилась. И заболела... И вскоре не смогла стоять на ногах...

Ветеринар, изучивший её состояние, через несколько дней сказал, что она обречена... Мама с великой печалью перенесла смерть своей подружки. Болела и плакала, как от потери любимого человека.

Мы все тоже плакали...

Поход за теляткой

Остаток зимы семья наша в том году провела не то чтобы впроголодь, но без коровы всем нам жилось очень непросто. Это были хрущёвские времена, бездарные и проклятые, когда на фоне глупых кукурузных, целинных и всяких других сельскохозяйственных экспериментов впроголодь жила вся советская деревня.

Потом явилась наконец весна, в дома и на поля стало приходиться тепло, и мама стала волноваться:

– Коровушки нету, а я без коровушки не могу!

И вот семья стала думать: как бы обзавестись коровой, да поскорее?

С рук готовую добротную корову не возьмешь – нет таких дурачков в деревне, кто бы отдал в чужие руки свою разлюбленную бурёнку. Только, если телёнок кто продаст. Теоретически можно было рассчитывать на то, что кто-нибудь за деньги отдал бы телёночка, но это совсем уж вряд ли: телята все на пересчёт и в колхозе, и в домашних хозяйствах: а ежели коровушка дойная и молочка дает изрядно, её телятки уходят влёт, очередь на них загодя занимают, задолго до отёла, там случайному человеку не подступиться. В общем, судили родители, рядили и приняли такое решение: надо попадать в Сосновку, там договориться с кем надо и только там выбрать телёночка. Здесь требуется пояснение: Сосновка – место летнего выгула колхозного коровьего стада из деревни Яреньга, соседней нашей деревни, которое находится километрах в десяти от неё, богатое сочной травой и разнотравьем. Да тут еще полезное дело подстатилось: за тем стадом присматривает и живет где-то там с ним рядом дедушко Игнат, мамин родной дядя. Папа и мама решили: вот он и поможет теляткой обзавестись, подскажет, какого телёночка брать, а какого не надо...

Родители долго советовались, решали:

– Далековато, конечно, пешочком шагать до той Сосновки: семнадцать километров до Яреньги, потом десять до Сосновки, там надо будет потратить время на выбор теленка, на всяки переговоры, то да сё... А сколько денег уйдёт на эту животинку? Как заломит Яреньга цену... Потом обратный путь... Затратно всё, – сокрушались родители. – Золотой телёночек-то обернется!

После долгих обряданий и совещаний семья решила отправить в дальнюю дорогу на Сосновку двух человек – меня и нашу маму. Почему именно нас? Во-первых, наша мама была довольно широко известна во всей нашей районной округе как учительница и деревенская власть, и одно её имя служило пропуском куда бы то ни было для всего местного населения. Ну а я имел репутацию вездесущего проныры и передвигался на местности довольно быстро, что могло бы сослужить в крайнем случае добрую службу.

В общем, в один прекрасный момент мы с мамой выдвинулись в направлении бывшей деревни Сосновки и озера Мураканского, в просторечии именуемого Мураканом, на берегу которого она находится. Перед нами стояла задача преодолеть пешком около тридцати километров, чтобы выбрать из колхозного стада самого замечательного и красивого телёнка и пригнать его к себе домой. И мама, и я были преисполнены стремления выполнить эту задачу.

Наверное, как я теперь догадываюсь, особенную радость испытывала мама: впервые за долгий период она вырывалась на свободу от этих школьных учебников и тетрадок, от домашнего хозяйства, висевшего тяжким ярмом на её молоденькой шее, от пятерых ребятишек, которых надо было кормить, обувать и одевать, отнимающих все свободное время. От любимых, но изнуряющих силы овецек, жутко избалованных хозяйкой, вечно требующих все новой и новой травы, растущей где-то в дальних лесах...

По дороге к Сосновке мы переночевали в доме бабушки Марьи Андревны, одиноко живущей в деревне Яреньге, на полдороге до цели нашего похода. В доме, стоящем на пригорке над речкой, носящей такое же название. У неё осталось немного сил, и бабушка давно уже не держала свою корову, поэтому она нас потчевала тем, что было в кладовке да в шкафчиках: кусочками хлеба, соленой трещёчкой, свежими грибочками с отварной картошкой, пшенной кашей с малой долей молока, подаренного соседкой... Получилось все сытно...

Я давно уже не бывал у бабы Мани и с большим увлечением обшаривал закутки её повети, рылся в старинных железяках и деревяшках, раскиданных тут и там. Мне попадались старые, давно выброшенные из обихода деревянные и тряпичные игрушки, измочаленные до крайности поморской детворой, обрывки рыболовных сетей, какие-то железяки. Все было интересно, но не нашлось ничего полезного, что можно было бы перенести из бабушкиного дома в дом наш, и я потихоньку забросил поиски и вернулся к маме.

Мы подкрепились у бабы Мани пшенной кашкой, сваренной на козьем молочке. Эх, любимая это была еда! С тех далёких пор не едал я ничего вкуснее той бабушкиной каши, покрытой коричневой мягкой пеночкой! В городе пытался её повторить, да куда там! Наверное, баба Маня знала какой-нибудь приворот, некую секретную тайну того рецепта – приготовления совершенно необычайно вкусной пшенной каши. Я иногда ночью, когда совсем не хочется спать, прихожу на кухню, наливаю стакан молока и, впад в ночные размышления, совершенно отчетливо вспоминаю нежнейший аромат той бабушкиной пшенной каши, вынутой из горнила русской печки... Вновь мысленно сажу за деревянным столом с чистейшими, вышорканными жесткой щеткой белоснежными досками и, вдыхая их, эти чудесные, свежие, теплые запахи бабушкиной кухни, радуюсь, что нахожусь у неё в гостях...

А тогда, в момент нашего с мамой похода, нам некогда было любоваться бабушкиными изысками, нам надо было продолжать путь.

И мы пошли.

Шли по заплёстку, широкой, утрамбованной волнами полосе песка. Всегда нравилось по нему ходить, когда не было шторма: идёшь, как по городскому асфальту, лучше всего босиком, раздольно шлёпаешь по сыроватой, твердой поверхности утрамбованного песочка, ноги в песке не увязают, даже следов почти не остаётся – настолько плотна поверхность берега. Не боясь споткнуться, широко озираешься вокруг

и успеваешь рассмотреть всё, что душеньке угодно: уток, чаек, торчащие из воды головы тюленей – нерп и лахтаков. Страшно хитрые они, эти самые тюлени, и в тоже время очень любопытные. Около берега они охотятся на стаек рыбной молоди – селёдку, навагу, камбалок, которые не готовы ещё противостоять коварным тюленям и становятся их лёгкой добычей. Ловкие и разворотливые тюлени их быстро догоняют на прибрежном мелководье и скоро набивают толстые свои брюха свеженьким рыбным молоднячком. Мы с мамой своим присутствием отвлекаем их от любимой охоты, и они внимательно нас разглядывают: не надолго ли намереваемся мы оторвать их от полезного занятия, не опасны ли мы для них? Смотрят пытливо и настороженно. Если их что-нибудь пугает, ныряют, выбрасывая лапами пучки брызг.

Иногда на берег из леса выскакивают зайцы. Сидят среди выброшенных морем бревен, задрав кверху серенькие головы, пошевеливают длинными ушами и разглядывают окружающий мир. Здесь, на морском берегу, где вокруг пустынные просторы песчаных кошек, и все далеко просматривается, зайцам не так страшно, как в лесу. Там из-за каждого куста может вылезти чья-нибудь страшная морда и слопать его, бедного зайчишку, – то ли волчья, то ли медвежья, то ли лисья... Да и росомаха не побрезгует им, и куница... Много врагов у жителя российских лесных просторов – красивого и вкусного серого зайца! И тогда только одна у него надежда – на свои длинные, прыгучие ноги. И они в самом деле часто выручают его в минуты смертельной опасности.

Мы с мамой дошли до «своротки», до места, откуда дорога уходила вправо и шла напрямиком к Муракану, туда, где около этого озера пряталась в лесах неведомая пока что для меня деревня Сосновка. И дальше пошли через лес.

Сосновка открылась внезапно, хотя о её скором появлении многое что говорило: дорога стала более широкой и утрамбованной, появилось множество тропинок-отвороток, уходящих неизвестно куда. Было видно, что здесь раньше обитали люди, осваивавшие эти места.

О том, что тут стоял поселок, мало что говорило, но в том, что он находился именно здесь, ошибиться было невозможно: повсюду находились утоптаные за десятилетия человеческими ногами площадки, на которых недавно стояли дома – жилища «спецпереселенцев». Этот странный термин впервые я услышал уже давно, но как-то не придавал ему значения, а тут напрямую столкнулся с ним, с этим словом, когда задумался поход в Сосновку, где когда-то жили эти таинственные люди.

У нас в деревне жили несколько человек, про которых сказывали, что они, мол, из спецпереселенцев. Одного звали Семёном Тюлюбаевым. Был это крепкий, кряжистый мужик, явно не наш, не поморский, судя по фамилии, хотя с виду абсолютный славянин – светлый, розовощекий и, люди сказывали, страшный бабник. После завершения срока пребывания в категории спецпереселенцев, работал он маячником, командовал несколькими прибрежными маяками, базировался в деревнях, разбросанных по побережью, и, по слухам, имел зазнобушек в каждой деревне. Пользовался он тем, что после страшной войны в поморских деревнях маловато было молодых мужиков. Их отсутствие как мог восполнял Тюлюбаев. У него были заведены детишки не с одной местной поморочкой. Что тут поделаешь, жизнь ведь не умирает, она всегда продолжается... В моей деревне Семён Тюлюбаев жил-поживал у местной красавицы Касины Ивановны, которая в молодости явилась моделью для художника-передвижника Василия Рождественского,

написавшего с неё две картины: «Золотоволосая поморка» и «Семужья путина на Белом море», находящиеся теперь в Русском музее С.-Петербурга. Нашу Касину Семён Тюлюбаев, по укоренившейся привычке, тоже облагодетельствовал, подарив ей мальчика Мишу, с которым я дружил в детстве, и девочку Клаву.

Жила в нашей деревне и дружная семья Куликаевых. Тоже спецпереселенцы. Хозяин семьи Николай Кузьмич участвовал в войне, сыновья, их трое, хорошо учились, поступили в вузы, разъехались, когда это стало возможным. А Николай Кузьмич построил в деревне добротный дом и долго из него не уезжал. Он был классным рыбаком, и, приехав к нам, на Белое море из рыбных мест – с Азовского моря, где был каким-то рыбным начальником, научил местных рыбаков искусству изготавливать и устанавливать разного рода невода и сети. Раньше таких снастей у поморов сроду не было, и они Николая Кузьмича, что называется, на руках носили, когда в разы увеличились их уловы. В деревне нашей он работал начальником местного рыбзавода и, уезжая, сдал этот пост моему отцу.

Так что я изначально с большой теплотой относился к слову «спецпереселенец» и прибыл на место их недавнего обиталища – Сосновку – с уважением и даже трепетом.

Бывший поселок был пуст. Никаких зданий, свидетельствовавших о том, что раньше тут стояли человеческие жилища, не было совсем. На месте, где стоял посёлок, «живых» домов, где можно было бы хоть как-то притулиться нам, путешественникам, не оказалось. Только местами сохранились низенькие гниловатые остовы бывших погребов, не увезенных прежними хозяевами из-за их еще прижизненной непрочности и неряшливой постройки.

Мама сказала, что все дома разобрали и вывезли отсюда их бывшие владельцы, которые по каким-то причинам не вернулись на родину в свои дома, когда это было им разрешено, а переехали на новое место жительства – в соседний поселок Пертоминск. Там теперь эти дома и стоят.

Нас потихоньку поджимало время – день заканчивался. Надо было искать дедушку Игната – мамину родню, чтобы подготовить ночлег. Нашли его быстро – по коровьему мычанию, которое довольно отчетливо выделялось на фоне берёзового и соснового шума, раздающегося со стороны Мураканского озера. Там, должно быть, паслось колхозное коровье стадо, где состоял пастухом мамин родственник.

Он поднял старые свои кости с бугорка, весь подался вперед, какое-то время пылливо и недоверчиво изучал гостей, потом страшно обрадовался маме:

– Сколь давненько не видал я тебя, Олюшка! – запричитал дед и пустился обнимать мою маму. – Эт ты, едрит твою! Скольки годочков-то я ж не глядел в твои глазки, красава ты моя! Дай, хоть позырюсь-то на тебя!

Он причитал, и в старых, потусклых глазах его стояли прозрачными жемчужинками искренние слёзы радости.

– Вот ведь радость-то кака явилась ко мне на старости годов! Благодарь Христова! – бормотал дедушко и все выхаживал вокруг нас, демонстрировал своё радушие. Потом остановился напротив меня:

– А ето-то ише хто? – спросил он у мамы, тыча в меня пальцем.

– Дак ты разве не видал? Это сынок мой, Павлушка.

– О-о, дак Пашко, значеть... А ево я и не помню... У тебя, Оля, много ведь их, ребятков разных... Равзе упомнишь всех...

Вот такое состоялось у меня знакомство с маминой роднёй – дедушкой Игнатом. Он показал нам с мамой местечко, где предстояло нам ночевать – во вполне тёплом маленьком сарайчике, где хранилось дедушкино хозяйство, и мы с мамой там остались на ночь. Старый Игнат принес откуда-то два простеньких солдатских матраца – мне и маме, и мы прекрасно на них выспались. Сказал: «Вот солдаты жили у меня, дак и одарили. Хороши робятки были...»

Мама сразу же уснула, а я пошел на Муракан. Устроился там на лежащей на берегу сухой, белой осиновой кокорине, уже дрябловатой от времени, покрытой в некоторых местах дырчатой серой корой, а потому мягкой, и занялся любимым делом – стал глядеть на воду и мечтать.

В полутьме белой, летней ночи передо мной разверзлось огромное, почти черное пространство, вяло играющее на поверхности тусклыми разноцветными бликами. Это был легендарный, знаменитый на все эти старинные места Муракан – гигантское озеро Мураканское, лежащее посреди огромных сосновых и еловых лесов. Уж я-то знал, что леса эти наполнены всякими тёмными тайнами, что в них без большой надобности лучше было не заходить. Сказывали мне друзья мои, что тут такое водится... такое!

Скажу прямо, страшновато мне было сидеть на осиновой кокорине одному, в чужих, безлюдных местах на берегу пустынного, громадного Муракана и всматриваться в водную глубину, из которой невесть какой страшный вурдалак с бородавчатой рожей может выползти, схватить меня за ногу своими кривыми зубищами и утащить в чёрную глубину этого страшноватого, неведомого мне лесного озера. На помощь звать некого, да и что толку: зови не зови – никто тут не поможет...

Казалось мне: таинственное чёрное пространство будто бы дышало, словно живое, и из дальней его дали прилетали ко мне загадочные, тревожащие слух звуки: то чей-то приглушенный и протяжный крик, то будто бы стон отверженной, погибающей души, далёкий, последний... Я сидел маленько взбудораженный, растревоженный этими внезапными для меня, новыми впечатлениями и силился не удрать отсюда к маме, к дяде Игнату – мне ведь тогда было совсем мало лет и было мне страшновато в чужих этих местах, в неведомых пока пространствах.

Впереди, на огромной, широкой, дальней противоположной оконечности берега плавало, купаясь в воде, его зыбкое миражное отображение. Там в таинственном мареве прятались какие-то тени и звуки, еле слышно, словно спрятанная под вуалью, куковала кукушка и будто бы спросонья, отрывисто, вполголоса крякали утки. Было видно, как перед этой широкой полосой затенённости медленно-медленно, но как бы с очевидной радостью колыхалась прозрачная вода, расцветенная пусть и вечерним, но вполне ярким летним небом. Отражающая небесный простор озерная вода отпечатывала все его цвета, все оттенки, и поэтому озеро повторяло все краски, купающиеся в нём. Все это создавало прекрасную, чудесную и цельную картину северной природы, распахнувшуюся передо мной.

Я, совсем ещё мальчишка, тогда впервые воочию, отчётливо обнаружил и навсегда впитал в себя ощущение великого счастья родиться в этом цветном, удивительно очаровательном крае, называемом Русским Севером!

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Историк литературы, писатель, исследователь жизни и творчества Николая Гоголя. Родился в 1930 году в Москве. Отец был репрессирован в 1937 году, мать – в 1941-м. Воспитывался в детдоме. Окончил филологический факультет Казанского университета. Работал учителем в школе, корреспондентом газеты «Молодой дальневосточник», Хабаровского радио, «Литературной газеты», обозревателем журнала «Литературное обозрение», редактором «ЛГ» по разделу русской литературы.

Автор многочисленных книг и статей о классической и современной русской литературе, в том числе знаменитой книги о Гоголе (серия ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия»), которая переиздавалась девять раз и считается классикой биографического жанра. Автор многих телефильмов о наиболее ярких фигурах русской литературы. Лауреат Литературной премии Александра Солженицына (2005), Всероссийской Тютчевской премии (2009), Государственной премии Правительства РФ (2011).

Почетный председатель Общества любителей российской словесности. Живет в Москве.

Игорю Петровичу исполнилось 95 лет. Редакция журнала «Нижний Новгород» поздравляет крупнейшего писателя, историка литературы и нашего автора с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых ярких книг!

ВСТРЕЧИ С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. ЧЕЛОВЕК МАКСИМЫ

Предисловие Валерии Белоноговой

Среди книг, появившихся на книжных прилавках и библиотечных полках в прошедшем 2025 году, особое внимание библиофилов и знатоков привлечет новая книга старейшего российского критика и историка литературы Игоря Петровича Золотусского – «Человек максимы».

Изданный Русским ПЕН-центром том включил в себя его лучшие статьи о выдающихся деятелях и творцах, оставивших яркий след в отечественной культуре XX века. Глубоко личные, живые воспоминания о своих «попутчиках» во времени, о тех, кого Игорь Петрович хорошо знал, с некоторыми из которых дружил. Героями книги стали его коллеги по литературно-критическому и публицистическому цеху Лев Аннинский (очерк о нём назван «Секретарь эпохи»), Олег Михайлов, Владимир Максимов; поэты и прозаики Федор Абрамов, Евгений Евтушенко, Александр Солженицын; «реставратор всяя Руси», музейщик и трибун Савелий Ямщиков; художник Марк Шагал, создавший в своих иллюстрациях к гоголевским «Мертвым душам» – «графическую поэму в поэме».

Что касается Гоголя, главной литературной привязанности Игоря Золотусского, одного из ведущих гоголеведов страны, то без него эта книжка тоже, наверное, не могла бы обойтись. На этот раз автор сближает «творческую вершину» Гоголя с вершинами Льва Толстого, который читал гоголевскую «Переписку с друзьями» всю жизнь, и Александра Блока.

Заканчивая поэму «Двенадцать», Блок, «слышал гул, гул: думал, что началось землетрясение». И он «окликает Гоголя», который тоже этот «мятежный шум» слышал, но заглушал его в себе, обращаясь «к порядку семейному и православию».

И Александр Блок, и Лев Толстой застали начало двадцатого века с его гулом революций и переделок. Этот гул слышен и в новой книге Игоря Золотусского. Кроме ярких литературных портретов своих современников и друзей, автор, в каком-то смысле, даёт здесь и портрет минувшего столетия.

«Человек максимы» – так называется эта книга. При всей многозначности термина «максима» изначальное философское его значение – моральное правило или принцип поведения, которым руководствуется человек в своих поступках. Герои Золотусского – люди не только яркие и талантливые, живущие в темпе форте, «в полную силу звука», но и сильные. Они из тех, кто отстаивает свою позицию до конца и не меняет своих суждений со сменой поветрий времени. Таким всегда был и сам автор. Так что книга эта и о нем самом.

Его друг и коллега Лев Аннинский написал когда-то об Игоре Петровиче: «Всякую крупную фигуру в культурном пространстве сопровождают “легенды”. Золотусского сопровождают две: одна касается крутого нрава, другая – пера. <...> А легенды не противоречат реальности, они из неё вырастают, хотя реальность иногда убегает из-под “образа”».

Да, нравом он тяжёлый и как критик крутой. Не боится назвать бездарного человека бездарным или сорвать погон с литературного генерала. И все-таки, начиная ещё со своей знаменитой книги о Гоголе, он думает о том, как «оставаться милостивым и одновременно твёрдым». И всегда по-своему любит своих героев.

Что же касается присущих ему жесткости и максимализма души, они во многом «вырастали» в недрах его сурового детства в тридцатых–сороковых XX века – репрессированные родители, одинокое сиротство с клеймом «сына врагов народа», побег из детдома, отчаянное выживание в военные годы. «Военное детство» стало в статьях Игоря Петровича о своих сверстниках, коллегах и авторах своего рода константой, включающей не только общую для них суровую школу, но и рождаемое ею в «детях войны» чувство товарищества и доброты. Кстати, эта тема звучит и в публикуемом здесь фрагменте из книги «Человек максимы» – о встречах критика с поэтом Евгением Евтушенко.

Возвращаясь ко второй по Аннинскому и на самом деле главной «легендарной» черте критика Игоря Золотусского, надо просто вспомнить дарованные ему природой острое чутьё на слово и точное перо. Эти свойства позволяют относить его литературную критику к собственно литературе. То есть к искусству слова, где помимо глубокой, обладающей общественным значением мысли всегда присутствуют и элементы художественного освоения мира, общества и Человека.

Новая книга мастера, изданная в год его высокого юбилея, еще раз это доказывает.

Как-то я видел по телевидению вечер, посвященный 85-летию Евгения Евтушенко. Вспомнил о встречах с ним, весьма недолгих и немногих. Мое знакомство с его именем произошло еще в Хабаровске, когда я работал в газете «Молодой дальневосточник». Прихожу как-то на работу, и мне вручают пачку страниц со стихами какого-то Евтушенко. Был, наверное, год 56-й или 57-й.

Смотрю, зелеными чернилами исписаны листки, и все это – стихи, стихи и стихи. Видимо, Евтушенко принес их в редакцию, когда меня не было. Он в те дни гостил в Хабаровске. Прочел я эти стихи, и показались они мне весьма слабыми. Одна риторика и, по-моему, по политической части. Не мог найти во всей пачке ни одного достойного. Пошел к главному редактору и сказал, что печатать их не стоит.

Не напечатали.

А слава Евтушенко постепенно росла. Помню, по радио я слышал его интервью после возвращения из-за рубежа. Он читал стихотворение «Хотят ли русские войны?..» Читал почти глухо, усталым голосом человека, только что вернувшегося из дальней поездки.

Стихотворение было хорошее. Кто из нас в те годы не помнил о войне, заставшей мое поколение с детства, кто не думал о возможной войне впереди? Тогда только и говорили: «Только бы не было войны. Только бы не было войны». Люди были согласны на все, чтобы этой войны не было. В стихах Евтушенко билось живое сердце, и мое сердце на них откликнулось.

Слава его, повторяю, росла. Я перешел из газеты на Хабаровское радио, потом, вступив в Союз писателей, вовсе уехал с Дальнего Востока.

Я стал жить во Владимире и к тому времени уже печатался в московских журналах, в «Литературной газете».

И вот однажды мне звонят из «Литературной газеты» и просят написать статью о поэме Евтушенко «Братская ГЭС». Дают несколько дней срока. Я достаю эту поэму (не помню, где она была опубликована), читаю и вижу, что это дешевая «современность», та же риторика и скользкий по жизни взгляд.

Кроме того, стихи плохие, топорные, местами сдобренные самодельными афоризмами.

Звоню в газету и говорю свое мнение. Там согласны. Сажусь за машинку и пишу статью. Даю ей название, взятое из строк поэмы: «Поверхность ей имя».

Меня срочно требуют в Москву. Присылают за двести километров машину. Я еду, ночью у одного из сотрудников «ЛГ». Мы полночи сидим над текстом, и утром статья поступает в редакцию.

Статью готовы ставить, но просят сменить заголовок. Наконец появляется нейтральное, не способное обидеть ни поэта, ни читателей название «Поэт и поэма».

Ее ставят на третью полосу, причем не в центре, а в самом углу. Кроме того, меня вызывает заместитель главного редактора Юрий Суровцев.

Он сидит в большом кабинете, за совершенно гладким столом. И начинает с комплиментов. Как я хорошо пишу, как я нужен газете (они согласны даже выбить для меня квартиру) и т. д. За этим следует одна маленькая просьба: указать в статье, что в поэме Евтушенко нет ни одного партийного руководителя.

Я категорически отказываюсь и уезжаю во Владимир.

Статья выходит в свет, и в газету начинают поступать пачки писем возмущенных подписчиков, а мне на дом — такие же послания.

Сплошные ругательства в мой адрес, сплошная оскорбительная брань. Вроде того, кто ты такой, безвестный щенок, который лает на великого поэта? Мы еще до тебя доберемся. И проч., и проч. Я убежден, что сам Евтушенко не имел к этим письмам никакого отношения.

Оказывается, отрицательная слава тоже делает известным. Ко мне все чаще начинают обращаться разные редакции и предлагают сотрудничать.

А Евтушенко живет сам по себе, и я его нигде не встречаю.

Впрочем, встреча с ним происходит лет десять спустя в писательской толкучке в ЦДЛ. Он только что написал поэму «Мама и нейтронная бомба».

На втором этаже, в фойе перед зрительным залом, ко мне вдруг подходит высокий человек (по его портретам я сразу узнаю Евтушенко) в костюме с галстуком и говорит: я вас знаю, а я — такой-то. Я не отказываюсь и жду, что же последует после. Евтушенко с высоты своего ро-

ста спрашивает: «Вы читали мою последнюю поэму?» «Нет, – говорю – к сожалению, не читал». «Как же, – отвечает сердитый Евтушенко, – вы не читаете лучшего в России поэта?»

Что отвечать на это? Нечего.

Тогда он приглашает меня вниз, на первый этаж, в буфет, который является проходным из зала в ресторан, и предлагает выпить по рюмке коньяку, якобы за знакомство.

Что было потом, не помню. Никакого разговора не было. Упоминания о моей статье о «Братской ГЭС» тоже.

Мы разошлись.

Но судьба готовила нам уже не одну, а несколько встреч.

Грянула перестройка. Я слышал, что Евтушенко, явившись в Дом Ростовых на Поварской, разогнал заседавший там секретариат Союза писателей СССР и поставил на освободившиеся места своих людей. Кроме того, он обратился к заместителю мэра Москвы с требованием отправить на Комсомольский проспект, где помещался «красно-коричневый», как его стали называть, Союз писателей РСФСР под руководством Юрия Бондарева, вооруженный ОМОН для ареста его руководителей.

К счастью, никого не арестовали. Но напряжение между теми, кто не принял перестройку, и теми, кто сделался апологетом её, накалилось.

Я с 1990 года работал в «Литературной газете», и меня заочно избрали первым секретарем вновь созданного Союза российских писателей, естественно «антикоммунистического».

И наши дороги с Евгением Евтушенко пересеклись.

Дело в том, что Евтушенко привык печатать свои стихи в «ЛГ», где я уже был редактором отдела русской литературы и членом редактората (то есть, по существу, заместителем главного), и печатать их, занимая целую полосу. Желание его, как правило, исполнялось тут же. Никто не оспаривал этих публикаций, никто не касался их. Существовал даже такой обычай: Евтушенко появлялся в редакции (тогда она размещалась на Цветном бульваре) и сразу проходил в кабинет Чаковского. После этого подборка его стихов передавалась в отдел и оттуда беспрепятственно отправлялась в типографию.

Я этот порядок нарушил.

Когда стихи были слабые и очевидно слабые, я возвращал их автору. Тогда он звонил мне и спрашивал: «В чем дело?» Я отвечал, пусть предлагает что-нибудь качественнее, и мы это дадим. Он стал появляться у меня в кабинете, предварительно зайдя на четвертый этаж, где сидело начальство, и оспаривал мое решение.

Я оставался при этом решении, и казалось, готовится конфликт, но в конце концов Евтушенко уступал.

Другие не уступали. Писали письма главному редактору и жаловались, что такой-то их притесняет. Они лауреаты, Герои Труда – и тут неизвестно откуда взявшийся «Белинский» оценивает их шедевры самым низким баллом. Некоторые жалобы писались на правительственных бумагах с указанием чинов и заслуг потерпевших.

Был такой заведующий кафедрой русской литературы в МГУ В. Кулешов. Он издал толстенный том для иностранных преподавателей, читающих лекции о русской словесности. Однажды рецензию на эту книгу прислала в «ЛГ» болгарская специалистка по России. Рецензия была откровенно отрицательной, она даже назвала в ней В. Кулешова импотентом. Мы «импотента» и другие сильные выражения убрали, а рецензию напечатали.

Разъяренный автор прислал опять-таки на имя главного письмо, где заявлял, что эту рецензию написал я, то есть Золотусский, причем находясь в постели этой злопахательной птицы. Я этой женщины в глаза не видел, впервые слышал ее фамилию (кажется, Георгиева), но поскольку с томом Кулешова ознакомился, то с легким сердцем подписал ее статью в печать. Тем более что я хорошо знал другие творения В. Кулешова, и все они были в том же роде. В редакции посмеялись над кулешовской фантазией, и на том дело кончилось.

Подобные протесты и обиды поступали со всех сторон, на бланках Героев и депутатов. Даже Андрей Вознесенский прислал ко мне свою жену, известную Зою Богуславскую, и она уговаривала его пожалеть, потому что он очень чувствителен и переживает, когда ему отказывают в печатании.

Со стороны Евтушенко ничего подобного не было. В конце концов, он стал появляться у меня чаще. И это были мирные разговоры, которые закончились, когда он пришел прощаться перед отъездом в Америку.

Но до этого было много всего прочего. Как-то лето под вечер он явился ко мне на литгазетовскую дачу на улице Довженко вместе с Тимуром Пулатовым. Пулатов был его ставленник, он определил его на место Георгия Маркова, да тот и сидел в кабинете бывшего первого секретаря СП СССР. Во время истории с ГКЧП наш главный редактор Федор Бурлацкий сидел, дрожа от страха, в Ореанде, в Крыму. Он давал указания по телефону, чтоб газета «не высывалась», а сам появился только тогда, когда ГКЧП свергли.

Тут же собралась вся редакция, и этого «перестройщика» с его поста согнали. Встал вопрос: кого выбирать? Приходили ко мне, предлагали его кресло, говоря, что я теперь законно должен занять его, но я прямо сказал просителям, что соглашусь только в том случае, если половина сотрудников (а их тогда было в газете человек пятьсот) покинут «ЛГ», ибо это балласт на шее газеты.

Страх, что кто-то будет вынужден уйти – и еще неизвестно кто, – остановил симпатизирующих мне. Они обратились к другим кандидатурам, называя то Искандера, то Аксенова, который вообще проживал в Америке. Я был рад, что меня оставили в покое, так как понимал, что эта должность не по мне. Она особенно тяжела сейчас, когда все рушится, «ЛГ» пребывает в бедности: не было компьютеров, бумаги, ксерокса, давно не чищенный паркет почернел. Тут надо быть и хозяйственным, и человеком, который может со своими просьбами войти в высокие кабинеты. Наконец, администратором и отчасти бюрократом, прошедшим школу руководства хоть каким-нибудь учреждением.

Я подумал: лучше никого не найти, кроме Евтушенко. Он человек литературы, он широко известен, и высокие кабинеты ему доступны.

Потом всплыло имя Евгения Сидорова. Он успел уже поручивать Литературным институтом, и именно с кандидатурой Сидорова явились ко мне в тот вечер два непрошенных гостя, отнюдь мне не чуждые, но ввалившиеся в мою дачу без предупреждения. Евтушенко был весел и воодушевлен. Он вдруг стал говорить обо мне, что я слышу суровым и даже сердитым, но на самом деле это не так. Я угостил их чаем, и они ушли.

Поселившись в Переделкине, я стал часто встречать Евтушенко – то на лыжах, то с детьми, которых ему родила новая жена-ирландка.

Как-то вечером мы с Юрием Оклянским гуляли по улице Гоголя. Нас обогнал черный «мерседес». Он тут же остановился, и из него вышел Евтушенко. Дело было как раз возле его дачи.

Он пригласил нас к себе. Не помню ни расположения комнат, ни обстановки, но помню только огромную широкую корзину в углу первого этажа, в которой в беспорядке лежали бутылки с вином. Мы выпили, разговор был недолгим, и мы ушли с подаренными Евтушенко книжками. Кажется, это была его публицистика.

А надо сказать, что еще до всех этих событий, до «Литгазеты», я летал в 1987 году в Америку. У меня была тайная цель. Я давно задумал написать книгу о нашей семье, которая была невелика – отец, мама и я. Я знал, что в 1933–1934 годах мы жили в Нью-Йорке. В Америку добирались пароходом «Куин Мэри», а обратно на пароходе «Рекс». Я хотел посмотреть места моего детства и до этого побывал и в Париже, и в Стокгольме. На очереди был Нью-Йорк.

Командировка от Союза писателей направила мой путь в Бостон, где я должен был выступить с лекциями. По возвращении в Нью-Йорк мы с переводчицей поселились в какой-то гостинице, ключ от номера которой я случайно увез в Москву. Он и сейчас у меня хранится.

В Нью-Йорке я выступал в нашем представительстве при ООН, встречался с корреспондентом «Правды» Геннадием Васильевым, с женой которого, русской писательницей, был знаком. Корреспондент катал меня по городу. Мы были и в экзотическом Брайтон-Бич, затем заехали к нему домой.

Он жил в небоскребе (в лифте с нами ехали весьма значительные господа). С высоты его квартиры был виден весь Манхэттен, освещенный вечерними огнями. Зрелище было редкое. А до этого мы проезжали Бруклинский мост через Гудзон, и я вспомнил, как видел его пролеты через залитое дождем окно детской комнаты, где меня оставили, уходя в гости, мои родители. Встреча с детством все же состоялась.

Когда, весьма поздно, я вернулся, на рецепции гостиницы мне сказали, что меня долго ждал один неизвестный господин. Он оставил телефон, по которому можно его найти. При этом было добавлено, что он непременно хочет со мной встретиться.

Я позвонил. Это был Евтушенко. Он сказал, что возьмет такси и через несколько минут будет в гостинице. Так мы вместе с переводчицей, весьма пожилой женщиной, кстати, подругой моей сестры Светланы, отправились вместе с Евтушенко и сопровождавшей его очень красивой молодой брюнеткой в ночной ресторан. Эта красавица брюнетка оказалась бразильской девушкой, весьма приветливой и объяснявшейся с Евтушенко по-испански. Я тогда узнал, что он знает испанский, не говоря уж об английском, помогавшем ему во всех поездках.

Женя (мы уже звали друг друга по именам) был щедр. Как хозяин стола он заказывал всё – начиная с напитков и кончая едой. И мы, кажется, пили всё: водку, виски, кальвадос (я сразу вспомнил Ремарка), разные сорта вин, которые наливали Жене в бокал для пробы. Он подносил бокал к носу и или кивал, или отказывался. Съели мы тоже всего уйму, и я уже опасался, как Женя станет расплачиваться. Спешить было некуда, ресторан был открыт всю ночь, и в темах разговоров не было ограничений. И опять говорили обо всем: о России, о стихах, об Америке, о Гоголе, о любви, о женщинах, о политике, наконец. Присутствие моей переводчицы, которая служила в Иностранной комиссии СП СССР и которую Женя хорошо знал, заставляло говорить о политике вскользь, почти отвлеченно.

Женя, конечно, был очарован своей бразильской гостьей, и действительно, смотреть на нее без восхищения нельзя было. Когда мы прощались

(Женя вызвал такси и отправил нас двоих в гостиницу), я почувствовал, какая у него твердая рука. Пожатие было крепкое.

Во время застолья Женю узнавали посетители, которых то и дело прибавлялось. К нему подошла группа студентов, по-моему, из Испании, девчата садились к нему на колени, и он легко изъяснялся с ними на их языке. Было шумно, весело, и что-то дружеское, тёплое сблизило нас.

Настал час расплаты. Нагуляли мы не на одну сотню долларов. Женя снял с себя пояс, похожий на патронташ, только вместо патронов в него вставлены были аккуратно свёрнутые стодолларовые бумажки. Женя, видать, прекрасно знал нравы Нью-Йорка и научился хранить имеющийся у него денежный запас.

Никогда мы с ним не были вместе так долго, как в ту ночь.

Потом началась оголтелая переделка всего и вся, и Женя в 1987 году оказался на трибуне Съезда депутатов и громил «овчарок коммунизма». Он стал депутатом Верховного Совета страны, был избран где-то в Харькове, и фактически возглавил разгромленный им Союз писателей СССР. При исполнении этой высокой для него миссии мы и встретились снова.

Дело в том, что «Литгазета» стремительно неслась под гору. Я и мой заместитель Геннадий Красухин решили создать «Новую Литературную газету». Встречались по этому поводу с Константином Боровым. Красухин составил смету, и Боровой ее принял. Надо было собрать новую редколлегию.

Я обратился к Владимиру Максимова, который тогда был главным редактором «Континента». С помощью Максимова удалось собрать новую редколлегию: он, Аксенов (я даже звонил Васе в Вашингтон и получил согласие), Бродский, Владимов. Теперь следовало утвердить состав на новом секретариате СП. Секретариат вёл Евтушенко. Встретив меня в коридоре перед заседанием, Женя сказал: «Игорь, против вас будут выступать». Я ответил: «Я не боюсь».

Собрались мы в зале на Поварской. Народу пришло много, и все знакомые: Вознесенский, Можяев, Бакланов. И тут я узнал, что такое писательское братство. На меня, как на предполагаемого главного редактора новой газеты, обрушились как на злейшего врага литературы. Выступали преимущественно те, кого я не печатал, о ком писал без страха, кого задел ненароком в какой-либо статье.

То был суд мести. Напавшие на мою кандидатуру доходили до того, что требовали изгнать меня не только из «Литературной газеты», но и из Союза писателей. Особенно неистово вели себя Борис Можяев, в статье о романе которого «Мужики и бабы» я, хваля роман за правду о раскулачивании, позволил себе заметить, что в любовных сценах автор делается тривиален и пошл; Григорий Бакланов, о последней повести которого никто из опрошенных мною фронтовиков не хотел писать, так она была плоха; Анатолий Ананьев, которому мы вернули кусок из его эпопеи, где каждый абзац занимал с десяток страниц.

В разгар этой казни слово взял Евтушенко. Он защитил меня. «Что, разве мы на суде? – сказал Женя. – Это наш товарищ, талантливый критик, да можно ли так?» Женя Сидоров согласился с ним. «Что, разве мы собрались для того, чтобы обсуждать “персональное дело” Золотусского?» – спросил он. Это была поддержка. Она не сыграла никакой роли, меня всё равно не утвердили – предложили на это место Юрия Нагибина, что я в ответном слове искренне поддержал, но казнь прекратилась.

Кстати говоря, Нагибин отказался от лестного предложения, так как ему стали звонить со всех сторон те же писатели и просить взять в штат новой «ЛГ» своих детей, жён и иных родственников. Он отказался, как ни странно, в пользу меня.

Но Боровой, собиравшийся субсидировать новое издание, передумал.

Женя уехал в Америку. Уехал, чтобы жить. Перед этим он был у меня в газете. Не помню, принёс ли он с собой стихи, но пробыл у меня долго. Его «мерседес» остановился у подъезда газеты, и люди с четвёртого этажа его сразу заметили. Стали искать, куда делся Евтушенко. Как правило, он начинал с них, а иногда визитами к ним и ограничивался. Никто не мог подумать, что он сидит у меня.

Женя поведал мне свою новость. Я говорил ему, что покидать сейчас Россию – значит, бросить её. Именно он, Евтушенко, нужен сейчас здесь. Всё валится, а он человек сильный, влиятельный, и он мог бы поднять ту же «Литгазету». Он человек литературный, он любит поэзию, он тот, за кем пойдут.

Женя с горечью рассказывал мне, во что превратились «герои перестройки». «Вот Приставкин, – говорил он, – я поставил его на место в комиссии по помилованию. И что он теперь? Ездит в правительственной машине с телефоном и изображает из себя важного человека. Был писатель, стал чиновник. И другие не лучше, – добавлял он, – и я поражаюсь, как быстро люди меняются, как, будучи ещё вчера скромно живущими, льнут к благам, к ласкам вышестоящих. Где же они, мои сверстники? Бегают в Кремль за премиями, на приёмы.

С кем оставаться? С молодыми? Я их ещё не знаю, они не знают меня. В Ельцине я разочаровался. Трепло. Даже Солженицын не вернулся. Наверное, видит, что ему дома делать нечего. Писать? Но в него же заложен мощный заряд деятеля, он, как Пётр, может повернуть Россию».

Я сказал, что, оставшись без него, наша литературная жизнь потеряет. Он тоже мотор, и заряд у него тоже не маленький.

Женя стал говорить, что ему и его семье всё труднее становится жить. Книг не издают, за то, что печатает, платят мало, а у него на руках двое пацанов и жена. В Америке, куда его пригласили, будут платить больше, там они смогут продержаться.

Как ни удивительно, но в эти минуты наши взгляды на то, что мы переживаем в России, сходились. Несмотря на то, что я никогда не был революционером, отчаянным разрушителем старой жизни, а Евтушенко, поддавшись настроению ошалевшей от «свободы» интеллигенции, в начале горбачевских переделок сделался сверхрадикалом, непримиримым, подобно неким «комиссарам в пыльных шлемах».

Его стихи, выступления, речи на съездах и митингах, его появление на радио и телевидении всегда сопровождалось желанием проклясть прошлое, показать его «звериное лицо».

Я помню, как задолго до этого во время одной нашей встречи с моим отцом тот вынул из кармана вырезку из газеты «Правда» со стихотворением Евтушенко «Наследники Сталина». Он смотрел на этот стих как на заключение трибунала, вынесение смертного приговора его, отца, гонителям, следователям, избивавшим его в Лефортове, вохровцам на вышках в лагере.

То было и проклятие всем оставшимся «наследникам Сталина», которые сидели в тёплых квартирах на большой пенсии и притворялись мирными гражданами. Даже мой опытный, умный отец, познавший

не один обман за свою жизнь, дорожил этим стихом Евтушенко. Вот как был ценен факт присутствия Жени в стране в те годы. Видно, не в 1992 году, когда мы в последний раз встретились, Женя пересмотрел своё участие в развале России. Конечно, оно было невелико, это участие, хотя имя его окрашивало каждый такой его поступок и придавало ему завышенное значение.

Сколько он стихов написал обо всём этом! Силы трибуна и «горлана-главаря», видимо, иссякли, и кафедра в какой-нибудь захолустной даже для Америки Оклахоме оказалась местом покоя.

Он, безусловно, наезжал в Россию, устраивал свои вечера, появлялся то тут, то там, но это были наезды, а вернулся он домой, к несчастью, уже после своей кончины.

Меж тем в один из таких приездов я пригласил его на собрание в Союз российских писателей. Он охотно приехал, выступил, и всё в том же духе: революция 1991 года – хорошо, дышать стало легче, и так далее.

А жизнь уже уходила от ожесточения и вражды. Правда, не совсем. И я вспомнил еще одну встречу с Евтушенко, которую можно скорее назвать столкновением, а не встречей.

Было это 21 декабря 1977 года. Именно в этот день в Большом зале ЦДЛ состоялась тут же ставшая знаменитой дискуссия «Классика и мы». Доклад делал Пётр Палиевский, содоклад – Станислав Куняев. Евтушенко обрушился на них обоих. Я не стану вникать в его претензии к Палиевскому и Куняеву, скажу только, что первому он не простил Мейерхольда и Маяковского, которым досталось от Палиевского, а второму – Багрицкого. И конечно, как всегда, Евтушенко пытался что-то сформулировать, философски обосновать собственную позицию и дать определения разным явлениям литературы и жизни. Если поэтические афоризмы ему удавались, то в попытках проникнуть в высшие материи он не был силён.

Что такое, например, «ретроспективная склочность»? Я думаю, он и сам бы не мог толково объяснить.

Навалившись на патриотизм предыдущих ораторов, он, во-первых, сослался на Чаадаева, не цитируя его, а, так сказать, обобщая его мысли. «Русская классика голосом Чаадаева выдвинула тезис “патриотизма с открытыми глазами”», – сказал Евтушенко.

Но ничего подобного Чаадаев не формулировал.

Наконец наш знаток Запада, всегда принимавшего Евтушенко чуть ли не за русского мессию, напомнил: «На Западе среди левой интеллигенции в ходу выражение “патриотизм – это последнее прибежище негодяев”». Во-первых, получалось, что Палиевский и Куняев – «негодяи». Во-вторых, невдомёк было Евтушенко, что слова эти произнесены двести лет назад англичанином доктором Самуэлем Джонсоном, который имел в виду не патриотов вообще, не всех патриотов, а тех британцев, которые, совершив преступление, чтобы избежать тюремного заключения или виселицы, пытались оправдать совершённое ими «патриотическими целями». Именно их Джонсон и называл негодяями.

Противопоставляя «охранительный» патриотизм патриотизму подлинному, Евтушенко называет последний не как-нибудь, а «патриотизмом революционности».

Впервые слышу о таком. Насколько я понимаю, слово «революционный», оно не имеет ничего общего с любовью к Родине, а, наоборот, вызывает к её разрушению.

Я выступал позже Евтушенко и не мог не ответить ему. Я сказал, что он слишком часто употребляет местоимение «мы», хотя в таких

случаях надо брать ответственность на себя и говорить «я». Я верю в искренность Евгения Евтушенко, но меня смущают его стихи: «Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним». Нельзя представить ни одного русского поэта, который так бы сказал о себе.

Вот как было в 1977 году.

Евтушенко не затаил на меня никакого зла, но с той поры мы не виделись довольно долго.

Однажды, уже в двухтысячные, мы с женой Таней прогуливались в Переделкине по улице Гоголя. Нас обогнала чёрная очень красивая машина. Неожиданно она притормозила, и из нее буквально выскочил Женя. Он поднял вверх руки, выражая радость от внезапной встречи, и, закричав «Игорь!», бросился ко мне. «Как твоя книга о родителях? Она уже вышла? Ты знаешь, я так рад тебя видеть!» Это был крик души, и он не мог не отозваться во мне. То был последний привет от него, и вновь искра близости пролетела между нами.

Теперь, пожалуй, пора сказать о моём отношении к Евтушенко как к поэту, об общем восприятии его личности, независимо от наших встреч.

После вспышки молодости, подарившей нам запоминающиеся строки, он стал писать много и длинно. Особенно не удавались ему поэмы. Его жанром всё же был короткий лирический стих. В поэме нужна протянутая через весь текст мысль, а может и не одна, но мыслей не хватало, и их приходилось восполнять декламацией.

Евтушенко откликнулся на всё: на запуск космического корабля, на смерть Хрущёва, на 200-летие Казанского университета, на войну во Вьетнаме, на юбилей какого-нибудь певца или певицы.

Гораздо насыщеннее была его жизнь: на пароходе, на самолёте, на поезде – по всему миру, знакомство с Робертом Кеннеди и Пикассо, выступления на митингах рядом с Сахаровым.

Он прожил интересную жизнь, и думаю, если б взялся описать её, оставил бы истории некий документ, документ очевидца. Ведь XX век, начиная с 50-х годов, он прожил весь и вошёл в XXI столетие.

В конце жизни он сел не за мемуары, а взялся за другую работу и сделал её на совесть. Я имею в виду «Антологию поэзии XX века». Капитальный труд и, безусловно, нужный для потомства.

Мы жили в одно время, жили по-разному, и его, и моя, и все другие жизни и есть XX век.

Я читал о Евтушенко много хорошего и плохого (плохого даже больше), есть уничтожительные отзывы Иосифа Бродского и Андрея Тарковского, но я прохожу мимо (кланяясь и Бродскому, и Тарковскому), потому что пишу о том, что видел и знал. Это моё свидетельство и только моё.

В Евтушенко при всей его знаменитости (и, наверное, избалованности этой знаменитостью) было немало детского, доброго. Он не был ни циником, ни холодно безразличным к другим, в нём не угасли с годами ни жалость к ближнему, ни желание встать рядом с тем, кому грозит беда (я не беру в расчёт письма в защиту Сахарова и Солженицына – это политика). И эта неостывшая сердечность, отзывчивость и чувство товарищества (я думаю, наследие военного детства) ушли только с ним.

Между нами была разница всего в два года.

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижний Новгород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия» и принес автору Премию правительства РФ (2012). В 2015 году за роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга», в 2017-м – премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» (за книгу «Постоянное напряжение»).

Живет в Санкт-Петербурге.

ПИСАТЕЛИ СОВЕТСКОГО ВЕКА*

Биографические зарисовки

Необходимый. Варлам Шаламов

1. Золото Севера

«Сталин и Советская власть – не одно и то же», – написал Варлам Шаламов в «Вишерском антиромане». Этот принцип он подтверждал и своими произведениями, и жизненной позицией.

Варлам Шаламов вообще неудобная историческая фигура: до мозга костей советский человек, но при этом ненавидящий Сталина («Колымские рассказы» называл «пощечинами сталинизму»); сын священника, упорно, до конца жизни, утверждавший, что он «неверующий», «нехристианин»; патриот, посвятивший свою жизнь на свободе рассказу о бесчеловечности той системы, которая была построена в его родной стране в 30-е годы... Шаламова не удастся заполучить ни одной из тех идеологических сил, что действовали и действуют в СССР – России.

Часто можно встретить упоминание о том, что Шаламов в юности был троцкистом. Это огромная натяжка, как и вообще этот термин, которым клеймили любых противников сталинской политики... Да, Шаламов участвовал в той знаменитой демонстрации «объединенной оппозиции» 7 ноября 1927 года, но в ней участвовали разные люди: кто-то поддерживал взгляды Троцкого, кто-то – Зиновьева и Каменева, кто-то – Смирнова и Сапронова, кто-то требовал возвращения ленинских норм. Всех их – десятки тысяч людей – вскоре назвали «троцкистами» и стали уничтожать. Шаламов оказался одним из очень немногих, кто выжил. И, оставшись сторонником левых идей, не мог не рассказать, что испытал, увидел со времени первого ареста в 1929-м до отъезда с Колымы в 1953-м...

* Продолжение. Начало в № 6, 2025.

В последние десятилетия Сталин и социализм, советская власть стали практически синонимами. В этом сходятся и враги социализма, и его сторонники, в том числе и совсем молодые. Сторонники находят оправдания репрессиям, доказывают, что количество пострадавших от них значительно завышено... Но при чем здесь количество? Каждый расстрелянный, замученный, искалеченный, расчеловеченный – преступление сталинского режима. И чтобы не только понять это, но и почувствовать, прочувствовать, необходимо читать произведения Варлама Шаламова.

Их нужно издавать огромными тиражами, раздавать каждому человеку, нужно читать его рассказы по радио, телевидению, со сцены. И спектакль «Колымские рассказы», премьера которого состоялась в 2017 году, я считаю очень важным событием не только культурной, но и общественной жизни.

В постановке отсутствует ярко выраженный сюжет. Впрочем, как и в циклах рассказов Шаламова. Ему нередко задавали вопрос: почему вы не пишете одно большое произведение о Колыме, на что Варлам Тихонович отвечал, что если покажет все происходящее глазами одного, выжившего, героя, ему не поверят. Сам Шаламов считал чудом, что уцелел, не сошел с ума, не стал животным. Абсолютное большинство тех, с кем он был в колымских лагерях, погибли. Физически, нравственно.

Не раз звучат слова «Север», «золото», которое добывают заключенные. Ради золота из них выжимают последние силы, морозят, избивают. Но настоящее золото, золото Севера, – это люди. Каждый из которых неповторим, полезен не только как рабочая сила. Но их уничтожают партию за партией, складывают их трупы «штабелями, как дрова»...

В спектакле почти нет театральных приемов, декораций, реквизита. Лишь бочка-печка по центру площадки и белый, видимо, символизирующий зимнюю тундру, экран на стене. Актеры не разыгрывают действие, а рассказывают, рассказывают под жуткие звуки бурана, хомуса, потрескивание перемороженного льда...

Здесь нет рассуждений о политике, о том, кто умирает за дело, а кто безвинно. В произведениях Шаламова вообще очень мало о вине и невиновности. Ведь и он сам, как бы мы сказали сегодня, абсолютный «левак», ленинец, десятилетия носил на себе ярлык «фашисткой сволочи». Есть люди, их судьбы, их гибель.

И продирает мороз ужаса, когда, сидя над сценой – пространство платформы устроено так, что зрители словно бы сжимают сцену с двух сторон, почти нависают над нею, – слушаешь о тех, кто сгинул, стал окоченевшим поленом в длинных штабелях...

Все умерли...

Николай Казимирович Барбэ, один из организаторов Российского комсомола, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала бригада Барбэ. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь – верблюжий шарф, голубой длинный теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры – просто взяли, да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки, сильно поморозил – язвы так и не успели зажить до его смерти...

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего

плохо. В конце концов старший смотритель – так и назывались горные чины в 1937 году, как в царское время, – велел дать мне «одиночный замер» – что это такое, будет рассказано особо. А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнувшего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:

– Рютин? Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнувший бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

– Это – мои, – сказал торопливо Рютин. – Моя собственность. Я платил деньги.

– Ну и что ж?

– Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

– Тебе они больше не понадобятся...

Умер экономист, Семен Алексеевич Шейнин, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало...

Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. За организацию первого колхоза он и получил срок...

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно – он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал...

Читая романы писателей конца XIX столетия – русских, английских, немецких, французских – часто можно встретить мысль: мы европейцы, люди просвещенного века, в котором не повторится деспотия древности, ужасы инквизиции, не прольются потоки крови революций и гражданских войн, завоевательных походов. XX век перекрыл количество убитых, замученных, искалеченных чуть ли не всей предыдущей истории человечества.

Произведения Шаламова необходимы – это не только документ о том, что было. Это и предупреждение, предостережение.

2. Возвращение Пугачёва

Книга «Кто он, майор Пугачев?» вышла в 2015 году крошечным тиражом – 300 экземпляров. И вряд ли эти экземпляры были спешно раскуплены историками, почитателями Варлама Шаламова, попали в библиотеки гуманитарных вузов; наверняка не узнал о новинке так называемый широкий читатель. Скорее всего, издание утонуло в вале печатной продукции незамеченным. По крайней мере, отзывов о ней я почти не встречал. А книга важная.

Ее небольшой объем составляют рассказ Шаламова «Последний бой майора Пугачёва», отрывок из шаламовского очерка «Зеленый прокурор», а также две статьи – Елены Михайлик «Другой берег («Последний бой майора Пугачева»: проблема контекста)» и Валерия Есипова

«Кто он, майор Пугачев? (После фильма. Еще раз о художественных особенностях прозы В. Шаламова)».

С одной стороны, никаких сенсаций в книге нет, но есть главное – серьезный повод вернуться к одному из самых потрясающих, важных и спорных произведений Варлама Тихоновича. Тем более что рассказ «Последний бой майора Пугачева» явно обретает новую жизнь. Наверное, стоит добавить «к сожалению», так как подобная проза – не столько памятник, сколько предостережение.

О чем рассказ? Уверен, абсолютное большинство читателей этой заметки знают – рассказ о побеге группы бывших военных из колымского лагеря в конце 1940-х. О неудачном побеге. Никому из 7877-ми пытавшихся с 1932 по 1956 год не удалось убежать. Лишь один, находясь в командировке в Якутске, добрался до Мариуполя, но быстро был пойман и возвращен на Колыму...

Группа майора Пугачева душит дежурных, разоружает охрану, переодевается в форму, завладевает оружием, грузовиком. Держит путь к ближайшему аэродрому. Но группу быстро блокируют и уничтожают. Пугачев прячется в пещере и стреляется.

Майор Пугачев и его группа герои не только литературные, но и в «первоосновном понимании», как отмечено в предисловии «От издателя». Они попадают в лагерь и понимают – теперь уже цитата из рассказа Шаламова, – что «...их привели на смерть – сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью – глядя на зиму, никуда не побежишь, но летом – если не убежать вовсе, то умереть – свободными».

Все члены группы – люди непростые, способные. Недаром они очень быстро становятся кто культургом, кто поваром, кто механиком, кто бригадиром. Просто так, без талантов, такие должности в лагере не получить. И в финале рассказа автор от лица майора Пугачева характеризует этих людей так:

...лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Символичным кажется и число бежавших – двенадцать. Сакральное число...

Рассказ Шаламова имеет документальную основу – подобный вооруженный побег действительно был летом 1948 года. И это стало причиной того, что в ряде публикаций автора «Последнего боя...» обвинили в искажении исторической правды. По документам оказалось, что в действительности бежали не бывшие воины Красной Армии, побывавшие в немецком плену, а в основном бандеровцы и власовцы. И у обвинителей возникает возмущенное недоумение: кого же Шаламов делает героями?!

Варлам Шаламов не только прекрасный и, на мой взгляд, до сих пор по-настоящему не оцененный поэт, не только потрясающий прозаик, но и создатель, теоретик «новой прозы». В его наследии немало статей о ней. Вот, наверное, их ключевая мысль:

Новая проза – само событие, бой, а не его описание. То есть – документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ... Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой

материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преобразование не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом... Новая проза отрицает принцип туризма. Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник и не в писательском обличье, не в писательской роли... Не проза документа, а проза, выстраданная как документ.

Почти вся проза Шаламова написана от первого лица. Рассказчик предельно сближен с автором. Это многих приводит к уверенности, что они читают документальную прозу. Но – еще раз: «Не проза документа, а проза, выстраданная как документ».

В «Последнем бою майора Пугачева» мы вроде бы не видим рассказчика. А он есть. Именно рассказчик ведает нам эту почти мифическую историю. Вот как стилистически произведение начинается: «От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени...» И далее: «В этой стране надежд (Крайний Север. – *Р. С.*), а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успеет доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь “высшие сферы”».

И вполне возможно, а то и очевидно, что историю майора Пугачева передают друг другу эки в одном из лагерей, соседних с тем, откуда был совершен побег. Так передавали из уст в уста когда-то предания, былины. И в этом случае майор Пугачев может быть совсем не Пугачевым и не майором (в очерке «Зеленый прокурор» это подполковник Яновский), и детали побега могут не соответствовать истине. Той документальной истине, которую ищут в рассказе Шаламова историки, некоторые литературоведы и часть вездливых *простых читателей*.

Но истина в рассказе есть: «если и умереть, то свободными». Очень опасная истина...

Рассказ был написан (или записан) в 1959 году. Я не нашел сведений, предлагал ли Шаламов его в редакции журналов. Думаю, именно этот рассказ предложить не решился. Одно дело писать о жертвах «культы личности» (а жертвы стали появляться в прозе задолго до публикации «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына), а другое – о тех, кто режиму, порожденному культом личности, противостоял. Причем вооруженно. Убивают советских солдат, хотят улететь куда-то (наверняка за границу СССР), и при этом они – «лучшие люди»... За этот рассказ Шаламова вновь могли отправить в лагерь...

Елена Михайлик и Валерий Есипов (к слову, автор книги о Шаламове в серии «ЖЗЛ») полемизируют, во-первых, с историками и журналистами (с Игорем Пыхаловым, Александром Бирюковым), которые обличают автора рассказа в неточностях.

Шаламову предъявляют, например, такую деталь: один из персонажей рассказа, Солдатов (у его прототипа фамилия та же), взят живым. Его долго лечат, «чтобы расстрелять». Но, негодуют историки, реального Солдатова не расстреляли – смертная казнь в тот период была отменена, – он получил 25 лет и в 1957 году досрочно был освобожден. Неправда!

В шаламовском очерке «Зеленый прокурор» тоже есть Солдатов, и там он действительно получает 25 лет. Но очерк и рассказ – разные жанры литературы, чего не могут не знать критики Шаламова. К тому же в «Последнем бою...» год побега не указан. Это могла быть весна

1946 года или 1947-го... Указ об отмене смертной казни вышел в конце мая 47-го.

Контрдоводы Михайлик и Есипова справедливы – нельзя уравнивать художественную прозу, пусть и формально предельно приближенную к документальной, к документальной литературе. (А делается это, скорее всего, не столько по ошибке, сколько по расчету – вот вывел, дескать, Шаламов в рассказе бандеровцев героями, и, значит, *всё ясно* с Шаламовым.) А во-вторых, противостоят тому, что из Варлама Тихоновича, в том числе и при помощи телесериалов, делают борца с советской властью, диссидента.

Действительно, одноименный с рассказом сериал имеет очень мало общего с прозой, а главное, с идеями Варлама Шаламова, да и многосерийный фильм «Завещание Ленина», вроде бы объективно иллюстрирующий биографию писателя, смещает акценты с первых же кадров: название мы видим на фоне заснеженного кладбища ээков. Зритель должен сразу почувствовать: так вот оно какое – завещание Ленина...

Статистика показывает, что в 2015 год в тюрьмах и колониях содержалось около 700 тысяч человек*. Это огромная цифра. Немало там и подобных шаламовскому майору Пугачеву – прошедших войны, умеющих убивать. Вновь введены огромные сроки: 25 лет присуждают запросто. И вполне вероятно мы в скором времени можем узнать о повторении сюжета «Последнего боя майора Пугачева» в реальной жизни.

Произведения Шаламова необходимы – это не только документ о том, что было. Это и предупреждение, предостережение. Рассказ Шаламова стоит помнить, держать в голове.

«Взываю к активности...» Федор Абрамов

Абрамова называют одним из родоначальников деревенской прозы.

Это справедливо: «Братья и сестры» – честную, горькую книгу о людях, работающих на земле, он начал в 1950 году, когда в советской литературе царила «бесконфликтность». Инженеры человеческих душ жаловались тогдашнему первому человеку в государстве: «Трудно писать: конфликтов нет». Абрамов нашел если не конфликт, то проблему: жизнь советских крестьян в годы войны почти не отображена в литературе.

Он родился в старинном селе Веркола в трехстах километрах от Архангельска. Отца Абрамов не помнил – тот умер, когда ему был всего год... После начальной школы мать отправила Федора в село Кушкопала, где была семилетка, оттуда в Карпогоры – там находилась единственная в районе десятилетка.

Школу Абрамов окончил с отличием, и его без экзаменов зачислили на филфак Ленинградского университета. После третьего курса, на третий день войны вступил в ополчение. В ноябре 1941-го был тяжело ранен и весной следующего года вывезен из Ленинграда на Большую землю.

Летом, получив отпуск, Абрамов приехал в родной район и увидел, как его земляки – женщины, старики, дети – бьются за урожай.

* По данным ФСИН, на 1 января 2023 года число заключенных в России составляло 433 тыс. человек. К 1 января 2025 года их количество сократилось до 313 тыс. – *Прим. ред.*

По его словам, эта картина не давала ему покоя несколько лет и стала толчком для написания первой книги.

На фронт Абрамов больше не вернулся, но в армии оставался до осени 1945-го. Потом окончил университет, затем аспирантуру, стал кандидатом наук, заведующим кафедрой советской литературы ЛГУ... Ему, казалось, была уготована относительно спокойная жизнь научного работника.

Но в самом начале «оттепели» журнал «Новый мир» опубликовал статью Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе». Статья очень смелая, резкая. Абрамов доказывал, что честных произведений о тогдашней деревне попросту нет... И в статье слышнее не филолог-литературовед, а автор пусть недописанной еще, но уже существующей честной книги.

На Абрамова обрушилась лавина критики, ему грозили увольнением из университета. Он был вынужден признать ошибочность своих высказываний, а вскоре предъявил роман «Братья и сестры», который в редакциях журналов вызывал смятение и страх.

Публикация состоялась только через два года в ленинградской «Неве», и, как оказалось, роман пришелся ко времени. Десятки положительных рецензий и статей; его издали отдельной книгой, выпустили в «Роман-газете», что было тогда очень почетно. Вскоре Абрамов сам ушел из университета и сделался, как принято говорить, «профессиональным писателем».

«Братья и сестры» стали первой частью эпопеи, которую он писал практически всю свою творческую жизнь – четвертая книга, «Дом», вышла за пять лет до смерти автора, в 1978 году.

«Дом» очень печальное произведение. С одной стороны, деревня окультурилась городской цивилизацией, стала богаче, а с другой – она гибнет. И физически, и нравственно. И финал страшный: родовой дом в буквальном смысле разрывают на две части – одна остается на месте, а вторую увозят...

Сегодняшнему молодому человеку читать романы Абрамова непросто. И слог часто непривычно обстоятельный, описания слишком подробны, и много примет, непонятных не только молодым, но и людям среднего поколения – в районе сорока пяти. Секретари райкомов, совхозы, сельсоветы... От многих слышал, что разобраться в этих приметах они не могут – и бросают чтение.

Украшают и в то же время утяжеляют произведения Абрамова местные, диалектные слова. Их необыкновенно много, и не только в диалогах персонажей, но и в авторской речи. По сути, он писал на северном русском наречии. На восприятие этого наречия нужно настроиться, как на чтение стихов.

Вот, например, из романа «Три зимы и два лета»:

Когда Михаил очень спешил, он обычно ходил задворками либо подгорьем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него: этой поправь крышу, той подними дверь – каждый раз с боем и она сама, и ребята попадают в избу, а у третьей и того срочнее дело потолок «заходил» над столом.

И он ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да, оказывается, и эта работенка – наводить разруху на деревне – кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили – пока бревно от сруба оторвешь, семь потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки нарасхват рвали безмужние бабы.

Кстати, в то время в литературе шла беспощадная борьба с диалектизмами, которые тогда презрительно именовали «провинциализмами». Авторы заставляли заменять их общепонятными синонимами. Абрамов был в числе тех немногих, кто отстаивал право существования местных слов в русской художественной литературе...

Успех романа «Братья и сестры» не избавил писателя от нападков. Разносу в 1963 году подвергся большой очерк «Вокруг да около», якобы искажавший колхозную жизнь, да и многие другие его произведения вызывали неудовольствие власти, а порой и земляков.

Да, на романы Абрамова неподготовленному человеку сегодня замахиваться не стоит. Лучше начать с небольших вещей – «Пелагея», «Бабилей», «Алька». А лучше всего с рассказа «Сказание о великом коммунаре». Пусть не смущает название – это почти притча о человеке, который сорок лет осушал болото рядом с родным селом. Рыл в одиночку канавы, считался чудаком (и слово «коммунар» тут звучит с некоторой иронией – одиноких коммунаров ведь не может быть, а он был – старался для общества).

Болото ушло, теперь в селе осенние заморозки наступают позже, чем по остальному району.

А как написан рассказ! Вкусно написан:

Наверху опять было лето, такое же голубое и сияющее, как вчера и позавчера, а на земле была осень, поздняя, безрадостная осень. Всё почернело, всё сникло, набухло водой: картофельная трава, ячмень, овсы. И дороги развезло – легковуху качало, как пьяную. Так всегда бывает после большого утренника. Но вот мы поднялись в гору, перевалили за холм, и что за чудо, куда девалась осень? Ячмень стоит колос к колосу, как гвардия на параде, картофельные гряды сочно зеленеют под солнцем, а за картофельными грядами и вообще летняя сказка – рожь волнами.

Федор Абрамов умер в 1983-м, незадолго до начала перестройки. Отношение к ее результатам у него наверняка было бы, мягко говоря, отрицательным. Но необходимость менять тогдашнюю жизнь он чувствовал остро:

Я считаю, что в наших мерзостях немалая заслуга и нашего великого народа. И потому я всю жизнь кричу: встань на ноги! Оглянись кругом. Не давай всякой сволочи ездить на себе. А еще я взываю – к активности, к активности! Никто не поможет народу, если он не поможет себе. Всякие реформы (а в них, как в воздухе, нуждается страна) возможны только при одном условии – при условии решительного преодоления в низах заскорузлой, застарелой русской болезни – пассивности.

Несколько лет назад в Архангельской области была учреждена литературная премия имени Федора Абрамова «Чистая книга». Есть надежда, что она откроет нам новых авторов, честно пишущих о народе.

«Пусть он живет. Пусть пашет землю... »

Василий Шукшин

Очевидно, что общество наше давно расколото на два почти равных по численности лагеря, и на многие проблемы лагеря эти смотрят по-разному, высказывают, а вернее выкрикивают, полярные мнения, дают полярные оценки. Для пушей убедительности привлекают на свою сторону, записывают в свои ряды людей давно умерших. Причем

в основном так называемых *деятелей культуры*. От Пушкина и Тютчева до Высоцкого и Цоя.

Жутковато, конечно. Во-первых, нет, значит, у нас таких величин, какие бы рассудили и показали если не истину, то правду. (Талантливых вроде немало, но они тут же объявляются бесталанными, беспринципными, а то и вовсе врагами, стоит им сказать не то, подписать какое-нибудь коллективное письмо, выступить не перед той аудиторией.) А во-вторых, поднимать из гробов и ставить в строй пусть великих, но мертвецов, это нечто из области фильмов ужасов, что ли...

Особенно меня удивляет и коробит то, что «государственники», идеологи защиты и расширения русского мира на запад включают в свои ряды Василия Макаровича Шукшина и некоторых героев его книг и фильмов. Впрочем, раздаются голоса, что доживи Шукшин до перестройки, непременно бы занял позицию, схожую с позицией Виктора Астафьева, стал бы открыто обличать советскую власть, *советскую военищину*, поносить Сталина и так далее.

Шукшин умер в сорок пять лет в 1974 году, когда раскол советского общества только обозначился. Раскол существовал, бесспорно, и раньше, но до очередного социально-политического землетрясения было еще далеко, ощущались лишь слабые, но тревожные толчки. Толчки эти Шукшин уловил, и почти все его последние рассказы буквально вопиют о скорой беде – «Други игрищ и забав», «Мужик Дерябин», «Чужие», «Привет Сивому!», «Кляуза»... В них не просто житейские или мировоззренческие конфликты, а настоящая война – советские люди (при этом по национальности все они русские) открыто ненавидят друг друга.

Да, до беды – позднего застоя и перестройки, переродившейся в ельцинский переходный период 1990-х, – Шукшин не дожил. Не припрятал он и рукописей в столе, которые бы показали нам его позицию, его прямолинейные оценки прошлого, настоящего, его цели. Оставил Шукшин не то чтобы намеки, а наброски, по которым мы вот уже без малого полвека гадаем, что бы он сказал, когда *стало можно* открыто говорить.

Если с писавшими о русской деревне и горожанах в первом поколении Абрамовым, Тендряковым, Беловым, Астафьевым, Распутиным, Солоухиным, Можаявым, Лихоносовым, Личутиным, Крупиным, Евгением Носовым, Виктором Потаниным, Ухановым, даже Борисом Екимовым, который, кажется, всю жизнь описывает то, что видит, не делая однозначных выводов, всё *вроде бы* ясно, то Шукшин остается загадкой. И эту загадку пытаются разгадать, рассматривая его творческое наследие под лупой, трактуя содержание фильмов, прозы, статей, рабочих записей как кому хочется.

О Шукшине написано множество воспоминаний. Есть подробные, объемом с книгу, есть лаконичные, и во многих из них мне видится вольное или невольное желание авторов (Василия Белова, Анатолия Заболоцкого, Виктора Астафьева, Валерия Гинзбурга, Анатолия Гребнева) взять Шукшина-человека, Шукшина-художника себе в соратники, единомышленники. Поэтому воспоминания я не считаю аргументами и достоверными документами.

То же происходит и нынче. И написать эту заметку меня подтолкнули две относительно недавние статьи – литературного критика и публициста Андрея Рудалёва «Егор Прокудин уехал на Донбасс» (опубликована в конце 2017-го, вновь стала тиражироваться в соцсетях в феврале –

марте 2022 года) и «По Шукшину» писателя, подполковника Росгвардии Захара Прилепина (вышла в октябре 2014-го, с тех пор регулярно перепечатывается в интернет-изданиях), а также его программа «Уроки русского», посвященная 90-летию Шукшина.

Про Донбасс в статье Андрея Рудалёва почти ничего. Лишь в финале автор предполагает, внуки Петра Байкалова и возможные внуки Егора Прокудина, героев шукшинских повести и фильма «Калина красная», понесут

благую весть о русском мужике, о его возвращении. Об обширном, как жизнь. Непонятно. Будут выступать против несправедливости. Может, один из них назовется Моторолой...

Непонятые поедут они на Донбасс, где будут делать свое мужицкое дело. Вызовут ярость и злобу все того же триумvirата либеральной интеллигенции, криминалитета, власти. Но что с того? Егор Прокудин никуда не ушел, он просто прилег на землю, прыгнул в окоп. Мужиков в России много, откуда они есть, она не станет пустыней.

Патетично. Хотя непонятно, почему внуки должны ехать защищать Донбасс, а не пытаться преобразить родную свою землю? Не бороться здесь с «триумvirатом»?

Андрей Рудалёв на протяжении нескольких лет выдает одну за другой статьи о «прогрессивнейших представителях нашего общества», «либеральной интеллигенции» – эпитетов для этого сорта людей в арсенале Рудалёва предостаточно. Они, дескать, повинны в бедах страны и народа. Начиная с какого времени повинны, я еще не докопался. Но вот в 1973 году, когда появилась «Калина красная», они уже точно развращали, а то и убивали (пусть не буквально, как Губошлеп Егора Прокудина, но не менее страшно) простых русских людей.

В статье Рудалёва Губошлеп и его банда как раз и есть «либералы» – «Губошлеп, Люсьен, Бульдя – это ведь своеобразный андеграунд, представители творческой интеллигенции, которых преступный режим загноил на криминальную ниву».

Наверняка Шукшин действительно в образах Губошлепа и остальных выводил не воров и грабителей. Иначе убийство Егора Прокудина выглядит неубедительным и надуманным. «Калина красная» очевидно имеет второе дно, подтекст. Недаром в одном из писем самый, наверное, близкий друг Шукшина Василий Белов замечал: «Боялся я твоей слабости по отношению к блатным. Но образ (вернее, весь фильм) получился шире, хитрее – видно, знал ты, чего делал». В ответ Шукшин не протестовал, не обижался на это «хитрее». Да, «Калина красная» произведение *хитрое*.

Но, может, под Губошлепом, Бульдей и прочими подобными понимается одна из систем, в которые попадает Егор Прокудин? Другая система – колония, третья – совхоз (именно совхоз, а не колхоз), куда он идет работать. И в итоге гибнет. Эти системы его убивают. Он не может жить в рамках. Неслучайна песня, которую заводит Егор, когда они с Петром Байкаловым выпивают в бане.

Сижу за решеткой в темнице сырой
Вскормленный в неволе орел молодой.

Не только Егор вскормлен в неволе, получается, но и Петро, «поддержавший» песню. Да и наверняка все остальные персонажи «Калины красной». Может, и не только они...

В середине 2000-х, только появившись на поле русской литературы, Захар Прилепин отзывался о шукшинской и вообще деревенской прозе, мягко говоря, критично. На вопрос в одном из интервью «А как вам кажется, Печорин тоже несчастен?» ответил так:

Это мой любимый герой в русской литературе. Печорин... конечно несчастен. Потому что он все знает о людях наперед, о женщинах, о мужчинах... он способен оценить и красоту, и мужество, но он знает все наперед, ему неинтересно жить...

Русская литература в советском своем периоде пыталась эту ситуацию переломить... Училась видеть позитив... Федин, Всеволод Иванов, в меньшей степени Фадеев, Гайдар, Леонид Леонов. Эта литература делалась очень хорошо, на экстремально высоком уровне. У них это получалось. Но потом ей тоже сломали хребет, пришли несчастные жалующиеся деревенщики, пришли шукшинские чудики. Это одна из самых ненавистных мне эстетик в русской литературе, весь этот шукшинский мир мне омерзителен по сути. Он мне просто поперек течения крови, потому что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться, это не те мужчины, не те женщины... Я хочу жить в мире, где Илиада, Одиссея.

Но затем Прилепин стал мягче, о романах Шукшина заговорил с почтением, а через несколько месяцев после начала боевых действий в Донбассе, образования ДНР и ЛНР опубликовал статью «По Шукшину», в которой дал свою трактовку роману «Я пришел дать вам волю».

Каждое общественное и прочее движение, военный поход должны иметь своего бояна. Таким бояном в ЛДНР, по крайней мере с осени 2014-го стал Захар Прилепин. Помнится, как вдохновенно он рассказывал про ополченцев, не соблюдающих правила дорожного движения, оговариваясь, правда, что «иногда это действительно необходимо»; про «чеченских ребят», которые «тут имеют привычку ночью, оставляя автоматы, сниматься с места и куда-то уходить с одними ножами. К утру возвращаются с автоматами»...

Но так как Прилепин – русский писатель, он наверняка почувствовал необходимость подкрепить свои романтические миниатюры произведениями предшественников. Одним из таких произведений стал роман «Я пришел дать вам волю». Да и Шукшин целиком. Статья «По Шукшину» начинается так: «Недавно кто-то посетовал, что нет с нами Шукшина, вот-де Василий Макарович верно бы все рассудил.

Определенной части нашей интеллигенции должно быть радостно, что Шукшина нет, потому что рассудил бы он весьма жестко».

И дальше автор утверждает, что Шукшин бы рассудил в пользу ополченцев и прибывших к ним на помощь.

В последнее время я несколько раз задумывался о том, что происходящее в Донбассе – это, конечно, традиционная «бунташная» история, разинщина. И то, что новороссийских мужиков пришли поднять боевитые соседи – казак Бабай и морпех Моторола, уволившийся из ВС РФ, это как раз обычно и традиционно.

<...> Если б Шукшин увидел Новороссию, он бы угадал все те типы, которые описал – а, по сути, во многом выдумал. А они вдруг оказались – вполне живыми, действующими, улыбочивыми и полными бешеных сил.

Можно как угодно к ним относиться, но понятно, что Мозговой или тот же Моторола – это герои, прямоком пришедшие не только из романа Шукшина, но и, например, из «Тихого Дона» Шолохова: они там запросто размещаются и тут же начинают куролесить.

Про «Тихий Дон» в таком ключе – очень напрасно, по-моему, и оскорбительно по отношению и к Шолохову, и наверняка к ополченцам. Это про какое «куролесить», интересно?

Про подвиги банды Фомина? Про душевную и физическую вседозволенность Митьки Коршунова и его команды? Или про такое:

Григорий торопливо спешил, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полужакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотно зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые блеклые тени, ползали суетливые муравьи.

– Какую красоту загубили, сукины сыны! – вполголоса сказал Прохор.

Но самое большое удивление вызвал у меня в статье Прилепина следующий абзац:

В каком-то смысле Разин тоже хотел строить свою Новороссию, но против царя не выступал – наоборот, он, как и самозванец Пугачев, как и Болотников ранее, хотел добраться к московскому Кремлю, пасть государю (или государыне, в случае Пугачева) в ноги и испросить позволения перебить всех бояр-предателей и дворян-подонков.

Что там творилось в голове у реального Разина, мы не знаем. Да, он возил с собой лже-Алексея Алексеевича, якобы не умершего сына царя Алексея Михайловича, и лжепатриарха Никона, но явно не для того, чтобы «пасть государю в ноги»... Во всяком случае перед казнью Степан Разин в сторону царя не поклонился.

Шукшинский же Разин воспринимает как врага не только конкретного царя, но и то, что делает царя царем, откуда эти самые цари берутся. Вот, наверное, ключевой отрывок из романа «Я пришел дать вам волю»:

Видел Степан, но как-то неясно: выросла на русской земле некая большая темная сила – это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит – это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы – они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо напозла всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? – не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово – «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься – бояре ли? – понимал: тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил – «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила.

Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась – ГОСУДАРСТВО.

В романе Шукшина есть сцена представления, которое устроили казаки – воображаемый разговор атамана и царя.

– Не прыгай! – велел Степан. – Он же – великий князь вся, вся... У его бабу патриарх благословил в мыленке, он и то важный остался. А ты прыгаешь, как блоха. – Разин положил свой пернач на землю. – Пришли мы к тебе, царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И просить тебя, оставь вольности Дону! Всегда так было! – Разин говорил громко – всем. – До тебя были вольности! А ты отбираешь!..

– Сиухи хошь? – спросил Стырь. – С дороги-то...

– Я воли прошу, а не сиухи!

– Какой тебе воли?! – вскинулся Стырь. – А хрен в зубы не надо? Воли он захотел!..

– Как же нам без воли?

– Какой тебе воли надо?

– Не вели мужиков имать да вертать с Дону опять помещникам...

– Хрен! – Стырь все торопился, все суетился и не хотел даже смотреть на казаков.

– Дай сказать-то! – обозлился Степан. – Да на меня гляди-то, на меня. Что ты, как коза брянская, все вверх смотришь? На меня!

– Ну.

– Не помыкай нами, еслив хлеб на Дон посылаешь...

– Так.

– Тюрем настроил, курва! Как чуть чего – так в тюрьму!

– Как ты сказал? Курва?

Степан упал на колени.

– Прости, князь великий! Вылетело...

– Срежу язык-то! Вылетело. Какие ишо жалобы на бояров?

– Пошто на одном месте пригвоздить хочешь мужика? – спросил Матвей Иванов. – Был хоть выход.

– Плетей! – велел Стырь, показав на Матвея.

«Приближенные царя» схватили Матвея и раза три всерьез жогнули плетью.

– Какие жалобы, казак? – повернулся Стырь опять к Степану. Степан все стоял перед ним на карачках, покорно ждал.

– Пошто – как войне быть на Дону или миру – мы не вольны сами решить? Мы хотим решать сами, как нам любо, а как нет.

Стырь молчал; он не знал, как огоршить с войной.

– Нас на войну шлешь!.. – закричал с колен Разин. – Сам затеваешь, а нас шлешь! Куда хочешь, туда и шлешь, мы не смей пикнуть! Мы не слуги тебе! Не стрельцы!.. Курва ты великая, а не князь великий! – Степан поднялся в рост.

– Плетей! – тоже заорал Стырь. И тоже вскочил.

«Приближенные» бросились к Разину...

– Стой! – остановил их Стырь. И полез с арбы. – Я прокачусь на ем. На Дону, говорят, жеребцы славные – спробую.

Степан смиренно опустилсЯ опять на четвереньки.

– Седло! – распорядился Стырь. – А то я ишо свою царскую собью...

На Разина накинули седло. Он молчал. Стырь сел на него.

– Ну-ка, прокати царя!..

– Куда, великий? Куда, князь вся, вся?..

– За волей... Где она? Я сам не знаю...

Разин громко заржал и поскакал по кругу.

– Э-эх! – орал Стырь. – За волей казакам поехали! Их-ха!

Где уж тут желание Разина – Разина в представлении Шукшина – действительно «пасть государю в ноги», о котором пишет Прилепин?..

Статья-то его «По Шукшину» называется. Но то ли *случайно* перепутал шукшинского Разина с чьим-то другим (своим, если судить по недавно вышедшему роману «Тума», где молодой, и это важно, Степан – слуга царю), то ли перепутал *для пользы дела*.

Весной 2014 года Захар Прилепин объявил о своем «перемирии с властью» и строго его соблюдает. А до перемирия его оценка Разина была иной. Есть у него написанная году в 2008-м статья «Снять чёрную ржавчинку, вскрыть белую грудочку...», в которой кратко описываются выступления Болотникова, Булавина, немного Пугачева и подробно Разина. Заканчивает Прилепин ту статью сожалением с проблесками надежды:

Подверстывая самозванные итоги великих смут, можно сказать лишь одно: хоть и не дошли толком буяны до черной, буйной, грязной Руси, но тут их как ждали тогда, так и ждут до сих пор.

И не знали смутьяны мужика, и не жалели, и предавали его: а мужик все тянулся и тянулся кровавыми пальцами к своим стенкам и емелькам – подальше от долгоруких и трубецких.

Казачьи бунтари были пассионариями в чистом виде: людьми, которым всюду невыносимо тесно. Но ведь и русскому мужику тесно тоже, особенно когда у него сидят на шее и бьют пятками по бокам: н-но! пошел, мужик! вези, мужик!

Мужик везет, везет, а потом нет-нет да обернется: может, нагрелось зарево где-нибудь у Царицына, может, пора уже, а? Может, дойдет хоть раз от станицы Зимовейской до его проклятой улицы праздник...

...Праздник сладкий, а потом соленый. Но сначала сладкий...

Да, сожалел когда-то Захар Прилепин, что не добрались казачьи бунтари до его родной Рязанщины, а ныне взор его устремлен на Запад. То ли от бессилия что-то изменить на «черной, буйной, грязной Руси», то ли оттого, что воцарились порядок, справедливость и чистота на ней, а новые долгорукие и трубецкие справедливы и ласковы.

Не верю я во второе.

Неизвестно, каким бы стал Шукшин в сорок шесть, в сорок семь... Но до последних месяцев главной целью его было снять фильм под названием «Я пришел дать вам волю». Набрасывать сценарий начал еще в 1964-м, а рассказ «Стенька Разин» написал в самом начале 1960-х. То есть фигура эта не отпускала Шукшина всю творческую жизнь, а может, и вообще всю сознательную.

Жажда воли – это вообще то, что породило так называемую деревенскую прозу. Лейтмотив ее прост: отстаньте от мужика, дайте ему свободно жить, трудиться, отдыхать. Желание это исконное, но неисполнимое – государство с момента своего возникновения обирало мужика, тащило строить города, убивать и умирать на войнах, работать на заводах; оно указывало ему, когда пахать, когда сеять, когда жать.

Уже много лет назад в одной статье я обмолвился, что *деревенщики* были анархистами. Мне тут же стало прилетать в ответ: они были государственники, не смей клеветать! А недавно я вычитал в письме Василия Белова Шукшину такую мысль:

«Для русского человека нет ничего тошнее чинного порядка, регламентации, т. е. ему воля нужна. Это теперь-то нас приучили ходить колоннами, поставили по ранжиру, и все, что не подходит под их мерку, назвали *анархизмом*». Это 1965 год. Белов тогда готовился писать о Болотникове, Шукшин о Разине.

А сам Шукшин писал троюродному брату Ивану в 1961-м:

Много думаю о нашем деле и прихожу к выводу: никому, кроме искусства, до человека нет дела. Государству нужны солдаты, рабочие, служащие... и т. д. И чтоб был порядок. И все. А ведь люди должны быть добрыми. Кто же научит их этому, кроме искусства. Кто расскажет, что простой добрый человек гораздо интереснее и лучше, чем какой-нибудь дубина-генерал или высокостоящий чиновник.

В рабочих записях Шукшина есть такое: «Россия – Микула Селянинович». Это о богатыре, снискавшем славу не в ратных походах, а в труде.

По сути, про Микулу Селяниновича и писали наши *деревенщички*. Его пытались сломать, уронить, вдавить в землю, пока он ее пахал... Да, в конце концов почти вдавили. И оставшиеся в живых певцы и оплакиватели деревни *почти все* перешли к той силе, что победила. К государству.

Объединение деревенщиков и государства произошло в период ранней перестройки. Сейчас ее, перестройку, принято проклинать (чем, в том числе, упорно занимаются и Рудалёв с Прилепиным), но тогда, в 1985–1988 годах она казалась спасением. *Деревенщички* ее и призывали своими произведениями первой половины 80-х. Владимир Крупин повестью «Сороковой день», Валентин Распутин рассказом «Не могу-у», очерком «Байкал, Байкал...», повестью «Пожар», Евгений Носов очерком «На дальней станции сойду», Виктор Астафьев рассказом «Ловля пескарей в Грузии», повестью «Печальный детектив», Василий Белов романом «Всё впереди», Борис Екимов россыпью обжигающих душу рассказов «За теплым хлебом», «Чапурин и Юрка», «Путевка на юг»... Шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?» звучит во всех этих (и не только в этих) произведениях с предельным надрывом.

Деревенщички не просто поддержали горбачевскую перестройку, а деятельно включились в нее. Наверное, им показалось, что близка для народа та воля, которую народ давно ждет, и добиться ее можно без кровавого бунта, а мирно. Это напоминало то, как крестьянские поэты Клюев и Есенин встретили Октябрьскую революцию, откликнулись на нее и влились в ряды преобразователей России. Но и революция, и перестройка очень быстро переросли в гражданские войны. (Утверждение, что распад СССР прошел «малой кровью» всегда вызывало у меня негодование, да и распад с кровью еще не закончился – Армения с Азербайджаном, Россия с Украиной, Грузия, Киргизия... Границы перекраиваются, кровь льется, люди бегут.)

На Первом съезде народных депутатов СССР летом 1989-го Валентин Распутин предложил России выйти из СССР:

Мы, россияне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и проблемам всех без исключения народов и народностей нашей страны. Но мы хотим, чтобы понимали и нас... Здесь, на съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, парламентским путём добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной. Не мне давать в таких случаях советы. Вы, разумеется, согласно закону и совести распорядитесь сами своей судьбой. Но по русской привычке бросаться на помощь, я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете её, и если её слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие.

Как бы сам Распутин позже ни трактовал те свои слова, но смысл их очевиден. И произойди выход тогда, в еще относительно цивилизованное время, может быть, беды России и многих других республик СССР не случились бы...

1990 год разбросал писателей-деревенщиков по разным лагерям. Виктор Астафьев и Евгений Носов стали *демократами*, Василий Белов, Валентин Распутин *патриотами*. О современности писали мало, зато ушли в прошлое, спорили о Великой Отечественной, о коллективизации, большевиках, Столыпине, Сталине... Да, многим недавним радетелям об освобождении закабаленных совхозами, колхозами крестьян, народном самоуправлении понадобилась твердая рука. Возникла тоска по Сталину. Меньшая часть поддерживала Ельцина, упрекала его в нерешительности, по сути, тоже тоскуя по твердой руке.

И покидали этот мир две центральные фигуры этих лагерей Виктор Астафьев и Валентин Распутин со схожими чувствами.

Астафьев:

Что за народ, который называет себя великим и которого как телёнка на поводке водят, как бычка... Что он такой убогий, ни на что не годный... Те его ссылают, те его совратили, те его погубили, те его объели, те распродали... А он-то где был? Народ-то сам-то? Сам власть эту создал, сам на себя беды все накликал своим безволием, своей безалаберностью, разгильдяйством, особенно разгильдяйством...

Распутин:

Народ отступил. Если раньше он отступался, то ненадолго. Он брал себя в руки. А тут он не захотел уже. Он устал... Сейчас, мне кажется, обречен весь мир. Подошло время негодности этого мира.

С кем бы оказался Шукшин в начале 90-х, в нашем сегодня – гадать попросту глупо. Всё меняется, в том числе и человек. Например, Валентин Распутин 1970 года совсем другой, чем был в 1965-м, а 2012-го, чем в 1989-м. Может быть, Шукшин не пронес бы через всю жизнь чувство необходимости воли для русского человека, может, вытравил бы из записных книжек такие свои строчки: «Истинно великих людей определяет, кроме всего прочего, еще и то, что они терпят рядом с собой инакомыслящих. Гитлер и Сталин по этой статье не проходят туда», «Я со своей драмой питья – это ответ: нужна ли была коллективизация? Я – ВЫРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА». Может, раскаялся бы, что собирался обучить одну из дочерей заграничному танцу ча-ча-ча, что называл дочь Машу «Мэри Шук».

Да, гадать не стоит. Стыжу себя за это желание. Зато Андрей Рудалёв твердо знает, что Егор Прокудин и его внуки поехали бы на Донбасс, Захар Прилепин – что Новороссия – это именно та вольница, о какой мечтал шукшинский Разин... В своей телепередаче, посвященной 90-летию со дня рождения Шукшина, Прилепин настойчиво убеждает зрителя: Шукшин был советским и всем обязан советской власти – от приобретенной профессии кинорежиссера до полученной квартиры в Москве.

Я искал в собрании сочинений Шукшина хоть какие-то фразы о Пражской весне 1968-го, о загранице, о союзных республиках, об Украине хотя бы в связи с фильмом «Комиссар». Практически ничего. Ничего, что бы можно было привести. (Разные воспоминания о Шукшине я в этих заметках цитировать зарекся.) Похоже, кроме России и связанного с Россией, его ничего не интересовало.

В Севастополе и его окрестностях Шукшин прослужил больше двух лет. В его творчестве эти места (тогдашняя часть РСФСР, кстати) не увековечены. Пляж в «Печках-лавочках» снимали в Ялте, но в повести о ней нет никакого упоминания. В Ялту ездил герой рассказа «Петька Краснов рассказывает», но она опять же не называется. Единственный раз слово «Крым» звучит в киноновелле «Братка». А так просто «юг», просто «море».

География в произведениях Шукшина бедновата – в основном Алтай, Москва, Русский Север, немного Байкала; в романе «Я пришел дать вам волю», произведении эпического размаха, действие происходит по большей части на Нижней и Средней Волге. (Интересно, что когда казачья верхушка попыталась повернуть разинских казаков на крымцев, они отказываются – их цель Россия, Москва.)

Отправлять Шукшина и его героев защищать Русский мир на Украину, конечно, можно, правда, с тем успехом можно отправлять их и в Канаду, США, Боливию, Австралию. По своей воле не поедут. Дома дел много, пахать надо. А пахать мешают разные системы, которым необходима жизнь русского мужика.

Многие десятилетия говорят: русская деревня погибла. Нет, она еще жива. Дряхлая, немощная, но пока дышит. А ее продолжают добывать. Вдавливают Микулу Селяниновича глубже и глубже в землю-могилу.

В деревушках и селах рождаются дети, кое-как получают неполное или полное среднее образование, большинство едет учиться дальше, меньшинство околачивается дома. Из уехавших почти никто не возвращается. Мест, где бы зарабатывать хоть копейки, всё меньше, своим хозяйством не проживешь – корм для свиней, даже для кур стоит дороже и дороже, плоды земли продавать труднее и труднее...

Много лет я сражался на базаре в райцентровском городке за пятак прилавка, чтобы положить там клубнику, помидоры, горох, редиску со своего огорода. Прилавки заняты *специально обученными людьми* – профессиональными продавцами, им привозят овощи, фрукты, ягоды *специально обученные* экспедиторы-грузчики, где-то находятся *специально обученные* фермеры или аграрии, которые всё это выращивают. А наши поля зарастают тайгой. Это страшное зрелище – зарастающие поля...

Нас приучили к тому, чтобы мы не лезли с вопросами. Еда в магазинах есть? – Есть. – Ну и всё, будьте довольны. Одежда, автомобили, электричество, посуда есть? – Есть. – Так потребляйте и помалкивайте. *Специально обученные* люди произведут, доставят, подумают, спланируют.

Деревенщик из тундры. Юрий Рытхэу

В русской литературе есть феномен деревенской прозы. А вот как назвать то направление, в каком писали – по крайней мере начинали писать и обрели первую известность – Фазиль Искандер, Чингиз Айтматов, Юрий Рытхэу? Может, и не надо пристегивать к ним никакого термина – их книги, как и книги русских деревенщиков, о родной земле.

Юрий Рытхэу из перечисленных мне интереснее всего. И его жизнь, и его книги.

Он родился в 1930-м в далёком-предалёком от столиц чукотском поселке Уэлен. С ранней юности мечтал о почти мифическом для себя

Ленинграде, хотел учиться в Институте народов Севера, о котором много слышал от бывавших на Чукотке исследователей.

На дорогу не было денег, и Рытхэу – имя и отчество, Юрий Сергеевич, выбрал сам, когда пришла пора получать паспорт, – пытался заработать их, нанимаясь в геологические партии, на рыболовецкие суда, в бригады зверобоев... Необходимая школа будущего писателя.

В 1949 году он все-таки добрался до города мечты, но поступил не в Институт народов Севера, а в Ленинградский университет. К тому времени у него уже было несколько публикаций стихов и очерков в газете «Советская Чукотка», вскоре стали печатать и в Ленинграде. А потом и в Москве, да не где-нибудь, а в одном из самых читаемых журналов того времени «Огонёк».

В 1953-м в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга рассказов «Люди нашего берега». Интересно, что и на обложке, и в краткой биографической справке автор обозначен только родовым именем – Рытхэу. Характерный штришок языковой политики того времени. Позже, во времена вроде бы более либеральные, каждому советскому человеку обязательным стало иметь полный набор: фамилия-имя-отчество. И не важно, что у некоторых народов такой традиции нет.

А «Рытхэу» с чукотского переводится примерно как «неизвестный», «забытый». Опять же многие народы называли детей как-нибудь неприметно, чтоб злые духи не позавидовали.

Но Рытхэу стал, пожалуй, самым известным, заметным чукчей Советского Союза. Его первые книги буквально сметали с полок – всем хотелось узнать, как живут на краю света. К тому же и время какое наступило – «оттепель», романтика, жажда дальних странствий, освоения новых земель.

...Непривычен и дик был вид земли, по которой прошлись, как ножом по шкуре живого зверя. Долго привыкал Гаймелькот к черной полосе на нетронутой испокон веков земле, к грохоту тракторов. К концу лета он уже не боялся подходить к отдыхающим машинам и с помощью небольшого количества русских слов, которым он научился во время редких своих поездок на центральную усадьбу, даже беседовал с молодыми трактористами.

Приветливые это были люди! Они поили старика чаем, расспрашивали, как умели, о дороге, рассказывали о себе.

Гаймелькот подружился с ними и встречал их как старых знакомых. Многие здоровались с ним, хотя он их видел впервые, и даже знали его имя. Особенно нравился Гаймелькоту Арсен. Он был похож на старшего сына.

Это из книги «Прощание с богами» 1961 года.

Но вскоре лирически-романтические мотивы у Рытхэу стали сменяться критическими. Он увидел, что принес с собою прогресс, что освоение часто превращается в уничтожение, раны тундры не заживают десятилетиями.

Вернее, сначала он обратился к истории, прошлому, а потом стал писать о том, как разрушается многовековой и потому, наверное, правильный, мудрый уклад жизни своего народа... По сути, таким же путем шли и те русские писатели, кого принято называть «деревенщиками».

Произведения советских писателей много экранизировали. По крайней мере, намного чаще, чем теперь. Не исключение здесь и Рытхэу. Правда, фильмы не стали событием кинематографа. Может быть, из-за того, что режиссеры видели в его повестях и романах прежде всего

экзотику, отсылки к мифам, смаковали пейзажи, обряды, чудной для людей иной культуры быт.

Наиболее удачным фильмом я лично считаю экранизацию небольшой повести «След росомахи», изданной в 1977 году (фильм появился года четыре спустя). Она о том, как научный сотрудник Ленинградского института языкознания прилетает на свою малую родину, где не был уже много лет.

Воспоминания о детстве и юности перемежаются со сценами сегодняшней жизни... Повесть получилась горестной, да и фильм тоже. Эпизод, где школьники – чукотские ребята – облепили окна интерната и провожают завистливыми взглядами героя, который отправляется на стойбище, меня каждый раз заставляет поежиться.

Эта повесть перекликается с повестью Валентина Распутина «Вниз и вверх по течению» – и там и там показан человек, что называется выбившийся в люди и пытающийся, спустя время, вернуться к своим корням. Но оказывается, что корни эти почти высохли, да и сам он стал для своей родины почти чужим...

Итог перестройки, на которую Рытхэу возлагал большие надежды и которой помогал, стал для него личной катастрофой. Новые книги не издавали, прежние тоже не интересовали народившихся бизнесменов от литературы. Еще недавно успешный и, мягко говоря, небедный писатель оказался буквально на грани нищеты.

Почти все 1990-е о Рытхэу не было слышно, новые книги не выходили. Казалось, что он и как человек, и как писатель остался там, в советском прошлом, а теперь – доживает.

Но в начале 2000-х вышло несколько его книг на средства тогдашнего губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Правда, в книжных магазинах Москвы, Петербурга и других городов России они не появились – практически весь тираж отправлялся на малую родину писателя.

Я в то время работал в еженедельнике «Литературная Россия», где традиционно обильно печатались рецензии на произведения авторов из республик, автономных округов. Не без труда нашей редакции удалось раздобыть те книги Рытхэу... «В зеркале забвения», «Скитания Анны Одинцовой», «Чукотский анекдот»

Честно говоря, они откровенно уступали тому, что он писал раньше. Может быть, дело было в возрасте, пресловутом увядании таланта, а может, в том, что у книг не было хороших редакторов. Редакторские советы – большая, но теперь для писателя редкая помощь.

Запомнился роман «Чукотский анекдот». По стилю он близок к памфлету – едкий, порой злой, и в то же время очень грустный, почти беспросветный...

Действие происходит на Чукотке и отчасти на Аляске в самом начале 90-х годов. Среди персонажей американский морской биолог Роберт Карпентер и его сестра Сьюзен, глава окружного КГБ Дмитрий Дудыкин, инженер по промыслам Аркадий Пестеров, косторез Иван Кутегин, местный диссидент и кооператор Михаил Меленский, американский эскимос Дуайт Мылыгрок, санитарка Антонина Тамирак, «новый чукча» Владимир Чейвун, пока ещё знатный оленевод Тутай, представители районной и окружной власти. В общем, показан целый мир.

В романе есть приключенческая линия, которая, по-моему, и дала повод Рытхэу назвать роман анекдотом, – отправляющемуся на Чукотку Роберту Карпентеру сестра рассказывает, что их дед, имевший там

до революции торговую лавочку, спрятал золото, замаскировав его под камни, которыми утяжеляют края яранги. Сестра просит Роберта попробовать найти сокровища, и затем эта тема то обостряется, то уходит в тень. В итоге золотые камни обнаружить не удалось, но в селении Улак на берегу Берингова пролива появилась новая пекарня, построенная на деньги Сьюзен...

Местами Юрий Рытхэу сбивается на публицистику (когда пытается сделать исторические обобщения), местами идёт перебор иронии (когда речь заходит о деятельности начальства), иногда бывают убеждённые, откровенно слабые сцены (особенно это касается диалогов Карпендера и его сестры). Но в целом роман полезен и интересен тем, что показывает жизнь далёкого от столиц уголка земли, вновь поднимает вопрос: вред или пользу для малых народов Севера принесли прогресс, стремление сделать чукчей, эскимосов такими же, «как все».

Рытхэу в очередной раз не нашел ответа. Может быть, точного ответа и не существует.

Умер он в своем любимом Ленинграде в 2008 году. Похоронен на кладбище в Комарове. После смерти интерес к его наследию вырос, появились переиздания старых произведения, выходят статьи и монографии, проводятся конференции. Но это уж у нас так водится – к мертвым мы относимся бережнее, чем к живым.

«Я говорю как будто ни о чём...» Георгий Семёнов

О писателе Георгии Семёнове вспоминают нечасто. В основном, как о друге Юрия Казакова, с которым они были очень близки и в жизни, и как художники... Посмертная судьба Казакова завидней семёновской – изредка, но выходят томики переизданий, о нем пишут литературоведы, его рассказы читают, в конце 1990-х был снят так называемый байопик «Послушай, не идет ли дождь...» с Алексеем Петренко и Ириной Купченко в главных ролях.

Да, жизнь Юрия Казакова притягательней для исследователей, Георгий Семенов же прожил на первый взгляд спокойно, без мук и срывов. Написал много, издавался обильно, умер не «преждевременно», хотя и совсем не старым – в 61 год... В который раз приходится задуматься о том, как несчастливая или по крайней мере сложная прижизненная судьба идет на пользу творческому наследию. И наоборот.

Здесь уместно привести слова из очерка писателя Анатолия Курчаткина о Казакове и Семёнове «Поцелованные Богом»:

Поцелуй, которым отметил Господь Георгия Семенова, был любящ и крепок, но без огня, клеймящего художника чудовищной печатью на весь срок его жизни. Поэтому и жить рядом с ним, дружить было одно удовольствие. Он был очень земным человеком. Любил всякие разнообразные человеческие радости, умел наслаждаться ими, умел наслаждаться вообще жизнью. Будь то охота, рыбная ловля, вождение автомобиля, даже и обычные бытовые хлопоты.

...Как и герой моего следующего очерка, Глеб Горышин, Семёнов родился в большом городе и большую часть жизни пытался убежать от мегаполиса, людской толчеи. Ленинградец Горышин после окончания института уехал на Алтай, москвич Семёнов – юный лепщик-модельщик (а с Горышиным они одногодки, оба 1931-го) – в Иркутскую область на строительство города Ангарска.

Уже на закате жизни он вспоминал о годах, проведенных в Сибири, держал в памяти истории, которые собирался преобразить в прозу:

Рассказы написать можно: как жгли сусликов; как били женщину за украденную лопату; как издевались над Колей Цветковым. Как ловили моего героя, давая ему на лапу, и как он устоял.

И, конечно, об Ангаре, набитой мальками, о той, которую даже Валя Распутин уже не видел – мальчишкой он приехал в Иркутск в 56 году, а я там был в 50-м.

В 1960-м Семёнов окончил Литературный институт, первые рассказы опубликовал в следующем году в журнале «Знамя» и сразу приобрел репутацию прозаика-лирика, которая, в общем-то, сохраняется среди историков литературы и поныне. И в этом плане его можно назвать учеником или лучше последователем Юрия Казакова, который, правда, до того как найти свою тему, пробовал писать и о производстве, и в сатирическом жанре, и об ужасах капитализма в США, где никогда не был...

Впрочем, в первой же книге Георгия Семенова, вышедшей в 1964 году в издательстве «Молодая гвардия», есть рассказ «Сорок четыре ночи» (давший название всему сборнику), где действие происходит в Москве, в нем много воспоминаний о военном времени, когда семья героев рассказа (как и самого автора) была эвакуирована на Урал, об умершей при родах матери, о возвращении в Москву, которая только-только вновь становилась городом, а не крепостью... Это рассказ о трех мужчинах – старом отце и двух братьях. На дворе начало 1960-х, война вроде бы далеко, но не помнить о ней герои не могут. Ведь там осталась их жена, мама...

В этом рассказе автор использует прием (прошу извинить за термин), который будет часто виртуозно применять дальше – резкий переход от настоящего к воспоминанию, которое перетекает в другое воспоминание, уводя мысли героя далеко-далеко от сюжета, а на самом деле обогащая сюжет, напитывая новыми мыслями, красками, настроениями. Некоторые критики того времени не принимали таких вольностей в прозе, упрекали автора в «расплывчатости повествования», а то и попросту в «бессюжетности».

Но, по-моему, в этом и заключается соль настоящей прозы – сюжет может быть ничтожным, его, по сути, может и не быть вовсе: так, ситуация, рядовой случай, которые благодаря писателю становятся произведением литературы... Сам Георгий Семенов в одном из интервью так объяснил свой метод:

...Надо идти около явлений, потому что прямой путь – казалось бы, самый близкий – в творчестве, наоборот, самый далекий и непродуктивный. Я говорю как будто ни о чем, а на самом деле – о самом главном. Иду окольным путем к главному.

Точнее всего это получалось у него в рассказах и повестях от первого лица.

Вообще, как мне кажется, Юрий Казаков, Глеб Горышин, Георгий Семенов по-настоящему утвердили «я» в русской прозе. В XIX веке повествование от первого лица, конечно, использовалось. Но оно почти никогда не ассоциировалось с автором. Вспомним, что, например, «Бесы» Достоевского или «Подросток» написаны от первого лица. Но вряд ли кто-то и при жизни Достоевского соединял повествователя и автора. Это совершенно разные люди, повествователь – один из персонажей.

Пожалуй, первым (не считая протопопа Аввакума, но это другая эпоха, другая литература) пошел на умышленное соединение повествователя с автором Тургенев в «Записках охотника». Недаром Некрасов с Панаевым, выпускавшие журнал «Современник», не смогли определиться с жанром «Записок...» и поместили их в «Смесь». Но ведь это рассказы, почти незамутненная беллетристической проза. А «я» как автор, повествователь и нередко главный герой, хотя и больше наблюдающий, чем действующий – вернейший путь к тому, чтобы читатель поверил в достоверность написанного.

Критики отзывались о рассказах Георгия Семенова 1960–1970-х нечасто. В основном упоминали через запятую с другими мастерами рассказа. Ну а что было писать? Хоть и несколько иначе, «на другой ноте», но он работал в том же ключе, что и Юрий Казаков. И шишки, и похвалы достались Казакову в конце 1950-х.

Есть и сегодня писатели такого же, не скажу уровня, а склада, и о них молчат, их не замечают. Пишущим о книгах (на публикации в толстых журналах отзываться практически перестали) нужен конфликт, проблема, экшен, бьющее фонтаном воображение, эпатаж, игра ума, стилистические изыски и интеллектуальные головоломки. Здесь критику или обозревателю есть где разгуляться. Впрочем, и разгуливаться хотят всё реже – в ходу нынче аннотации, а не рецензии и статьи.

Да, писать о рассказах, подобных тем, что писал Семёнов, непросто. Пересказывать – получается какая-то мелочь, чуть ли не байка. Такую прозу нужно читать. Наслаждаться языком, постепенно узнавать героя и тех людей, с которыми свели его обстоятельства. И обязательно начнешь сочувствовать, ощущать их живыми...

Попытаюсь показать это на одном из своих любимых семёновских рассказах – «Объездчик Ещев». Без пересказа не обойтись, без цитат – тоже.

Точную дату первой публикации рассказа мне установить не удалось. Читал я его в сборнике «Утренние слезы» 1982 года. Судя по возрасту героя – это немолодой человек – написан рассказ примерно тогда же.

Итак, герой рассказа на охоте. Прибыл на поезде. Ждет на перекрестке лесных заброшенных дорог, когда полетят вальдшнепы.

Звон стоит в ушах от тишины. Хотя и бормочет в овраге ручей, а в березах трещат и вкочнут обезумевшие дрозды. Какая уж тут, казалось бы, тишина!

Но – тишина потрясающая.

Чудится мне, будто бы только что я бежал, торопился, стоял в очередях, ехал вниз-вверх на лифте, на эскалаторах метро, неся в железных полуавтоматических устройствах с программным управлением, в длинных поездах под землей и на земле, в грохоте и скрежете металла забывая самого себя, и уши мои, привыкшие с детства к этому реву, визгу, гулу большого города, к железно-каменному его дыханию, заложило теперь перевозданной тишиной.

Я убежал! В панике бежал всю свою долгую жизнь от преследующей меня грехотни и улюлюканья, и наконец-то мне очень повезло, как везет иногда гонимому зверю, ушедшему от смертельно опасных собак, сколовшихся со следа.

И тут «выламывается из зарослей на поляну всадник». Сначала он настроен к герою враждебно, почти наезжает на него лошадьёю. «Я, – говорит мужик, тыча себя пальцем в грудь, – объездчик. А фамилия у меня Ещев. Фамилия такая – Ещев, – добавляет он, произнося по складам: – Е-ещев... Понятно?»

Продемонстрировав свою власть, объездчик становится миролюбивей. Тем более что герой (имени его мы так и не узнаем) заморожен лошастью. Не то чтобы лошадь особенная, просто он давно их не видел. И когда объездчик уезжает, на героя накатывают воспоминания.

Вспоминается деревня под Звенигородом, где их семья еще до войны снимала дачу. Мама, приезжающий на выходные, а потом и в отпуск отец, младший брат...

В той деревне, которая и сейчас стоит на московской земле, я впервые в жизни узнал три важные вещи, три, так сказать, явления природы: увидел, как растут ландыши; узнал, что такое рогатка, с которой не расставался хозяйский сын Колька; перестал бояться и полюбил живую лошадь.

Знакомство с лошастью произошло благодаря вот каким обстоятельствам:

Химическая промышленность не выпускала в те времена силоновых лесок, и ни у кого даже в мыслях не было заполучить что-нибудь подобное, что-нибудь эдакое, хоть отдаленно похожее на прозрачную, тонкую и прочную жилку. <...>

Рыбу ловили на конский волос, плетя из него леску и связывая концы рыбацким узлом. Лески эти отличались прочностью, были пружинисты и эластичны в воде. Узлы, конечно, мешали, но с этим мирились, считая само собою разумеющимся и неизбежным злом, избавиться от которого невозможно.

<...> Мой отец, с детства зараженный рыбацкой страстью, перешедшей к нему от моего деда, не мог равнодушно смотреть на проходившую мимо лошадь. Стояла ли та в упряжке, паслась ли спутанная на лугу, тащила ли с дровяного склада тяжелый воз березовых бревен, отец, улучив момент, подходил сбоку к лошадиному крупу с задумчивым каким-то выражением на лице, с деловой серьезностью отбирал в хвосте несколько волос на пробу и, накрутив их на палец, резко, наотмашь дергал.

Ругались, кричали, обзывали последними словами извозчики, грозились вождями, но отец отходил в сторону и, отделяясь тоже возмущенным: «Ну что тебе, жалко, что ль!» – пробовал волос на прочность, оставаясь, как правило, недовольным и бросая жиденькую прядку на землю.

Черные или короткие хвосты его вообще не интересовали. Если же он видел длинный светлый хвост, который носили лошади соловой, например, масти, остановить его было трудно.

Мерин по кличке Соловей подходящей масти как раз обитал в той деревне. И отец героя решил нарвать у него из хвоста волос на леску, из-за чего чуть не случилась драка с конюхом.

На всю свою жизнь запомнил я этого Соловья. Я боялся подходить к нему и всегда узнавал среди других лошадей. Но однажды он шел по деревне, и на этот раз ноги его не были спутаны. Шел, как будто прогуливался от нечего делать, медленно постукивая по тропинке подковами, останавливался, чесался скулой об какой-нибудь деревянный кол чьей-нибудь ограды, поглядывая по сторонам, как бы разыскивая кого-то, и, когда подошел к нашему дому, красивый и большой, с разметанной по шее мочалистой гривой, я обомлел от удивления и мистического какого-то страха, встретившись с ним взглядом. Соловей тоже, по-моему, удивился и, остановившись, стал смотреть на меня. <...>

– Здравствуй, Соловейчик, – сказал я ему, протягивая руку, но не доставая. – Какой ты хороший, как я тебя люблю. Ты очень хороший! И хвостик у тебя хороший. Он у тебя прошел? Не болит? – спрашивал я у мерина, точно во сне, не узнавая своего голоса и своей умиленности. – Не болит, наверное...

Противный папка, надергал волос из хвостика Соловья. Ух, какой противный! Но ты на него не сердись, Соловейчик! Он хороший тоже. Только ему надо рыбу ловить. А у тебя волосы в хвосте очень хорошие. Он на них рыбу ловит... Много-много.

Соловей перестал кивать, задумчиво посмотрел на меня, отвернулся и, ничего не сказав, пошел дальше. Меня больше всего удивило, что он ничего мне не сказал: взял и пошел, как будто я ему ничего не говорил. Пошел так же медленно и лениво, как бы вразвалочку, и звуки его шагов напоминали громкое тиканье больших ходиков. У него, видимо, одна подкова болталась, и она-то издавала это ритмичное и выпадающее из глухого перестука металлическое причмокивание. Тики, а после – таки – замирал стук его шагающих ног: тики-таки...

Через некоторое время герою предоставляется возможность прокатиться на лошади. Вернее – доехать на жеребце Бурке с покоса до конюшни. Поездка кончается падением, но мальчик все равно счастлив. К тому же конюх оказывается вполне добрым дядькой.

Через год началась война, герой оказывается на Урале, дружит с лошадкой Барыней. Потом возвращение в Москву, другая, совсем городская, жизнь...

Герой просится на ночевку в дом, где живет как раз объездчик Ещев. А утром просит:

– Слушай! – говорю я ему вдруг с придыханием. И кровь ударяет в голову. – Слушай, дай-ка мне на твоей Солове прокатиться! Очень прошу тебя. Сколько ездил на лошадях, а в седле ни разу в жизни не сидел. Дай!

Ещев от неожиданности смеется и кашляет, жметесь в каком-то смущении.

– Очень ты тяжеловат будешь для Соловки, – говорит он. – Она к такой тяжести не привыкла, а к тому ж, будем так говорить, устала она. Я с ней, знаешь, сколько сегодня отмахал!

– Да я ж совсем чуть-чуть, – умоляющим голосом говорю я Ещеву. – Вон хотя бы у тебя на огороде, хотя бы кружочек один. Дай, пожалуйста!

Объездчик соглашается; герой делает два круга по огороду и испытывает счастье.

Такой вот вроде бы незамысловатый рассказ. Но очень трогательный, со сложной конструкцией, сплетением воспоминаний. Мы ведь вспоминаем не линейно, а перескакивая с одного на другое, в мыслях совершая молниеносные перемещения во времени. Георгий Семёнов умел писать это мастерски.

Есть в рассказе эпизод, который сейчас, когда я перечитывал «Объездчика Ещева», показался мне трагикомичным и удивительно актуальным. Вот Ещев рассуждает о соседях, купивших недавно «Жигули»:

Что ж получается? Зимой не ездит, весной не ездит, летом за травой для коровы, а осенью, как дожди зарядили, опять в гараж. Была бы асфальтовая шоссе, тогда другое дело. А так что же получается? Ничего не получается у сельского труженика, как теперь про нас говорят. Раньше мы крестьяне были, потом колхозники, а теперь сельские труженики, или, как это еще, – труженики полей. Ты нас хоть как назови, а если дороги нет, то «Жигули» нам совсем нельзя иметь. Я бы так и спрашивал: «Дорога есть асфальтовая? Есть – покупай, бери. Нет – подожди». А как же? Все ж таки вещь дорогая и государству кое-чего стоит, верно? Во-о... Я шучу, конечно. Но все ж таки, будем так говорить, несправедливо это.

Шутит он или не шутит, а дороги-то и в самом деле нет. И главное – никому не известно, когда она будет.

В творческом наследии Георгия Семёнова не только рассказы и небольшие повести. Он писал произведения крупной формы, действие которых происходит чаще всего в его родной Москве.

Советую прочесть повесть «Уличные фонари» (1975) о том, как легко совершить ошибку, которая ломает судьбу, разъединит любящих людей; роман «Городской пейзаж» (1983), в котором очень колоритно показаны типажи того периода, что был назван «развитым социализмом», а оказался его закатом; роман (или большая повесть) «Ум лисичы» (1986) о трагической судьбе молодой женщины, которая исповедовала личную свободу и независимость. Печальна и лирична последняя повесть «Путешествие души», вышедшая уже после смерти Георгия Семёнова, в 1993 году.

Переизданий его прозы я не нашел. Судя по всему, последняя книга – «Прохладные тени» 2013 года, в которую вдова писателя Елена Владимировна собрала неопубликованные ранее рассказы и «записки разных лет». Есть среди них и такая:

Великие писатели обладают удивительной судьбой: они словно бы никогда не рождались и никогда не умирали – они прошли по времени и пространству, оставив людям свое мироощущение, с которым люди живущие, рождающиеся и умирающие могут соотносить свои мысли и поступки, соображать, как им жить и как умирать.

Но закончить хочу горькими словами из очерка Анатолия Курчаткина, с которыми солидарен:

...Выпадение из духовной жизни общества таких явлений, какими были Юрий Казаков, Георгий Семенов, – это то же самое, как отказ от цивилизационных достижений XX века: телефона, самолета, радио, телевизора... Разве что в случае утраты этих достижений мы тотчас почувствуем, насколько изменится наша жизнь, потери же культурные не так явственны, вернее, даже так: их не замечаешь. Как свойственно человеку не замечать внутренних болезней, пока они не дадут себя знать наружными проявлениями. Можно сказать, цивилизационные утраты – утраты внешнего, культурные – внутреннего. Так, по утверждениям ученых, СПИД не дает себя знать до того, как организм не начнет реагировать на пустячную простуду тяжелейшими пневмониями.

Не в дамках. Глеб Горышин

В одной из статей я читал о двух «оттепелях» – первой, начавшейся вскоре после смерти Сталина и окончившейся в 1958-м, и второй – 1960-х. По-моему, эта теория справедлива. И вот еще что интересно: именно первая оттепель дала русской (советской) культуре тех, кого в декабре 1960-го критик Станислав Рассадин назовет «шестидесятниками». Сами 1960-е почти никого не дали. Вернее, таланты-то были, а ворота уже закрыты, небольшое пространство оказалось заполненным: план по свободомыслящей молодежи выполнен. Остальные – Вампилов, поэты Бродский, Губанов, Высоцкий, Чухонцев, прозаики Маканин, Довлатов, да и многие другие долгое время должны были ждать своей очереди, удовлетворяясь редкими публикациями. Нежелающих удовлетворяться манила или эмиграция, или сам- и тамиздат, места не столь отдаленные.

Исключения, конечно, были, но тенденция сохранялась до самых 2000-х. И наша литература потеряла несколько поколений писателей – до читателя доходили голоса не поколений, а пробившихся одиночек.

Глебу Горышину в этом плане повезло. И с годом рождения (1931), и с выбранной профессией журналиста, и с тем, что из журналиста он очень быстро вырос в писателя – в мартовском номере журнала «Нева» за 1957 год вышел его дебютный рассказ «Лучший лоцман», а на следующий год и книга, вызвавшая отклики...

После окончания в 1954-м Ленинградского университета Горышин уехал на алтайскую целину, стал работать в газете. Писал статьи и репортажи, находил, может, поначалу и подсознательно, сюжеты будущих повестей и рассказов.

С Алтаем Горышин будет связан большую часть жизни. Здесь во время одной из командировок познакомится с Шукшиным, и тот предложит ему сняться в эпизоде фильма «Живет такой парень». Эпизод крошечный, но колоритный: главный герой Пашка Колокольников в исполнении Леонида Куравлева пытается познакомиться с молодой женщиной, выбивающей матрас. И тут в калитке появляется здоровенный, высоченный мужчина. Это и есть Горышин 1963 года, уже автор нескольких книг. Впрочем, и у режиссера Шукшина только что вышел сборник рассказов «Сельские жители».

Позже, наряду с Василием Беловым, Горышин станет самым близким Шукшину человеком в писательском цеху. (С Астафьевым и его вологодским окружением Василий Макарович познакомится в 1973-м, во время съемок «Калины красной», личное знакомство Шукшина и Распутина для меня под вопросом.) Сохранилась переписка двух писателей, и в ней – шукшинское признание: «Люблю твою честную прозу».

Горышин писал в основном рассказы и небольшие повести. Как показывает история, произведения этих форм недолговечны. Русскому читателю запоминаются романы, широкие литературные полотна. Автор рассказов, писавших во второй половине прошлого века, кого бы часто переиздавали, кого бы действительно помнили, можно пересчитать по пальцам...

А впрочем, и этого не получается. Рассказчик Шукшин, наверное, не был бы так популярен без Шукшина режиссера и актера, Солженицын хоть и ассоциируется с «Одним днем Ивана Денисовича» (большим, но действительно рассказом), «Матрениным двором», но как знать, помнили и читали бы его сейчас, продолжи он писать только рассказы и повести. Несколько великолепных рассказов Валентина Распутина заслонены его крупными повестями, а рассказы Олега Куваева – романами «Территория» и «Правила бегства»; у Виктора Астафьева почти все рассказы собраны в цельные повествования – «Последний поклон», «Царь-рыба»...

После публикации моего очерка о Виле Липатове, некоторые читатели упрекнули меня в том, что я даже не упомянул о его замечательных рассказах. Да, виноват. Но очерк небезразмерен – я выбрал разговор в основном о крупных вещах Липатова.

Стоит назвать Василия Быкова, писавшего на стыке рассказа и повести, Юрия Казакова, которого, к сожалению, издают и читают всё меньше и меньше. Вряд ли читают теперь рассказы 1950–1970-х Юрия Нагибина. Что говорить о наследии Евгения Носова, Сергея Никитина, Сергея Антонова, Георгия Семёнова, Виктора Потанина, Ивана Уханова... В числе если не забытых, то полузабытых или забываемых рассказчиков и Глеб Горышин, писатель большой художественной силы.

Он если не родоначальник, то уж точно один из первых, кто ввел в послевоенную русскую литературу городского жителя, крепкого,

смелого парня, отправляющегося осваивать пространство страны. Многие герои первых его сборников очень напоминают самого автора. И внешне, и по возрасту, по роду занятий. Написаны, как правило, от первого лица. Горышин отправился на Алтай как журналист, но после перепробовал множество профессий, изъездил всю Сибирь (и не только). Он, видимо, был буквально одержим охотой к перемене мест. Таки-ми и создал многих своих героев.

Наверное, программным или типическим можно назвать его рассказ «Дамба», вошедший в дебютную книгу «Хлеб и соль» 1958 года. (Цитаты из этой книги, так как позже автор вносил в рассказ исправления.)

Главный герой, молодой журналист, живет в поселке Заречье напротив Бийска. Моста еще нет, люди переходят реку по временной дамбе. Ближится весна, герою, парню в расцвете сил, хочется влюбиться.

Я ходил по бийским улицам, по заводам и учреждениям, выполнял свои дела и каждую минуту готов был влюбиться. Я был совершенно к этому готов.

И возможности для этого были. Как пестрые птицы, стрекотали на новых кирпичных стенах ленинградские девчонки, приехавшие в Бийск на стройку. Неразлично завлекательны были официантки в ресторане «Бия», куда я ходил обедать. Любовь должна была состояться вот-вот.

Однажды я встретил на улице Таню.

Она тоже, судя по всему, готова влюбиться.

Таня смотрела на меня близко и влажно, глаза ее начинали косить, сползались вместе. Я знал, что так бывает от любви. От любви ко мне. Я не мог ошибиться.

Герой приводит ее к берегу Бии и показывает на свое Заречье.

– Танюшка, – говорил я, – что же нам делать? Ведь взорвут дамбу, и я останусь там, в Заречье. Как же я там буду? Танюшка, вон видишь изба? Она маленькая. Но нам хватит. Ведь хватит? Вот бы нам ее. Пока пройдет лед. Я бы ловил рыбу, а ты бы варила уху. Танюшка, это была бы хорошая жизнь. А? Как ты думаешь?

– Слишком хорошая, – сказала она.

Романтика, рай в шалаше... Но в жизни у Тани оказывается маленький сын.

Сереже было полтора года. Он все смотрел на меня и ни разу не улыбнулся. Мои ухищрения понравиться Сереже были жалки. Он отверг их. В комнате едко пахло пеленками.

Когда мы целовались с Таней, Сережа начинал беспокоиться. Ему явно не нравилось это дело. Он полз по дивану и норовил сесть между нами. Таня хватала его, прижимала к себе и целовала отрывисто и хищно.

– Сержик, я тебя люблю, – говорила она ему исступленно и смотрела на него потерянными глазами и отсаживала его подальше от нас.

Мы снова целовались, потому что я не знал, что говорить. Сережа снова полз к нам поближе.

Я встал, подошел к форточке и долго там стоял.

– Скоро я уложу его спать, – сказала Таня. Сказала откровенно и, мне показалось, зло.

Я вернулся на диван, и Таня рассказала немного о своем муже. Он работал инженером на стройке, год назад попал под машину, умер и теперь смотрел на нас со стены спокойно и отрешенно. И я тоже вдруг стал спокойный.

– Он был хороший, – сказала Таня. – Он ко мне так относился... просто... не знаю...

– Ну что ж, – сказал я, – опять замуж выйдешь.

– Да... какие там мужья... – Сказала с тоской так, что я вдруг ощутил свою щепотку молодость, нельзя мне было вмешиваться в эту жизнь, что совершалась рядом со мной, в жизнь чужой мне женщины, Тани.

На стройке кончался день. Уже кто-то распахнул окно, и к нему приникла радиола, и привычно вступила в свои права «Муча». Воздух розовел. Голоса перемешались. Ленинградские девчонки в лыжных штанах, в беленых известью ватниках и кокетливых косынках пробежали мимо окна. С достоинством прошли парни в одинаковых, воробьиного цвета кепочках. Тонко гукнул паровозик, привезший с четвертого участка три вагона девчонок и парней.

Я оглянулся. Комната мне показалась темной. Таня по-прежнему сидела на диване. Сережа тоже. Я почувствовал вдруг, что все зря.

«Придумал, опять придумал. Ничего нет. Ничего не может быть», – сказал я себе.

Мягко гомонила за окном стройка. Мне очень завелось туда. Но уйти теперь было нельзя. Я сидел и ждал. И Таня тоже ждала. И оба мы знали, чего ждем, и знали все друг о друге. И нельзя уже стало ничего говорить, потому что все бы было не то.

А рядом, за форточкой, совершалась иная, моя прежняя легкая жизнь. До чего она была молодая, та жизнь. Зачем я ее бросил? Зачем? Если бы мне опять туда, чтобы просто идти и смотреть на небеса. Далеко ухнул взрыв. Рвали лед на Бии.

– Пойду, пожалуй, – обрадовался я. – А то дамбу взорвут, ночевать негде будет.

– Вы можете ночевать здесь, – сказала Таня с отвращением.

Я стал надевать пальто. Теперь я уже не мог остаться. Не надо ей было ничего говорить.

В своей избушке в Заречье, герой пишет до утра статью или очерк – «работает», но желание «любить» не проходит:

– Дурак, – говорил я себе. – Дурак!

Утром, едва встав, я помчался к дамбе. Я не видел ни неба, ни солнечного дня, занимавшегося над Бией. Я видел только два женских глаза. Они косили, сползались вместе от любви ко мне. Я мог их потерять.

Дамбу уже взорвали в трех местах. Милиционеры, отбившие натиски зареченцев, которым, как и мне, была необходима дамба, теперь отдыхали душой. Воронки были наполнены белым ледяным крошевом. Каждый кусок льда в воронках шевелился сам по себе, ерзал и шуршал. Я потрогал крошево подошвой своего сапога.

Я сам отдал себя в руки милиционерам, которые ждали меня на берегу.

Кое-как уговорив лодочника переплыть реку по шуге, герой добирается до Таниного дома.

...У Тани сидел мой знакомый крановщик со стройки. Я писал о нем очерк и снимал его для газеты. Сережа сидел на кровати и серьезно смотрел на него.

– Пришел интервью брать? – сказал мне крановщик без заметного дружелюбия.

– Да, – сказал я, – пришел брать. – И сделал глазами быстрый выпад, чтобы поймать враспloh Танины глаза: что там в них. Нет, не вышло. Ее глаза ушли в сторону от меня. И все время они уходили.

Мое довольство собой и своей жизнью обращались понемногу в неподвижную ярость.

«Зачем, – твердил я про себя, – зачем мне все это?»

Крановщик был спокоен.

– Ну, – сказал он мне, – все пишешь? – Он взял со стола бутылку с пивом, подцепил двумя пальцами железную пробочку и сколупнул ее на сторону.

– Пойдем, – сказал я Тане, – погуляем.

– В кино поехали, – сказала она и посмотрела одинаково на меня и на крановщика. Я не мог этого вынести. Сказал: «Сейчас приду» и пошел вон из комнаты, старательно ставя ноги. Таня вышла за мной на лестницу.

– Пойдем, – сказал я ей. – Пойдем. Ну, пойдем.

– Ты хороший парень, – сказала Таня. – Только какой-то ты... Все работают, а ты чего-то ходишь, пишешь... Он за меня, знаешь, душу отдаст.

Я медленно пошел по лестнице, потом по улице. Все казалось, что сейчас меня догонят и позовут обратно. Но никто меня не позвал. Я вышел на берег и стал смотреть. Что-то показалось на Бии знакомое-знакомое. Показалось и унеслось прочь. Уплыла дамба. Я не устоял и побежал за ней следом, да скоро бросил. Наплывали всё новые, незнакомые мне льдины. Все они торопились в новые, незнакомые места.

Припомнился мне парень-перевозчик. Как он сказал: «По Бии не поплаваешь – жизни не узнаешь». Эти слова все отдавались в голове: «Жизни не узнаешь, жизни не узнаешь...»

Почему я остался опять один? Почему не подружился с Сережей, серьезным мальчиком? Почему отступил перед крановщиком? Почему я испугался своей любви? Ведь она могла быть. Могла...

А теперь ее нет.

– Жизни не узнаешь, – сказал я громко. – Не узнаешь жизни. – Захотелось побежать и что-то вернуть. Но было поздно бежать и некуда.

Я стоял и смотрел. Рядом со мной стояли сосны и тоже смотрели. Ветки на них шевелились, на ветках шевелились иглы. Каждая игла норовила поглубже воткнуться в теплую синь. Каждая игла топорщилась, наливалась веселой зеленой решимостью: жить!

Я привел такие обширные цитаты для того, чтобы, с одной стороны, показать язык Глеба Горышина, внешне простой, но с массой оттенков, намеков, невысказанного в лоб, а с другой, чтобы не пересказывая передать вот эту характерную для него ноту: да, хочется любви, хочется семейного уюта, но свобода важнее. Ведь женщина, ребенок, хозяйство – это якорь, а то и камень на шее. «Жизни не узнаешь» можно трактовать по-разному. В том-то и секрет настоящей прозы. «Жизни не узнаешь», если будешь бросаться такими Танями или соединишься с одной из таких?

Неслучайно герой, мечтая о жизни (вдвоем) в избушке, о рыбалке, сказал: «Она маленькая. Но нам хватит. Ведь хватит? Вот бы нам ее. Пока пройдет лед». Здесь ключевое слово «пока». А что там будет дальше? Вернутся в Бию вместе? Герой уедет дальше по своим журналистским делам?... Позже, в переиздании, Горышин усилил эту ноту временности: «Вот бы нам в ней пожить. Пока пройдет лед».

В рассказе важен и крановщик, которого обнаруживает герой дома у Тани. Она уверена, что этот крановщик за нее «душу отдаст». Может быть.

Но в основном герои Горышина не знают, кому отдать душу. Их распирает от собственной силы, сознания свободы. В то же время они тяготеют ею. Они работают на износ, но и это не помогает остепениться, успокоиться, бросить якорь.

Один из самых страшных его рассказов – «Просека» (1961). Главный герой по прозвищу Толя большой, это настоящий богатырь. Это

трудяга, это очень сильная личность. Но ему полшага до того, чтобы превратиться в зверя.

Да и работа у Толи большого хуже звериной – он вырубает родную тайгу под ложе Братского водохранилища...

Горышин написал много. Писал разное. Несколько названий того, что прочесть, по-моему, нужно обязательно: «Тихие воды», «Запонец», «Ударение на первом слоге», «Ванька Авдюшкин», «Снег в октябре», «Сад», «Весенняя охота на боровую дичь»...

Собрания сочинений, кажется, нет, в Интернете многого не найдешь. Последняя прижизненная книга прозы вышла, если не ошибаюсь, за девять лет до его смерти, в 1989 году. Потом были только журнальные и газетные публикации, сборники стихотворений, изданные за свой счет или с помощью друзей.

Последние годы жизни он провел в родном Ленинграде, ставшем Санкт-Петербургом, в поселке писателей Комарово и вепской деревеньке Нюрговичи (в той ее части, что называется Гора) в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этой деревеньке, ныне обезлюдившей, и ее окрестностях – последнее его произведение и первый роман – «роман с местностью» – «Слово Лешему», изданный посмертно и мало кем замеченный в эпоху постмодернизма, иронии, стёба.

В очерке 1984 года «Возвращаясь к напечатанному» Глеб Горышин заметил:

Многим авторам, особенно молодым, кажется, что с помощью иронической прозы можно кратчайшим путем пройти в литературные дамки: сначала ироническая проза, а там, глядишь, и гротеск, и фантазмагория, и кто-то по небу полетел, как у Гарсиа Маркеса... Стоит только возвыситься над реализмом ползучим, вознестись в сферу чистой иронии – и в дамках, можно усваивать повадки мэтра...

Сам Горышин давно уже не в дамках, да и вряд ли в них был. Реализм по-прежнему не в чести у большинства читателей. Но я надеюсь, что есть немало и тех, кто любит его честную прозу. Или вдруг откроет для себя, благодаря этому очерку.

Он вернётся. Владимир Маканин

При жизни о его книгах много писали и спорили. После смерти наступила резкая тишина. Надеюсь, временная – нужна пауза, передышка. Без его произведений, написанных в 1960–2000-е невозможно понять, что произошло с нашими отцами, с нами самими. Но пауза может перетечь в забвение, если не напоминать, что такой писатель был, что книги его рядом с нами...

Владимир Семенович Маканин родился в страшном 37-м. Сотни тысяч людей были расстреляны и отправлены в лагеря. И тот же 37-й стал в СССР поразительно урожайным на будущих писателей – Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Виктория Токарева, Андрей Битов, Валентин Распутин, Игорь Ефимов, Владимир Гусев, Геннадий Шпаликов, Александр Вампилов... В творчестве большинства из них виден знак того года, след войны, которую они пережили детьми.

И первая же повесть Владимира Маканина «Прямая линия», опубликованная в 1965-м, полна воспоминаний главного героя, молодого ученого, о полуголом детстве, о жестокости, несправедливости, о «случайном друге Лёвике», которого застрелил сторож возле бахчи.

При этом герою хочется веселиться, танцевать, влюбляться, совершать открытия.

Действие повести разворачивается в Москве во время Карибского кризиса, в ожидании новой большой войны. Люди скупают продукты, фронтовики вспоминают форсирование Днепра. А сам герой работает в НИИ, где занимается расчетом запуска ракет. Испытание ракеты заканчивается трагедией, герой винит себя и ждет ареста...

Нынче нам преподносят советскую литературу как почти сплошной соцреализм. Но открывая книги того времени, видишь, сколько в них ставилось сложных вопросов, поднималось проблем, как неоднозначны ситуации, в которые попадают герои, их поступки. Георгий Семенов, Виль Липатов, Александр Рекемчук, Виктор Лихоносков, Анатолий Курчаткин, Руслан Киреев, Анатолий Афанасьев, Владимир Курносенко. А сколько еще полузабытых или забытых, в том числе и при жизни, замечательных, сложных писателей...

У Владимира Маканина и многих его сверстников проблемность не выпирает. Так оно, по-моему, и должно быть – художественная проза не публицистика, не манифест. Правда, за это их и ругали, называли «бытовиками», упрекали за мелкотемье. Один из лучших критиков того времени Игорь Дедков с неодобрением констатировал: «...Новый главный герой – человек по преимуществу мелкий, часто непорядочный или, говоря по-старому, нечистоплотный – рассматривается автором не то что объективно, а как бы изнутри, что обеспечивает ему невозможное авторское понимание и сочувствие».

Но писатели, как правило, идут вслед за действительностью. Владимира Маканина не причисляют к шестидесятникам, но ранние его произведения по духу вполне вписываются в ту эпоху. И «Прямая линия» (заканчивается там всё неплохо), и повести «Безотцовщина», «Солдат и солдатка». Там отчетливо слышится эхо войны, герои готовы жертвовать собой, есть место романтике. А потом и герои, и темы, и даже стиль произведений Маканина изменился. Ведь изменилось и общество.

Наверное, уместно вспомнить последний фильм Геннадия Шпаликова «Ты и я», последние рассказы Василия Шукшина «Други игрищ и забав», «Ночью в бойлерной», «Привет Сивому!»... Персонажи без корней, с не сложившейся жизнью, погрязшие в быте, заперевшиеся в своих квартирах, а если и вырывающиеся, то находящиеся там, снаружи, гибель.

Человек эпохи застоя – достаточно обеспеченный, сытый, но в то же время томящийся, – по-моему, отчетливее всего показан в прозе Маканина того периода. С натуры. «Человек свиты», «Отдушина», «Антилидер», «Гражданин убегающий», «Полоса обменов»... В романе «Портрет и вокруг» 1978 года рассказывается о жизни творческих людей, но творчество их какое-то вымученное, что ли, ставшее профессией. Есть в этом романе очень точное, на мой взгляд, определение времени – «мебельное»; я помню его.

Настоящий писатель чувствует, когда увязает в теме, повторяется в персонажах. И, видимо, поэтому реалист, «бытовик» Маканин изменился – написал необычную для себя повесть «Где сходится небо с холмами», в которой есть и поэтичность, и мистика, и мифологичность, да и место действия в отличие от большинства предыдущих произведений не Москва, а уральский поселок. В 2016 году за эту повесть Владимир Семенович был удостоен премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика».

На начавшуюся перестройку он откликнулся тремя повестями – «Утрата», «Один и одна» и «Отставший», опубликованными в 1987-м. Герои – стареющие люди, у которых было бурное прошлое – шестидесятые. Сейчас же они хоть и пытаются быть активными, не отстать от жизни, но время сильнее. Время оставляет их в прошлом.

В 1990-е новые произведения Маканина в печати почти не появлялись. Многие писатели тогда замолчали... А в 1998-м вышел роман «Андеграунд, или Герой нашего времени», герой которого, Петрович, не одно десятилетие стремившийся опубликовать свои произведения, теперь, когда стало можно, отдал рукописи торговке пирожками, сделался «бывшим писателем». Стал именно жить, а не писать о жизни. Причем жить на краю – Петрович бомж, он сводит старые счета, убивает стукача Чубисова.

Сидели рядом. Я тупо и пьяно свесил голову книзу; и также свои руки – книзу, к носкам, к ботинкам – в расслабленном ожидании алкогольного поила (все равно какого, лучше водку, открой же скорей). Моя опущенная правая рука взяла нож. Но я не раскрыл. Настороженно подождал.

– Ладно, – Чубик вынул бутылку из кармана; стал сдергивать металлическую пробку.

Он поддевал ее ногтем. Не сумев, он поискал в кармане ключи на связке, приладил один из ключей, р-раз – и сорвал скорым движением водочную белую шапочку. Он держал бутылку наготове. А я уже раскрыл нож. И завел правую руку в его сторону. Оставалось приблизиться. Я потянулся как бы к бутылке:

– Погоди... – сказал он.

– Чего ждать?

– Расскажи. О писателях расскажи. Ты интересно рассказываешь... – Он, видно, уже включил магнитофон. В темноте каждый мог делать, что хочет.

Он хотел, чтобы я пил теперь глоток за глотком, неторопливо дурел и рассказывал. (Опасался, что я выпью полбутылки сразу.)

Я потянулся.

– Да подожди же!.. – Он отвел бутылку в темноту.

Но я уже достаточно сблизился, прижался (оттолкнуть не успеет). И сразу, простым движением (за его лопаткой, как в знакомое место) я вогнал нож, ощутив острием провальную пустоту человеческого сердца. Он пискнул, как крыска в углу. “Ма-мма-аа...” – еще протянул он. Потом бился сколько-то, но уже беззвучно. Просто содрогался телом. Я вынул кассеты, переложил в свой карман. Такой маленький магнитофончик. Я все забрал, проверил. Посидел в темноте. Бутылка куда-то укатилась, под ящики, за детскую коляску. Я не стал ее искать. Я ведь к ней не прикасался. Водки я не хотел.

Не хотелось и глотка сделать. Все произошло разом. (Как упавшее спелое яблоко.) Чувство сделанного дела, ничего больше. Тихо спустился по лестнице.

Пустые ночные улицы. На каком-то углу я вспомнил, как вогнал нож, и сам звук хлюпающей крови (возможно, мнимый) вызвал мгновенный позыв и рвоту. У крови под ножом был звук.

Но прошел еще сто шагов, стало легче. Вырвало еще раз, уже до конца. До дна. Я опять был человек. Моя жизнь, какое-никакое мое бытие, а с ним и мое «я», а также мои былые тексты (что еще?..) возвращались теперь к себе домой, шли вместе сереньким асфальтом, шли рядом и как бы держась за руки – как шли бы домой сбереженные в чистоте дети.

Затем, в начале 2000-х, последовал цикл рассказов, позже ставших главами романа «Испуг». Он о старом человеке, но не лежащем в кровати, обложенном подушками, – маканинский Петр Петрович очень

активен, сладострастен; он называет себя «сатирмэном»... Важно, что эротические похождения героя происходят на фоне политического кризиса осенью 1993-го. Многие из этих рассказов вызвали негодование даже у поклонников Маканина. Но дальше было больше.

В 2008 году вышел «Асан», роман о войне в Чечне. Майор Жилин, занимающийся снабжением, приторговывает горючим, водится с боевиками, в какой-то степени объединяет две воюющие стороны. Тема важная, глубокая, а вот реалии, степень достоверности...

«Испуг» раскритиковали сверстники Маканина, «Асан» – молодые писатели, прошедшие Чечню. Да и простые читатели не молчали. При чем критика часто переходила в брань и оскорбления. Такой бури в нашем обществе произведения литературы с тех пор не вызывали. Кажется, их почти не замечают.

Последней большой вещью стала повесть «Две сестры и Кандинский» (2011) о знакомой, практически родной Маканину среде, о тех людях, что его окружали, – московских томящихся интеллигентах. В повести очень много говорят – она вся построена на диалогах – и не могут наговориться.

А вскоре Владимир Семенович исчез. Даже редакторы не знали, где он, что с ним. Потом выяснилось: тяжело заболел, дочь забрала к себе в Ростовскую область. Там в 2017-м его и похоронили на маленьком сельском кладбище...

Придет время, когда нам потребуется оглянуться назад, попытаться осмыслить, что там было, в 1970-е, откуда мы, нынче очень взрослые люди, родом. И тогда Владимир Маканин вернется к нам со своими книгами-документами – «Повесть о Старом поселке», «На первом дыхании», «Ключарев и Алимущкин», «Отдушина», «Антилидер»...

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт. Работал начальником производственного отдела на крупном промпредприятии, действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

Автор 14 сборников прозы и публицистики. Лауреат литературных премий «Серебряный Витязь» (2016), трижды «Болдинская осень», премии журнала «Нижний Новгород» и четырежды премии г. Нижнего Новгорода, финалист международных премий – Бунинской (2016) и им. К.Н. Леонтьева (2022).

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ В ЖИЗНИ ДЖЕКА ЛОНДОНА

К 150-летию со дня рождения писателя

*Дешёвая бумага всё же прочнее серого мозгового вещества,
а карандашные заметки хранят мысль лучше памяти.*

Джек Лондон

А ещё Джек Лондон говорил, что «Красота – абсолютна. Человеческая жизнь, вся жизнь покоряется красоте. Красота уже существовала во Вселенной до человека. Красота останется во Вселенной, когда человек погибнет, но не наоборот. Красота не зависит от ничтожного человека, барахтающегося в грязи».

Он с детства, со времён острой бедности и усилий по борьбе с ней, познакомился с «грязью», в которой барахтался, чтобы она отпустила его из своих цепких лап, засасывающих, как болотная тина. И, верно, потому он так тонко чувствовал освежающую силу красоты.

«Лучше пусть я буду пеплом, чем пылью. Пусть лучше иссякнет моё пламя в ослепительной вспышке, чем плесень задушит его!» – заклинал Джек Лондон всю свою сознательную жизнь, настойчиво стремясь выбраться из «грязи» на поверхность, оказавшейся той же грязью, только, возможно, более твёрдой по составу.

И потому Джек Лондон как писатель признан во всём мире, а в Советском Союзе занимал второе место по популярности после сказочника Андерсена. В СССР вышло 956 изданий произведений Лондона. Общий тираж – свыше 77 миллионов экземпляров.

В СССР Джека Лондона часто сравнивали с Максимом Горьким. Та же безотцовщина с рождения, та же равнодушная к сыну мать.

От Джека (уменьшительное имя от Джона) вообще отказался отец – ирландец Уильям Чейни, адвокат и астролог, от которого учительница музыки и почитательница спиритических сеансов Флора Веллман в гражданском браке прижила сына, ставшего в дальнейшем знаменитым писателем мирового уровня Джеком Лондоном. Он через четверть века в романе «Морской волк» подшучивал над ирландцами и своим происхождением: «Верно, какой-нибудь ирландец прятался у твоей мамы за поленницей. <...>Я вашего брата знаю. Вы там все упрямы, как ослы, и злы, как черти».

Чейни бросил Флору ещё до рождения сына, но она быстро вышла замуж за фермера и ветерана Гражданской войны Джона Лондона, усыновившего родившегося через месяц сына и давшего ему своё имя. Отчим оказался добрым и покладистым человеком, которому Джек был многим обязан, и прежде всего – привитой с детства добротой. Без материнского тепла Джек рос нервным и впечатлительным. О матери он почти всегда будет говорить в третьем лице, отмечая «В глазах у неё навсегда застыли горечь и разочарование». Отчима, умеющего многое делать руками и обучающего пасынка, Джек полюбит всей душой безотцовщины. Он писал о красивом фермере с окладистой бородой так: «Я не знал людей достойнее моего отца. Он был самым лучшим – и в то же время слишком хорошим, чтобы победить эту бездушную жизнь». У сорокалетнего отчима были две достаточно взрослые дочери от первого брака, и они души не чаяли в сводном братишке. Старшая из них заменила родную мать и научила сводного братика с младых лет читать и писать.

Биографии знаменитых людей неопровержимо свидетельствуют о теснейшей связи раннего обучения чтению с дальнейшими успехами в жизни. Таковы, например, русские Александр Пушкин и Сергей Есенин, химик Дмитрий Менделеев, немец Карл Гаусс, американцы Норберт Винер, Билл Гейтс, к 7 годам прочитавшим толстый том энциклопедического словаря.

Джек читал запоем и беспорядочно. Чтобы больше получать книг в библиотеке, он записал в неё всю семью. В ту пору ему везло: библиотекарша Айна Кулбрит первой разглядела в нем талант писателя. Айна помогала 14-летнему Джеку с выбором книг, разговаривала с ним о литературе, знакомила с интересными людьми из писательского круга, а главное – поощряла писать.

Мать Джека, имея авантюристический характер, создавала бесчисленное количество схем *быстрого* обогащения, и, в конце концов, совсем разорила ферму мужа. Они переехали в Окленд, городок в Калифорнии на восточном берегу залива Сан-Франциско, по другую сторону от Фриско (простонародное название Сан-Франциско). Здесь Джек уже с десяти лет разносил газеты и лёд по богатым домам, расставлял кегли в местном боулинге. В четырнадцать он трудится у конвейера консервного завода в Западном Окленде, всю зарплату отдавая родителям. «Во всем Окленде не было ни одной лошади, которая пахала бы столько же, сколько я», – вспоминал позднее писатель.

Работа была очень тяжёлой, и он ушёл с завода, чтобы, по его признанию, «окончательно не превратиться в рабочую скотину». Времена своей младой юности он прекрасно описал в автобиографическом романе «Мартин Иден». Джек, одолжив у друга приличную сумму денег, купил подержанную шхуну и стал «устричным пиратом». С сотоварищами он тайком опустошал сети законопослушных граждан в заливе Сан-Франциско и продавал их в рестораны. Крепкий, с ирландским характе-

ром пятнадцатилетний подросток вполне освоился во взрослой жизни и даже завёл себе подружку. Благодаря отважному характеру Джек вскоре сделался «королём пиратов». И тут он впервые столкнулся с первым выбором: тамошний рыбнадзор (назовём его так) предложил ему стать их сотрудником. Отголоски этого выбора нашли своё косвенное отражение в судьбе Белого клыка из одноименной повести «Белый клык». «...в волчонке бушевали два инстинкта: один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошёл на сделку с самим собой...» Джеку тоже пришлось покориться, иначе он сел бы надолго в тюрьму. Как профессионал он помогал ловить итальянских и мексиканских браконьеров, но не выдавал своих ирландских «коллег». «Плавильный котёл» в США работал со скрипом. Этому периоду жизни Джека Лондона посвящены «Рассказы рыбацкого патруля».

В эту пору Джек пристрастился к спиртному, и эта склонность впоследствии вылилась в хронический алкоголизм, с которым Джек упорно боролся. Естественно, болезнь во взрослом возрасте привела к заболеванию почек, пристрастию к наркотикам, снимающим боль, а потом и к смерти... Но есть и другое мнение историка Джона Манчини. «Он умер в возрасте 40 лет из-за многочисленных проблем со здоровьем, ставших прямым результатом жизни на пределе возможностей, какой он жил и в 1904 году во время своих походов в Корею»... Но мы забежали вперёд.

Семнадцатилетним (1893 г.) Джек оставляет патрульную службу и нанимается матросом на промысловую шхуну «Софи Сазерленд», отправляющуюся на промысел котиков в Баренцево море возле Чукотки. Первое плавание дало Лондону много ярких впечатлений, которые легли затем в основу многих его морских рассказов и романа «Морской волк». Первый свой писательский опыт Джек воплотил в очерке «Тайфун у берегов Японии», который послал на конкурс в местную газету. Очерк был опубликован 12 ноября 1893 года, завоевал первый приз и послужил началом его литературной карьеры.

Вернувшись из семимесячного плавания, 19-летний Лондон пересмотрел свои идеалы и твёрдо решил, что будет зарабатывать умственным, а не физическим трудом. К этому времени относится его кредо: «Истинное назначение человека – жить, а не существовать». После упорной подготовки окончил лицей и поступил в университет, однако не смог заработать достаточно денег, чтобы оплачивать учёбу, и через год расстался с мечтами об университетском образовании.

Но до славы и жизни на литературные гонорары было ещё далеко, и, чтобы не умереть с голоду, он какое-то время был рабочим на джутовой фабрике, гладильщиком в прачечной и кочегаром. Эти перипетии красочно показаны в романе «Мартин Иден» и автобиографической повести «Джон Ячменное зерно».

На своём горбу (скажем так) ощутив все прелести капитализма с его социальным неравенством и резким расслоением общества на бедных и богатых, он проникается идеями социализма. Тем более что на лекции по истории Парижской коммуны он знакомится с Анной Струнковой, членом социалистической рабочей партии США со старших классов школы. Анна – симпатичная еврейская девушка, в девятилетнем возрасте вместе с семьёй эмигрировавшая из белорусского городка Бабиновичи, оказывает на него огромное влияние. Их общение напоминало строки из пушкинского «Евгения Онегина»: «Меж ними всё рождало споры / И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, /

Плоды наук, добро и зло, / И предрассудки вековые, / И гроба тайны роковые, / Судьба и жизнь в свою чреду, / – Всё подвергалось их суду».

Но споры эти не были ссорами. Это был тот случай, когда в споре рождалась истина. А Джек и Анна оказались по духу очень близкими людьми. В разлуке они писали письма, полные той же страсти, что и их встречи. Но эта страсть не была чувственной, а какой-то научной, страсть исследователей и первооткрывателей, обогащающей обоих спорщиков.

Жизнь продолжала сводить Джека с людьми, которых в ту пору называли «низамы общества». В 1895 году Джек принял участие в походе безработных на Вашингтон. Во время этого марша никто нигде не работал, и их сочли бродягами. Джека вместе с другими участниками арестовывают, и он месяц сидит в тюрьме города Буффало. Ему ещё повезло, что не был приговорён к исправительным работам на год. Тогда-то ему и пришла мысль, что только интеллектуальный труд ценится в обществе, тем более в обществе первоначального накопления капитала. Он анализирует свои возможности и духовные силы и приходит к выводу, что должен стать писателем. По результатам похода Джек пишет очерки о жестоких законах. Отправляет их в нью-йоркские журналы, они возвращаются. Опять отправляет, и опять они возвращаются.

В походе Джек прочитал «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В 1895 году он вступил в Социалистическую трудовую партию Америки, с 1901 года она, объединившись с Социал-демократической партией Америки, стала называться просто Соцпартией. Из партии Джек выбыл в 1916 году. В заявлении о выходе из партии причиной была названа потеря веры в её «боевой дух». Джек имел в виду отход партии от пути революционного преобразования общества и взятый ею курс на постепенный реформистский путь.

2

На социалистическое мировоззрение максималиста Джека Лондона благотворно лёг опыт «золотой лихорадки» на Аляске. В августе 1897 года он с друзьями отправился за золотом Клондайка. Поначалу Джеку с товарищами сопутствовала удача: опередив многих других золотоискателей, они смогли пробиться к верховьям реки Юкон при её слиянии с рекой Стюарт и застолбить участок. Но золота на нём не оказалось, а застолбить новый до холодов не удалось. В довесок к этой неудаче во время зимовки Лондон заболел цингой. В Сан-Франциско он вернулся в 1898 году, испытав на себе все тяготы северной зимы. В рассказе «Как аргонавты в старину» Джек подробно описывает свои беды со здоровьем во время зимовки:

Но, по мере того как им овладевало оцепенение зимней спячки, часы бодрствования всё сокращались, становясь не то полудремотой, не то полузабытьём. Искра разума и сознания... постепенно угасала, погружаясь в недра первобытного существа, сложившегося задолго до того, как человек стал человеком и в самом процессе развития человека, когда он, первый из зверей, начал приглядываться к себе и создал начальные понятия добра и зла в страшных, словно кошмар, творениях фантазии, где в образах чудовищ выступали его собственные желания, подавленные запретами морали.

<...>

Но страна заходящего солнца, где он пребывал в своём забытьи, была не чем иным, как надвигающимися сумерками близкой смерти.

И пишет Джек, как его лечили от цинги «отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем».

В какой-то из многочисленных книг, которые я прочёл о Джеке Лондоне, врезалась в память мысль некоего лингвиста, что Лондон лучший стилист во всей англоязычной литературе.

Вместо золота судьба одарила Джека Лондона неоценимыми встречами, которые затем легли в его северные рассказы и повести. Первые из них были опубликованы уже на следующий год после возвращения, а в 1900 году издали его первую книгу – сборник рассказов «Сын волка». Затем последовали следующие сборники рассказов: «Бог его отцов» (Чикаго, 1901), «Дети мороза» (Нью-Йорк, 1902), «Вера в человека» (Нью-Йорк, 1904), «Лунный лик» (Нью-Йорк, 1906). «Золотоносные» рассказы и повести о животных – «Зов предков» (1903) и «Белый клык» (1906) принесли писателю истинное золото и широчайшую популярность. Работал Джек Лондон напряженно и истово, по 15–17 часов в день, и написал около 40 книг за всю свою не очень длинную писательскую жизнь. И при жизни стал первым из писателей долларовым миллионером.

Антуражем в северных рассказах стали зимние пейзажи и просторы северных земель: сильные морозы за минус 50 градусов по Фаренгейту (минус 45 по Цельсию), бесконечные, в основном зимние, дороги, волчьи стаи, прибрежные посёлки, стойбища индейцев. При этом законы природы у писателя суровы, но справедливы, и беда приходит именно тогда, когда человек отступает от этих законов. Некоторые рассказы просто страшны, в них Лондон откровенно и горько смеётся над гордыней человека, оказавшегося на экзамене у природы слабым и неумным существом.

Таков рассказ «Костёр», когда самоуверенный человек отправляется в сильный мороз в одиночку на встречу с основным отрядом. Джек Лондон отмечает:

Но всё это – таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необычный и зловещий колорит пейзажа – не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был новичок в этой стране и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл.

Джек Лондон бережёт самолюбие американских читателей и брызжущую через край самоуверенность называет отсутствием «воображения».

Так вот, этот человек промочил для начала ноги в незамерзающем при любой погоде роднике, покрытом снегом, а потом совершил коренную, стоившую ему жизни ошибку. Чтобы высушить ноги и обувь, он развёл костёр под разлапистой покрытой снегом елью. Когда костёр разгорелся, снег на ели подтаял и, свалившись, потушил костёр, а человек замёрз насмерть. Умирая, недотёпа вспомнил правоту старого индейца, предупреждавшего, что в сильный мороз нельзя выходить в одиночку в просторы «Белого Безмолвия», но было уже поздно. Вот последние строки этого рассказа, но посвящены они собаке, оказавшейся умнее человека:

Когда сумерки стустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Немного погодя собака заскулила громче. Потом, подождав немного, подползла к человеку

и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у неё встала дыбом. Она ещё помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

Я намеренно привёл такой длинный отрывок, чтобы показать литературное мастерство Джека Лондона, и его глубокое знание обстоятельств жизни на Крайнем Севере, и умение приспособиться к суровым условиям.

Этому умению посвящён другой, ещё более жуткий рассказ «В далёком краю» про двух бедолаг, не знающих жизни и не умеющих ужитья вдвоём в долгую полярную зиму даже в теплом и надёжном помещении. Раскрывая сюжет, Лондон высказает некоторые менторские замечания:

Когда человек уезжает в далёкие края, он должен быть готовым к тому, что ему придётся забыть многие из своих прежних привычек и приобрести новые, отвечающие изменившимся условиям жизни.

<...> Но самое трудное – это выработать в себе должное отношение ко всему окружающему и особенно к своим ближним. Ибо обычную учтивость он должен заменить в себе снисходительностью, терпимостью и готовностью к самопожертвованию. Так и только так он может заслужить драгоценную награду – истинную товарищескую преданность..., воздав добром за добро, короче, заменить видимость сущностью.

И вновь и вновь разговор идёт о мнимости и сущности, о сентиментальности и романтизме, об эгоизме и альтруизме, о способности понимать нужды другого человека. И вот два человека, у которых «не было решительно ничего общего, ни одной точки соприкосновения» – подчёркивает Джек Лондон, оказались на зимовке в одной тесной хижине на крайнем Севере. Они постоянно ссорились по малейшему поводу, и общая жизнь не сближала их, а наоборот – разъединяла. Джек Лондон специально акцентирует внимание на страхе перед Севером. «Этот страх – неразлучный спутник Великого Холода и Великого Безмолвия... Величие окружающего страшило их».

И в конце концов эгоизм губит их: один стреляет в другого из револьвера, а другой по закону «мёртвого кулака» успевает топором ударить противника по спине, что приводит к параличу ног первого. Без движений тот замерзает.

Джек Лондон своими клондайкскими рассказами предупреждает человечество, что оно, изнежившись в городских тепличных условиях, в офисах банков и крупных компаний, презирая физический труд, советы старших, просто погибнет в случае столкновения с природой, «взбесившейся» по причине того или иного катаклизма. Спустя 70 лет немецкий зоолог, нобелевский лауреат Конрад Лоренц поддержит Джека Лондона в его опасениях и прямо скажет: «Человек слишком глуп, чтобы выжить», имея в виду экологическую катастрофу, приближаемую неразумными «трусами» человека, главный из которых выкачка метана на Крайнем Севере ради обогащения кучки олигархов.

Возникло новое направление в литературе – романтическое описание суровых буден человека, «вдохновлённый реализм» – так определял своё кредо сам писатель. Но романтика в его изложении, как мы видим, не только сопряжена с победами человека, но и его поражениями. И в этом предупреждении, которое выносит Лондон человеческой

натуре, по-моему, заключена особая ценность его прозы. Он говорит своими северными рассказами: Человек! Думай! Не будь эгоистом, не ленись, старайся понять очевидные истины другого homo sapiens, и тогда ты достигнешь вершин взаимопонимания и товарищества.

Основываясь на собственном опыте, Джек показал, как в схватках за жизнь с природой и животными выживает сильнейший. Причём человек должен быть не просто смелым и сильным, иметь стальные мышцы и ясную голову, но в неменьшей степени обладать такими качествами, как справедливость, мужество и честь.

3

Джек Лондон обоснованно считает, что животные (собаки) лучше приспособляются к изменившимся обстоятельствам и условиям жизни, а порой даже умнее людей. Лондон не просто рассказывает о мире зверей, а создаёт яркие, зримые характеристики друзей человека, сделав их полноправными героями своих повестей. Такова повесть «Зов предков» (1903) о верности собаки по кличке Бэк своему любимому хозяину.

Весь день Бэк сидел у пруда или беспокойно бродил по лагерю. Он знал, что такое смерть: человек перестаёт двигаться, потом навсегда исчезает из жизни живых. Он понял, что Джон Торнтон умер, что его нет и не будет, и ощущал какую-то пустоту внутри. Это было похоже на голод, но пустота причиняла боль, и никакой пищей её нельзя было заполнить.

И собака Бэк уходит по зову предков в волчью стаю, становится её вожаком, но не забывает своего погибшего хозяина.

Это крупный волк с великолепной шерстью, и похожий и не похожий на других волков. Он приходит один из весёлых лесных урочищ и спускается в долину, на полянку между деревьями. Здесь лежат истлевшие мешки из лосиных шкур, и течёт из них на землю золотой поток, а сквозь него проросли высокие травы, укрывая золото от солнца. Здесь странный волк сидит в задумчивости некоторое время, воет долго и уныло, потом уходит.

Боже мой, как же сильно изложена тоска собаки и её верность!

Другим заметным событием в творческой биографии Джека Лондона стала повесть «Белый Клык» (1906). История волчонка, превратившегося в мудрое и отважное животное.

Кроме того в жизни было много приятных ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на солнце – все это вполне вознаграждало его за все труды и усилия. А труды и усилия сами в себе таили награду. Они были проявлением жизни, а жизнь, когда проявляет себя, дает счастье. Таким образом, волчонок не сетовал на враждебную среду. Он был полон жизни, очень счастлив и горд собою.

Белый Клык проходит четыре восходящие ступени опыта: животный мир среди волков, жизнь среди индейцев, жестокий мир Красавчика Смита и, наконец, мир разума и любви. Волчонку удаётся выжить только благодаря природной силе и умению приспособливаться, что, по мнению Джека Лондона, равно пониманию законов природы и мира. Тема человека-хозяина проходит через всю повесть, в ней подчёркивается мысль о превосходстве человека над животными в силу его разума, любви и установленных им гуманных и справедливых законов. Вообще мысль о могуществе любви проходит через всё творчество Джека Лондона.

21 июля 1902 года Джек Лондон получил телеграмму от ассоциации «Американская пресса» с предложением поехать военным корреспондентом в Южную Африку для освещения англо-бурской войны. Помните «Капитана Сорви-голова» Луи Буссенара? Однако пока он добрался до Англии, война уже закончилась, и тут ему пришла мысль показать «дно» английской столицы. Английские социалисты отговаривали его, как в обстановке гетто он собирается выжить: «Там зарежут через полчаса». «Они не понимали, что это моя среда, я оттуда родом», – улыбаясь, говорил Лондон. И все же масштабы нищеты по сравнению с родными Штатами поразили даже его, выдавшего виды и посильнее (пострашнее).

Вот отрывок из его будущей книги «Люди бездны», первоначальное название которой «На дне».

Мы подошли к дому. Дверь была настолько узка, что пришлось перешагнуть через женщину, которая, сидя с беззастенчиво обнаженной грудью, кормила младенца. Мы оказались на лестнице, заваленной отбросами. В этой трущобе, называемой домом, семь комнат, в шести из них живет более двадцати человек обоюго пола и различного возраста. Каждая комната имеет площадь шесть-семь квадратных метров. В них стряпают, спят, едят и работают.

Науке известны случаи, когда в одно и то же время разные учёные приходят к одинаковым озарениям и открытиям. Таковы, например, Попов и Маркони при открытии радио, Яблочков и Эдисон при создании электрической лампочки накаливания. Примерно одинаковые мысли владели в 1902 году Максимом Горьким и Джеком Лондоном при создании художественных произведений о людях социального «дна». Пьеса Максима Горького «На дне жизни» была впервые напечатана отдельной книгой в декабре 1902 года в Мюнхене. В это время Джек Лондон, переодевшись в лохмотья, познавал «дно» Ист-Энда. Леонид Андреев вспоминал, что узнав о названии пьесы «На дне жизни», посоветовал Горькому сократить его до лапидарного «На дне». Такое же краткое название воплотилось в заголовке очерков Лондона, но видимо, чтобы читатели не путались в названиях, переименовал «На дне» в «Люди бездны».

Максим Горький положительно отзывался о творчестве своего американского коллеги и почти ровесника: «Джек Лондон – писатель, который хорошо видел, глубоко чувствовал творческую силу воли и умел изображать волевых людей».

В 1904 году Лондон отправляется корреспондентом на русско-японскую войну от газеты «Сан-Франциско экзаминар». По словам американского учёного-востоковеда Даниэля Метро, «только Лондон смог обеспечить первоклассные репортажи с передовой. Остальные репортёры слонялись по Токию, ибо им не хватило отваги Лондона, чтобы пробраться в Корею». Джек Лондон, добавляет военный историк Джон Манчини, «первым прислал в Соединённые Штаты фотоснимки с той войны».

Камерой, кстати, Лондон владел не хуже, чем пером. В книге «Джек Лондон – фотограф» (вышла в США в 2010 году) он назван одним из ведущих фотожурналистов тех дней: «Во время крупнейших международных событий его фоторепортажи попадали на первые полосы печатных изданий». В калифорнийской библиотеке до сих пор хранятся 12 тысяч снимков, так или иначе связанных с Джеком Лондоном и в подавляю-

щем большинстве сделанных им самим. В их числе около тысячи фото, снятых на Русско-японской войне, где он оказался в качестве военкора.

На небольшой корейской джонке он поплыл из Японии в корейский порт Чемульпо, где крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой с японской эскадрой. И застал момент потопления русскими капитанами своих кораблей, чтобы они не достались японцам.

Джек Лондон, бывший «устричный пират», был смелым и мужественным человеком. В этом и кроется особая любовь читателей к его талантливым произведениям.

Встретившийся с ним другой американский военкор написал о нём так: «Джек Лондон страха не ведает. Он обморозил уши, пальцы и ноги, но сказал, что это его не волнует, раз он попал-таки на фронт. Он один из самых отважных людей, с кем мне довелось повстречаться. Он такой же герой, как любой персонаж его произведений. В интересах дела он готов рисковать жизнью».

После возвращения с Дальнего Востока Джек Лондон пишет фантастически-пророческий рассказ «Беспримерное нашествие» о «жёлтой угрозе». В нём он предсказывает экспансию Японии на Китай и США и эксперименты японцев в создании биологического орудия.

5

Занимателен сюжет рассказа Джека Лондона «Конец сказки». Трудно, считай невозможно, его пересказать, рассказ нужно читать, и не раз и не два. Он интересен тем, что позволяет приоткрыть дверцу в мир взаимоотношений Джека с женщинами. Если коротко сказать, то они были непростыми. Сначала нужно вспомнить автобиографический роман «Мартин Иден», который повествует о первой его любви к Мейбл Эплгарт, получившей в романе имя Руфь Морз.

Джека во время работы на консервном заводе окружали фабричные несколько грубоватые красотки. Ему же хотелось видеть рядом с собой утонченную, нежную девушку. Мейбл отвечала всем требованиям впечатлительного молодого человека – красивая, хрупкая блондинка с аристократическими манерами. Увидев Мейбл, Джек решил, что она само совершенство. Девушка была старше Джека, но это не имело никакого значения. Отныне все его женщины будут старше. Ради Мейбл он изменит манеру речи и даже походку. Ради нее он будет готов на все: переплывать океаны, покорять горные вершины, работать день и ночь, чтобы стать известным писателем, то есть живым воплощением «американской мечты».

Несмотря на то что Мейбл тоже была влюблена в Джека, из этой любви ничего не вышло. Мать девушки воспротивилась нищему зятю с сомнительной репутацией, а Мейбл не посмела ее послушаться.

Но Мейбл знакомит Джека со своей подругой по университету Элизабет (Бесси) Маддерн. Та собиралась замуж, но ее жених трагически погибает незадолго до свадьбы. Мейбл попросит Джека поддержать ее опечаленную подругу. Элизабет была не в его вкусе, но, исполняя просьбу любимой Мейбл, попросил у Бесси помощи в оформлении рукописей. Хотя ему не очень-то эта помощь была нужна: просто он хотел отвлечь девушку от невеселых дум.

Он признался своей будущей супруге Бесси Маддерн, на которой женился в 1900 году, что не питает к ней чувств, но будет рад рождению

сыновей. Это был брак по расчёту, в нем не было радости, хотя в браке появились две чудесные девочки, похожие на отца. Нетрудно понять, что сближению Бесси и Джека способствовали не высокие чувства, а желание прервать замкнутый круг одиночества. И тут появляется Чармиан Киттредж, старше Джека на шесть лет. Эта хитрая, расчётливая особа вотрётся в доверие к жене Джека, станет её «подругой» (классический приём разлучниц), будет часто бывать в доме Джека, а его самого будет забрасывать любовными письмами. И Джек не устоит.

Через три года после свадьбы он уйдет от Бесси. Для нее это будет ударом, а выросшие дочери его никогда не простят. Он будет помогать дочерям и первой жене материально, но они все равно будут считать его предателем. В 1905 году он официально женится на Чармиан Киттредж. Она не была красавицей, но вела себя словно звезда. Она была живой и настоящей, часто смеялась и сама не боялась казаться смешной. Джек ради нее и будущего ребенка бросился строить семейное гнездо – Дом Волка в Глен-Эллен, штат Калифорния.

В обустройство поместья и фермы, которую Лондон хотел сделать социалистической, он вкладывал огромные суммы: там должен быть огромный дом, артезианский колодец, система горячего водоснабжения. Но идеальной семьи опять не получилось.

Чармиан родила больную девочку, которая прожила всего несколько дней. Удача от Джека отвернулась, несчастья следовали одно за другим: погиб весь элитный скот – и ангорская овечья отара, и поголовье свиней, сломал шею бык-рекордсмен, застрелили любимого жеребца, виноградники отказывались плодоносить, не прижились гавайские кормовые кактусы, а эвкалипты годились только на дрова. Но всё это позже.

А ещё была Анна Струнская, которой Джек в письмах признавался, что именно в ней его счастье. Они писали друг другу обстоятельные письма, ведя бесконечные споры о классах, об обречённости буржуазного миропорядка, о рационализме и, разумеется, чувствах. Их дружбе была посвящена целая книга «Переписка Кемптона и Уэйса». Два героя отстаивают в письмах свою точку зрения. Анна – это Кемптон, романтик и сторонник любви в браке. Джек Лондон – Уэйс – реалист, призывающий создавать семью с холодным сердцем, руководствуясь лишь умом. Совместная работа еще больше сближает Анну и Джека. Он находит Анну гениальной, преклоняется перед ее умом и способом выражать свои мысли. В 1902 году стало понятно, что они испытывают друг к другу далеко не дружеские чувства. Джек Лондон предложил Анне стать его супругой, но она отказалась, считая, что не имеет право строить свою семью на руинах его прошлых отношений и лишать его детей отца.

В 1905 году Джека и Анну захлестнула волна восторга по поводу первой русской революции. Анна собирала деньги, а затем и сама отправилась в Россию. Оттуда она присылала Джеку множество материалов, использованных им в романе-антиутопии «Железная пята» (1907). В этом же году Лондон обращается к американскому народу с призывом поддержать русскую революцию. Он тесно связан с социалистическим движением в США и подписывает свои обращения и письма «Ваш во имя революции Джек Лондон».

Ему, прошедшему нищете, море горя и нарождающегося социально-го гнева, было легко прийти к мысли переустройства жизни на социалистических началах. Джек пишет и публикует книги очерков «Борьба классов» и «Революция», а затем родилась «Железная пята», о которой отзывались Анатолий Франс и Анатолий Луначарский как о первом про-

изведении социалистической литературы. В романе открыто говорится об опыте русской революции, хотя Лондон одновременно отдал дань левацкой «романтике». И это неудивительно: его всегда притягивали люди исключительной воли, храбрости, и в сложной ситуации рассчитывающие исключительно на свои индивидуальные качества. Он одобрял диверсии и террор против олигархов.

Кроме того, в «Железной пяте», самом революционном романе американской литературы всех времён, зримо проявился дар предвидения автора. В романе уже показана империалистическая война (начнётся через 6 лет после выхода книги), и провокация, похожая на поджог рейхстага, и жестокость расправ со всеми недовольными и сопротивляющимися, картина восстания с неистовой яростью с обеих сторон (прообраз Гражданской войны в России), улицы, заваленные трупами. Главный герой, философ из рабочих, Эрнест Эвергард остро чувствует растущую угрозу олигархии – «железной пяты». Он предчувствует зарождение и распространение фашизма. «Где-то в недрах общества происходит невидимый глазу, но грандиозный переворот... Что-то надвигается – огромное, неясное, грозное». Своего главного героя Джек Лондон описывал, любясь им:

Это был аристократ по натуре, несмотря на свою принадлежность к совершенно противоположному общественному лагерю. Ницше узнал бы в нём своего сверхчеловека, или, как он выражался, «белокурую бестию, – с той существенной разницей, что Эрнест отдал своё сердце демократии.

Лондон считал себя социалистом, но рядом с книгами К. Маркса на его столе лежали сочинения Ницше, проглатываемые Джеком залпом. Он был заложником взглядов немецкого философа, был очарован красочными прославлениями «бунтаря по природе», бросающего вызов дряблему «плебейскому миру». Клондайкские впечатления способствовали формированию у Джека Лондона некой внутренней раздвоенности, которую он пытался заштукатурить, как трещину в стене, припрятывая ницшеанство с научным социализмом.

6

Вернёмся к 1904 году, когда вышел роман «Морской волк». Роман часто называют приключенческим, хотя таковой является лишь вторая часть романа, после появления на борту шхуны женщины. На самом деле книгу нужно понимать как роман идей – в ней сталкиваются два мировоззрения. На одном полюсе – материалист, гедонист, индивидуалист и социал-дарвинист капитан Ларсен, прозванный Волком, на другом – случайно попавший на борт его шхуны «Призрак» литературный критик Хэмфри Ван-Вейден, идеалист и гуманист. Философия Волка Ларсена такова: быть сильным (разумеется, не только физически) – это добро, быть слабым – зло. Джек Лондон подчёркивает аморальность капитана Ларсена, его первобытную грубость и силу, даже садизм в его действиях. У Ларсена за плечами полуголодное детство на Телеграфной горе (ирландский район в Сан-Франциско), драки, морская служба, укрепившая его физически. Он умён – изобрёл навигационный прибор с ноу-хау и полагается только на свою силу и ум. Волчьи законы капитализма сформировали его крайним индивидуалистом, и это закономерно. Джек Лондон подводит читателя к выводу: капиталистическое общество либо сгибает человека, делая из него раба, либо формирует

из него сверхчеловека – воплощение «американской мечты». Вот образец мышления и взглядов Волка Ларсена в очередном споре с Хэмфри.

– Я верю, что жизнь – нелепая суета, – быстро ответил он (Волк Ларсен. – М. Ч.). Она похожа на закваску, которая бродит минуты, годы или столетия, но рано или поздно перестает бродить. Большие пожирают малых, чтобы поддержать свое брожение. Сильные пожирают слабых, чтобы сохранить свою силу. Кому везет, тот ест больше и бродит дольше других – вот и все!

Всем строем своей философии и всеми своими поступками Волк Ларсен старается разрушить ореол святости и неприкосновенности понятия «человеческая жизнь». Для него жизнь абсолютно не святая субстанция, как это полагает Хэмфри и ему подобные прекраснородушные интеллигенты. Для Ларсена жизнь – это изнурительная борьба за кусок хлеба, это безработица, трущобы, несправедливость, эпидемии, косящие бедняков тысячами. И, одновременно, жизнь – это чванство и беспредел «железной пяты» – олигархов и других нахлебников, купающихся в роскоши и презрении к тем, кто создаёт им прибавочную стоимость. Можно ли после этого утверждать, что жизнь священна? Не вернее ли её назвать самой дешёвой из всех дешёвых вещей? И лишний раз мы убеждаемся в пророческой глубине мировоззрения Джека Лондона. Через 120 лет мы убедились, что для сильных мира сего (олигархов, ТНК, членов Бильдербергского клуба, Гейтса, Шваба) жизнь трудяги – это вещь. Самая дешёвая, призрачная, эфемерная, но всё же говорящая. И они стремятся всячески уменьшить количество народонаселения планеты, чтобы как можно меньше сталкиваться с говорящей вещью. Организуют эпидемии коронавируса, голод, войны, внедряют ИИ, роботов и автоматизацию.

Джек Лондон несомненно читал роман Достоевского «Братья Карамазовы». И в образе Ларсена видны отголоски «этики» Ивана Карамазова. Ларсен, как бунтующая личность, отрекается от нравственных основ бытия. Его свобода мысли превращается в своемыслие, в вседозволенность, но он идёт дальше Ивана, Ларсен преобразовал вседозволенность в ницшеанский культ «сверхчеловека», против которого и выступает Джек Лондон. Жаль только, что такой острый философский роман с двадцатой главы превратился в развлекательно-приключенческий.

Близкий Лондону друг и писатель Георг Стерлинг (1869–1926) называл Джека Волком. Обычно Стерлинг называл Джека «лютым волком» или «косматым волком». Джек и сам называл себя Волком. В этом можно убедиться, прочитав многочисленные сохранившиеся письма автора. В одном из них: «Пишу короткие рассказы, чтобы получить немного наличных денег. Волк».

7

После романа «Морской волк» Джек занимается только литературным трудом. Ему платили авансы за еще не написанные романы. Кстати сказать, советским писателям тоже платили авансы за ненаписанные вещи. Джек Лондон был богат. Он купил яхту, пировал, приглашал толпы гостей, всех поил-кормил, давал в долг. И сам влез в долги.

В 1905 году Лондон наконец-то смог осуществить свою главную мечту жизни – писатель приобрёл ранчо в Глен-Эллене (Лунной долине) и строит величественный «Дом Волка».

В 1907–1909 годах Джек Лондон отправляется в кругосветное путешествие вместе с Чармиан на яхте «Снарк», спроектированной им

лично. Описание этого путешествия найдёт потом отражение в книге «Путешествие на “Снарке”» и в южных рассказах. Особенно хорош рассказ «Кулау-прокажённый», где вождь племени Кулау два года в одиночку сражается до последней капли крови за независимость от белых завоевателей.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал... Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев, он не мог бы теперь нажать на спуск. Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок...

Летом 1913 года строительство «Дома Волка» завершилось. Четырёхэтажный, кирпичный дом с залами и множеством спален, с бассейном, каминами, роскошной мебелью, богатейшей библиотекой, с коллекциями экзотических редкостей со всего света. Кроме того, он попытался на практике устроить социалистическое общество. На ранчо у него работает более 80 человек. Он мечтает о сельскохозяйственной общине. Так же, как к Горькому, к нему косяками тянутся «доители денег», в том числе куча бездельников, которых он благородно называет «бродячими философами». Не отказывал Джек и «братьям по партии». Несмотря на астрономические гонорары, долги Джека растут быстрее. Среди его нахлебников и рабочих крепнет мнение, что он наивный чудаки и деньги ему достаются легко, они посмеиваются над ним.

И здесь Джека поджидал последний удар: незадолго до переезда «Дом Волка» сгорел. Скорее всего, отомстил поджогом уволенный накануне работник. От дома мечты остались только несущие стены да каминные трубы. От этого потрясения Лондон так и не оправился. Теперь нужно было писать как из-под палки, чтобы покрыть долги.

Один из биографов Джека утверждал, что реализации проекта помешали банальное невезение и опережение времени, ведь Лондон привнес в сельское хозяйство несколько технологичных новинок, о которых в то время никто даже и не слышал. В конце концов Лондона постигает разочарование во всем. Он слишком верил в себя и в других! После поджога он перестал верить в других, после болезни – в себя. Он выходит из рядов Социалистической рабочей партии, считая ее деятельность соглашательской.

Умер Джек Лондон в Глен-Эллене (штат Калифорния) 22 ноября 1916 года от передозировки морфия. Случайно или преднамеренно – никто не знает и не узнает. Творческий кризис и эмоциональное выгорание сделали свое дело. Писатель прожил всего 40 лет.

Однажды Джек Лондон сказал о себе:

Так и знайте, я случайный гость, залётная птица, с пропахшими солью крыльями, на короткий миг ворвавшаяся в вашу жизнь, – дикая птица, привыкшая к вольному воздуху и широким просторам, чуждая уловкам тех, кто живёт взаперти.

Всё сильное и смелое в творчестве Джека Лондона было создано им в ту пору его жизни, когда он был вольной птицей и ещё не пытался перенять «уловки тех, кто живёт взаперти».

Александр РЯБОВ

Родился в 1988 году в городе Горьком. Окончил радиофизический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Кандидат физико-математических наук.

Публиковался в ряде литературных изданий. В настоящее время работает программистом. Живет в Нижнем Новгороде.

ПИСАТЕЛЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Исполнилось 200 лет со дня рождения
Михаила Салтыкова-Щедрина

История русской литературы в личностях, начиная с Пушкина, представляет собой на удивление гармоничную, эволюционно выверенную череду писателей, которые очень хорошо учились у предшественников и, не жадничая, оставляли и создавали пространство для потомков. Даже бурные исторические катаклизмы не могли порвать эту прочную связь времён русских литературных гениев, разве что немного ослабить. Отчасти это связано с тем, что наши писатели были удивительно начитанными и даже в случае большей любви к творчеству иностранных собратьев обязательно интересовались творениями предшественников и старших современников. Но не менее важным представляется удивительное сродство большинства знаковых отечественных литературных произведений и нашей истории. Попытка отнести некоторые этапные работы великого коллеги к притчам или к сугубо жанровым произведениям часто производят впечатление глубокой антипатии. Здесь наиболее характерным примером стоит признать отношение Набокова и Бунина к «Преступлению и наказанию» и их попытки трактовать роман Достоевского как сугубо жанровое произведение. Конечно, русские литературные шедевры часто несут на себе заряд вневременного, но сопричастность духу времени в большинстве случаев является главным наполнением.

Эти размышления наводят на мысленную игру. Попробуйте выкинуть какого-то выдающегося писателя из истории. Далее хорошо обрисуйте исторический ландшафт нашей литературы, причем не только в годы творчества выкинутого писателя, но и в пару предшествующих и пару последующих десятилетий. А после этого, проявив достаточную волю, опишите, какими творческими и личностными чертами должен обладать тот, кто займёт освободившееся место.

В случае с Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным произойдёт парадокс. Вы точно опишите его же. Данный писатель удивительно точно занимает словно судьбой предназначенное для него место

в плеяде великих русских творцов. В плане сатиры он наследует Гоголю, в плане построения аллегорических конструкций – самому Пушкину. Он логично соседствует как с остросоциальными Некрасовым и Лесковым, так и с бытовиками Успенским, Помяловским и Писемским. Он готовит почву, как к открытым манифестам Горького, так и к лирической всепроникающей прозе Чехова. Салтыков безусловно является писателем своего времени, но не в унижающем смысле (будто бы его значение ограничено его эпохой), а в смысле неразрывной цепи времён отечественных мастеров пера.

В этом году российская общественность отмечает 200 лет со дня рождения Салтыкова-Щедрина. Писатель родился 15 (27) января 1826 года в небогатой провинциальной дворянской семье в селе Спас-Угол Калужинского уезда Тверской губернии. Отец – потомственный дворянин, мать – дочь московского купца-миллионера. Брак был типичным для того времени: обедневший дворянин брал в жёны богатую купеческую дочь, чтобы поправить финансовые дела. Имение в Спас-Угле было небольшим: порядка 100–150 душ (крупные помещики того времени владели тысячами душ). Многодетная семья жила скромно, по средствам. В отличие от Тургенева или Толстого Салтыков не стал наследником огромного состояния, служил чиновником почти всю свою жизнь, и литература не была главным источником его дохода.

Среди первых учителей писателя были старшая сестра, священник соседнего села, крепостной и многие другие. Любознательный мальчик впитывал базовые представления жизни из совершенно разных источников. В десять лет будущий писатель поступил в Московский дворянский институт, а чуть позже за хорошую успеваемость был переведён в Царскосельский лицей, где подобно своему великому предшественнику тоже был выпущен в чине X класса. Именно в лицее произошла первая проба пера будущего мастера, однако стихи, которыми он баловался, оказались не его призванием, что Салтыков достаточно быстро понял.

После окончания лицея началась карьера чиновника. Не сказать что Салтыков сильно тяготился своей основной работой, но литература занимала его заметно больше. Наиболее любимым писателем в то время для молодого автора была Жорж Санд, также писатель увлекался трудами французских социалистов. Тогда же выходят в свет первые публикации автора, но если библиографические заметки и повесть «Противоречия» воспринимаются публикой спокойно, то повесть «Запутанное дело» производит эффект разорвавшейся бомбы. Отталкиваясь от своих собственных мыслей, а также идей и образов своих старших современников (Гоголь и Достоевский), Салтыков пишет остросоциальное высказывание, которое встречает крайне полярную реакцию. Молодые радикалы видят в нём большое дарование и своего; Салтыкова отмечает сам Белинский. Реакция же консерваторов и власти была диаметрально противоположной: «Запутанное дело» было воспринято как революционная пропаганда. А поскольку в мире бушевала весна народов, а в России сгустились тучи мрачного семилетия, исход для писателя – арест и ссылка (в Вятку) – был предопределён.

Однако всюду жизнь, и вместо того, чтобы убиваться горем по испорченной судьбе, Михаил Салтыков посвятил время ссылки тому, чтобы служить народу. Благо ссылка была своеобразная: молодой писатель был определён канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении и довольно быстро продвигался по службе. Конечно,

не пушкинское саранчаведение, но и уж точно не «во глубине сибирских руд». Подобно герою чеховского «Пари» срок своего заключения под надзором писатель тратил на саморазвитие, изучая, анализируя и переводя фундаментальные гуманистические произведения, а также впитывая всё виденное им на службе.

В конце 1855 года Салтыкову было разрешено покинуть Вятку, и на этом можно считать окончившейся его ссылку. Ещё через несколько месяцев чиновник женился на дочери бывшего вятского вице-губернатора Елизавете Аполлоновне Болтиной. С семьёй жены он познакомился ещё будучи провинциальным служащим. Среди биографов писателя есть разные взгляды на взаимоотношения между супругами и дабы не подставляться под их стрелы, отдадим детальное рассмотрение этой темы на откуп специалистам. Если кратко, то Елизавета немного легкомысленно относилась к произведениям своего мужа, но в то же время была для него другом и надёжной опорой, что было особенно важно, учитывая меланхоличный характер Салтыкова. У супругов родилось двое детей.

В том же 1856 году состоялось возвращение Салтыкова-писателя. Вернее, уже даже не Салтыкова, а Щедрина. Отбрасывая необычные версии происхождения данного псевдонима (от села Щедрино, реки Щедринка или диалектного «щедровать» как «бражничать», «кутить»), стоит остановиться на разного рода конструкциях «щедрый на что-то», допустим, «щедрый на сатиру» или «щедрый на язык». Сам писатель причину выбора псевдонима не объяснял. Возвращение автора стало воистину громогласным. «Губернские очерки», на которые он собирал мысли и материал предшествующие годы, позволили публике и критикам увидеть не только обличителя, но и мастера слова. Можно сказать, что с «Губернских очерков» началась оттепель 1850-х годов.

Карьера чиновника у Салтыкова тоже продолжала идти в гору. В 1858 году Михаил Евграфович был назначен рязанским вице-губернатором, а двумя годами позже переведён на ту же должность в Тверь. В эти годы из-за перегруженности Салтыков вновь вынужден отложить литературную деятельность сильно в сторону, публикуясь нечасто. Однако пылкий и наблюдательный взгляд творца всё впитывает, собирая материал для будущих шедевров. Стоит отметить своеобразную пользу от того, что Салтыков служил в разных регионах: благодаря этому увиденные им трудности и несуразности в провинции обладали как большим разнообразием, так и большой плотностью. Именно из этого многообразия и вырастает архетипичный Глупов. Кстати, впервые он появился не в «Истории одного города», а в более ранних рассказах и был скорее фоном для сатирических сценок, нежели полноценной сущностью, обладающей едва ли не своей собственной субъектностью.

В 1862 году Салтыков хотел открыть свой собственный журнал, но его мечтам не суждено было сбыться. Писатель стал одним из редакторов в «Современнике» в 1863 году, став своеобразным преемником Чернышевского, часто публиковался в журнале и активно участвовал в различных общественных полемиках. Однако некоторые расхождения с более конформистски настроенным Некрасовым, а также просто ненадежное финансовое положение в качестве писателя вновь вернули его в область, в которой он был тоже блестящим мастером дела — в чиновничество.

В российской традиции оборот «отличный чиновник» выглядит как-то странным тропом: не то оксюмороном, не то плохо считаваемой

сказочной реминисценцией. Но Михаил Евграфович был бесспорно блестящим чиновником. Не обладая какими-то выдающимися связями в столицах, Салтыков занимал очень высокие посты (вице-губернатор в Рязани и Твери, председатель казённой палаты – то есть руководитель госфинансов – в Пензе, Туле, Рязани). Это требовало глубокого знания законов, финансовой отчётности и административной практики. Чиновник был легендарно неподкупен. В эпоху тотального взяточничества он вёл себя аскетично, боролся со злоупотреблениями подчинённых. Михаил Евграфович наводил порядок во вверенных учреждениях: его канцелярии работали как часы. Ну и нельзя забывать, что в рамках системы Салтыков пытался облегчить участь народа и справедливо разбирал конфликты между помещиками и крестьянами. И вся эта эффективность была при встречном ветре! Центральная власть опасалась его как опасного строптивца, а местная власть ненавидела как нежеланного надсмотрщика из центра.

В конце 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казённой палатой, далее работал в Туле и Рязани. Эти годы были неплодотворны для Салтыкова как писателя.

Однако потребность творить не оставляла Михаила Евграфовича, и в 1868 году он окончательно оставил службу, став одним из ведущих сотрудников «Отечественных записок», впоследствии став их официальным редактором уже после смерти Некрасова (в 1878 году). Именно в «Отечественных записках» были опубликованы самые знаменитые работы писателя: «История одного города» (1870, 1883), «Помпадурсы и Помпадурши» (1873, 1877, 1882, 1886), «Господа ташкентцы» (1873, 1881, 1885), «Господа Головлёвы» (1880, 1883), «Убежище Монрепо» (1880, 1882).

Все то, что было за долгие годы работы в разных городах России рассмотрено Салтыковым-Щедриным, вылилось в его самое известное произведение – «История одного города». Реакция была мгновенной и ожидаемой: прогрессивная общественность и молодежь встретила восторгом, власть и охранители – обвинениями в нелюбви к России, либералы и умеренные – недоумением. Но важнее политического отклика разных общественных групп была оценка других писателей. И если восторженная позиция Некрасова-соратника и хулительная позиция Достоевского-противника ожидаемы и не столько интересны, то важные позиции пребывавших немного над схваткой Толстого и Тургенева. Оба признали в Салтыкове-Щедрине бесспорного мастера слова, правда, Ивану Сергеевичу было неуютно от беспощадности книги.

После этого Салтыков-Щедрин продолжил слагать славу мастера пера, жёстко бичующего общественные пороки. Постепенно в сознании критики он начал восприниматься как достойный продолжатель дела Гоголя. Это было следствием завуалированного стиля писателя, когда реальные концепции подменялись сказочными или басенными. Однако вскоре мастер обрушился на публику уже без эзоповой маскировки: в 1880 году в печать вышли «Господа Головлёвы»: роман-диагноз и роман-предостережение одновременно. Данный труд – отповедь тем дворянским родам, которые погрязли в своём физическом, моральном и духовном вырождении. Порфирий Иудушка Головлёв – один из самых страшных персонажей мировой литературы. Он не монстр в классическом смысле. Он страшен своей обыденностью. Это тип «тихого» вампира, который пьёт жизнь своих близких под видом заботы и благочестия. Его имя стало нарицательным для лицемера

и духовного убийцы. Возможно, Тургенев не успел прочитать «Господа Головлевы», иначе бы он изменил мнение об «Истории одного города» и назвал комедией.

В апреле 1884 года «Отечественные записки» были закрыты по личному распоряжению главного цензора России. Это сильно ударило по не самому крепкому здоровью писателя. Пока Салтыков занимался своим журналом, он был очень активно вовлечён в общение с коллегами, соратниками, другими писателями, читающей публикой и широкой общественностью. После закрытия журнала ему стало грустно оттого, что эти связи оказались сильно ослаблены.

Однако, несмотря на проблемы со здоровьем и закрытие журнала, Салтыков продолжил писать и в последние годы жизни. Лебединой песней писателя стала «Пошехонская старина». Во многом автобиографическое произведение посвящено взгляду ребёнка на мир крепостной России. В 1880-х в воздухе стали витать мысли о том, что прежняя, до-реформенная, Россия была хоть и не без греха, но землёй обетованной. Салтыков, который отлично знал как ту Россию, так и Россию после 1861 года, пишет почти документальную прозу, развеивающую какой бы то ни было романтизм о крепостном праве. Перед нами рассказ о том, как крепостное право убивало души всех – и забытых крестьян, и разлагающихся от безнаказанности господ.

Умер Михаил Евграфович 28 апреля (10 мая) 1889 года и был погребён 2 (14) мая, согласно его желанию, на Волковском кладбище, рядом с Тургеневым.

Как несложно заметить, Салтыков был на удивление нужным стране писателем именно в то время, в которое он творил. Благодаря многолетней службе писатель был не только теоретиком, но практиком, который через себя пропустил все те невзгоды, которые ощущали на себе разные слои населения. Это позволило ему создать особую авторскую оптику и по-иному сформировать запросы к обществу и к власти. Остросоциальная позиция Салтыкова в сочетании с блестящим владением словом заставляла общество пристальнее вглядываться в свои грехи и, осознав их, сеять разумное, доброе, вечное.

Марианна ДУДАРЕВА

Родилась в 1992 году в городе Кохме Ивановской области. Окончила Ивановский госуниверситет и аспирантуру филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Заведующая кафедрой общей и славянской филологии Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, профессор, литературный критик, доктор культурологии. Доктор филологических наук, член Союза писателей России.

Автор многочисленных научных статей о русской литературе и фольклоре, ряда монографий. Работы переводились на английский, турецкий языки. Лауреат премий имени Владимира Лакшина (2017) журнала «Юность», премии главы Республики Карелия имени Г.Р. Державина «Во славу Отечества», Международного конкурса им. К.Н. Леонтьева.

Живёт в Москве.

ЛОДКА СУДЬБЫ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Исполнилось 90 лет со дня рождения поэта

В наше цифровое время с развитой цифровой памятью, почти не имеющей пределов, кажется, так легко сохранить традицию. Однако пространство digital memory еще не прибрано, в нем смешались *кони, люди*, низ и верх часто меняются местами, и дело государства, государственных мужей – навести порядок в литературе и культуре, с одной стороны, но, с другой стороны, и сам поэт должен выбрать правильную художественную дорогу и открыть ее перед читателем, чтобы тот не блуждал в *цифровом лесу* до конца дней. Сам писатель ответствен за литературу и культуру, за нас с вами. Культура постмодернизма приучила нас к тому, что все может быть дозволено: черное выдано за белое, творец превратился просто в автора, а читатель имеет право на любую игру с текстом. (Вспоминается сразу роковое стихотворение Давида Самойлова «Вот и все. Смежили очи гении...».) Однако для подлинно русской художественной словесности характерен *инстинкт культуры*, который невозможно обойти стороной, и тогда не получается обмануть читателя. В горнице мастера должно быть прибрано и *светло*. Таким художником, в творчестве которого проявилась есенинская традиция в форме *несказанного света*, лодки судьбы (художник начала века любил корабельные образы), является Николай Михайлович Рубцов.

Известное стихотворение Н. Рубцова «В горнице» всегда привлекало внимание исследователей и критиков, которые подмечали простоту этого произведения и нередко воспринимали это как художественную слабость. Так, Б.Т. Примеров однажды подшутил над сюжетом этого текста, задавая вопрос самому автору после его исполнения «В горнице»: «Хорошо, Коля, а что ж ты матушку одну ночью за водой

отпустил-то? Взял бы ведро да притащил водички в дом»*. В этой поэтической дружеской шутке скрывается не столько соперничество, сколько тонкое наблюдение за внутренним сюжетом стихотворения. Внешне действительно все просто: горница, тихая ночь, двое. Однако эта простота *по-есенински* мнимая. Современный критик и литературовед А.М. Марченко писала по поводу метафорического строя есенинской лирики, что поэзия Есенина, его метафора обладают мнимой простотой. Это положение можно отнести и к художественному миру Рубцова, который, стоит отметить, очень любил поэзию Есенина. Возможно, эти далеко идущие литературные связи нам еще пригодятся при культурфилософском анализе стихотворения «В горнице», превратившегося в песню в исполнении литовской певицы Гинтаре Яутакайте.

В работах, посвященных разбору именного этого текста, у исследователей никогда не вызывало сомнений определение времени суток. Литературоведы и критики, рассматривающие стихотворение с точки зрения фольклорной традиции и выделяющие в нем парадигму «ино-го царства» (Анастасия Чернова), указывали на странное положение: матушка берет ведро и молча идет за водой ночью, что недопустимо и нелогично, потому что ночная вода – нечистая. Так ли это? В горнице светло – от ночной звезды:

В горнице моей светло.
 Это от ночной звезды.
 Матушка возьмет ведро,
 Молча принесет воды...

Но, по мифологическим представлениям, в мировой культуре находим мифологему светотьмы, рождения света во тьме, их сосуществование, что объясняет два понятия: *свет вечерний* и *свет не вечерний*. Подобный апофатизм может навести на мысль о том, что звезда у Рубцова вовсе не ночная в прямом смысле слова, а предутренняя. Тогда матушка никакого «нечистого» действия не совершает. Кроме того, мы соглашаемся с многими исследователями в том, что в стихотворении задано особое соотношение времени и пространства: мы наблюдаем континуум, находящийся вне линейных законов земного времени. Подобное положение дел с точки зрения ритуального орнамента сюжета встречаем в стихотворении С. Есенина 1917 года «Разбуди меня завтра рано...», в котором поэтически обыгрывается ритуальная встреча утренней зари и проводы вечерней:

На рассвете он завтра промчится,
 Шапку-месяц пригнув под кустом,
 И игриво взмахнет кобылица
 Над равниною красным хвостом.

В этом случае встречаются два светила, месяц и заря, а лирический герой все равно просит матушку разбудить его рано, то есть как бы предупредить зарождение нового дня:

Разбуди меня завтра рано,
 О моя терпеливая мать!
 Я пойду за дорожным курганом
 Дорогого гостя встречать.

* Из личной переписки с вдовой поэта, Н.В. Кондаковой, которая присутствовала при этом разговоре, когда Рубцов сам исполнял «В горнице».

Но отвлечемся пока от определения времени суток и обратимся ко второй строфе:

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догнет совсем.

Почему цветы красные? Почему о них вообще думает лирический герой ночью? Конечно, красные цветы являются образом-символом, который связан с традиционной культурой, но здесь необходимы некоторые уточнения. В контексте первой строфы о ночной звезде и воде, которую приносит в дом матушка в пограничное ночное или предрассветное время (скорее всего, не для полива увядших цветов), красные цветы наводят на мысль о *купальских лазоревых цветах* (они прежде всего красного цвета), обладающих особой семантической напряженностью и онтологическим статусом – они олицетворяют прорыв от тьмы к свету, возрождение в новом качестве и позволяют обладателю цветка открыть сакральные знания. Именно на заре собирают такие цветы и прочие травы, тем самым совершая как бы вместе с годовым циклом *поворот в судьбе*. Кроме того, именно в эти купальские дни разрешены ночные омовения, которые очищают существо человека, именно женщины ходят за такой водой, «черпают росу».

Но почему же цветы завяли? Современный специалист в области славянской демонологии Л.Н. Виноградова указывает на мотивы о купальской ночи как времени наибольшей активности нечистой силы. В такое «открытое» время рубцовский герой думает о своей судьбе, которая ассоциируется с красными цветами, их возрождением, и лодкой, которую необходимо починить, смастерить заново.

Для поэтических миров Рубцова и Есенина доминантен архетип лодки. Архетип корабля/лодки, нашедший свое отражение в разных жанрах нашего фольклора, в обрядовом комплексе, связанном с проходами Костромы, Масленицы, получил теоретическое обоснование в теоретическом трактате Есенина «Ключи Марии» (1918). *Образ корабельный* в есенинской художественной лаборатории связан с космогоническими представлениями о мире; в «Письме к женщине» вся земля приравнивается к кораблю. Корабль/лодка/повозка в мировой культуре выполняют функции перехода и связаны с поисками «иног царства». Кроме того, в этом контексте возникает образ ивы, под которой будет у героя «хлопотливый день». Ива или ее родственницы серебряная ветла, ракета в русском фольклоре и литературе наделены иномирной семантикой. Здесь достаточно вспомнить известную колыбельную про серого волчка и ракитовый кусток – место, потенциально связанное с «тем светом». Ива в ритуальном контексте стихотворения Рубцова – дерево границы, воплощающее мировую ось.

В стихотворении Н. Рубцова «В горнице» герой должен возродить красные цветы и починить свою лодку – оба действия семиотически значимы, ритуально маркированы. Кроме того, в этом контексте возникает концепт «судьба», непосредственно связанный с «красными цветами» и «лодкой». С бытовой точки зрения смысл стихотворения, несмотря на простоту формы и средств выразительности, не проясняется: остается неясным, почему герой не сам идет за водой, почему воду приносят ночью, почему полив цветов и починка лодки связаны с его судьбой. Однако дружеское подтрунивание современника

поэта Б.Т. Примерова относительно внутреннего сюжета этого текста заставляет исследователя задуматься и обратить внимание именно на этот момент: матушка, женщина, идет за водой и еще в пограничное время. Целокупное восприятие и прочтение образов ночной звезды, воды, мифологемы «красные цветы», архетипа лодки позволяет реконструировать ритуальный *купальский сюжет*. В этом случае поход матушки за водой не кажется нарушением запрета, красные цветы не сами по себе завяли в садике, и лодка сгнила на речной мели – герой должен возродиться в новом качестве и определить, выстроить свою судьбу. Обращение к народной традиционной культуре позволяет также поставить вопрос о скрытых проявлениях фольклорной традиции в стихотворении Рубцова, о поэтическом диалоге-споре с фольклором.

В горнице, то есть поэтической мастерской Николая Рубцова, – *светло*. Его ночная звезда светит есенинским несказанным светом нам, забывшимся цифровым сном сегодня. Его лодка готова умчаться каждого в русскую даль к хатам с красными цветами и русскими огнями.

Литпроцесс

Римма НУЖДЕНКО

Родилась и большую часть жизни прожила в Ленинграде-Петербурге. По специальности инженер, по призванию гуманитарий. Пишет рецензии, эссе и отзывы на прозу и поэзию современных авторов.

Публиковалась в журналах «Знамя», «Сура», «Этажи», «Перископ» и других печатных и электронных изданиях. Финалист конкурса литературной и театральной критики им. В. Белинского «Я в мире боец» (2024). Живет в Нью-Йорке.

«ПОЛЮБИТЕ МОЮ НИНОЧКУ»

О романе Валериана Маркарова «Чёрная роза Тифлиса»

Новый роман Валериана Маркарова «Чёрная роза Тифлиса» вводит читателя в Россию эпохи 1825 года – мрачную и величественную, с её самодержавием, крепостным правом и трагедией подавленного слова. После восстания декабристов свобода мысли стала преступлением, и всё же именно тогда мысль обрела мужество и внутреннюю глубину. Писатель – всегда гонец своего времени, а гонцов нередко убивали. Так трагически погибли Грибоедов, Пушкин, Лермонтов – три голоса, изменившие духовный облик России.

Главное в романе – образ Грибоедова, увиденный вне привычных схем, вне канона декабристского мифа. В. Маркаров смело отказывается от тыняновской парадигмы («Смерть Вазир-Мухтара»), открывая перед читателем Грибоедова живого, страстного, способного любить и страдать. В современном литературном пространстве ещё не было автора, который осмелился бы создать столь радикально иной, жизнеутверждающий образ одного из величайших умов XIX века – и потому тем более ценна эта попытка.

В центре романа – любовь. Не просто личная история, а внутренний свет, освещающий путь героев. Нина Чавчавадзе, дочь поэта и сама дитя поэзии, становится воплощением верности и духовной чистоты. Девочка, рождённая под покровом святой Нины, превращается в символ грузинской женственности и милосердия, в иконический образ, в котором любовь не умирает – она преображается в вечность.

Следуя принципу исторической достоверности, Маркаров создаёт панораму эпохи с удивительной зримостью: в его прозе живут тбилисские дворцы и шумные базары, запах персидских садов, звуки военных труб, трагедия Тегерана и боль утраты. Однако за всем этим – преклонение перед красотой, будь то красота искусства, слова или человеческого чувства.

Маркаров работает с документами, письмами, свидетельствами, но не как хронист. Он – художник, для которого историческая точность не цель, а путь к внутренней правде. Он умеет соединить факт и откровение, сделать из архивной пыли дыхание живой души. В основе его метода – не холодный анализ, а поэтическая интуиция, доверие к эмоциональной памяти эпохи. Оттого его герои дышат: они не героизированы, а человечны, не легендарны, а живы. В этом – подлинная сила его прозы.

Взявшись за тему Грибоедова, Маркаров сознательно избрал путь самостоятельного художественного прозрения. Его роман «Чёрная роза Тифлиса» не спорит с классикой – он говорит на своём языке, где нет подражания Тынянову и его «Смерти Вазир-Мухтара», а есть стремление постичь живую природу личности – человека долга, чести и внутренней свободы. Не через призму декабризма, а через призму нравственного выбора раскрывается образ Грибоедова – человека, в котором разум и чувство, дипломат и поэт, мыслитель и страстный любовник сошлись в трагическом равновесии.

Сюжетная структура романа изящна и символична: повествование начинается не с начала, а с конца – с последних минут жизни Нины Чавчавадзе. В этом приёме – художественная смелость и духовная логика. Смерть героини – не финал, а исполнение её мечты: воссоединиться с возлюбленным, ради которого она жила и возвысилась.

«И тогда, издалека, из самого сердца тьмы, ей почудился голос. Он не звал – он вспоминал, любовно, неторопливо: – Нина... ангел мой... где ты, сокровище моё?..»

Эти строки звучат как посмертный гимн любви, сильнее времени и судьбы.

В романе действует и другой сакральный образ – холера, персонифицированная как безжалостная странница: «Грозная гостья с жёлтых, иссушённых ветром персидских земель – она явилась без приглашения, неся на себе пыль караванных путей и дыхание пустынь...»

Этот эпизод превращает повествование в трагическую симфонию, где чувствуется дыхание древних летописей и роковой предначертанности. Так рождается ощущение античной трагедии – герои ещё живы, но уже слышен приближающийся шаг судьбы.

Любовь Нины становится не просто личным чувством, а подвигом, духовным преображением, исполнением высшего предназначения. Не случайно народная память вознесла Нину Чавчавадзе в символ – «Чёрная роза Тифлиса». В этом образе – скорбь и бессмертие, благодарность потомков и очищение через страдание. Повторяющаяся сцена её смерти превращает композицию в замкнутый круг, где земное и небесное соприкасаются, а любовь становится вечной формой бытия.

И, наконец, второстепенные персонажи – отец Нины, Ермолов, Прасковья Ахвердова – оживают не как декорации, а как хранители судьбы. У Маркарова нет случайных фигур: каждая несёт луч смысла, своё дыхание эпохи.

Особое место в романе занимает семья князей Чавчавадзе – род, ставший живым символом единства грузинской и русской культур.

Отец Нины, князь Александр Чавчавадзе, – крестник Екатерины Великой, воспитанник Петербурга, человек блестящего ума и сложной натуры. В нём уживались воин и поэт:

«Словно в нём жило два человека. Один – солдат, с огрубевшим от службы сердцем. Другой – поэт, томимый тоской, пленённый Кахетией, поющий розу и соловья».

Дом Чавчавадзе сочетал строгость военной чести с музыкальностью духа. Дети воспитывались в доме Прасковьи Ахвердовой – женщины редкого ума и сердца. Там учили не только языкам и музыке, но и умению чувствовать, отличать подлинное от мнимого. Грибоедов, частый гость Ахвердовой, давал Нине уроки музыки. Между ними зародилась невидимая, почти мистическая связь. «Нина была тиха, скромна, лишена девичьей надменности. Она несла в себе тайное тепло, которым согревала каждого, кто был рядом». Так формировался её характер – чистый, сильный, предначертанный великой любви и жертве. Всё в её детстве – отцовская поэзия, музыка, свет дома Ахвердовой – готовило её к встрече с судьбой.

С появлением Грибоедова начинается история, где личная драма соединяется с судьбой России. Через размышления о долге, о слове и свободе проходит красной нитью жажда понять своё предназначение. Его внутренний мир автор раскрывает исповедально, с такой откровенностью, что привычный образ героя Тынянова вдруг уступает место новому – живому, страдающему, пульсирующему любовью.

Перед нами не просто ум и талант, но душа, где разум борется с сердцем. Автор удерживает читателя на грани этих двух стихий, показывая бурю духа, тревогу и поиски опоры.

До встречи с Ниной жизнь поэта – непрерывное брожение духа, жажда смысла, борьба с самим собой. Это движение сродни порыву эпохи – времени, когда всё шло вперёд, но никто не знал, куда.

Он поэт, потрясённый лавиной свободомыслия и испуганный шаткостью мира. На этом изломе рождаются первые главы «Горя от ума».

Перо – единственное, что не даёт ему пасть.

Маркаров показывает: страдание от несовершенства – не слабость, а высшая форма чистоты. Сомнения, цензура, одиночество становятся постоянным фоном жизни поэта.

Друзья-декабристы чувствуют, что его надо сберечь – за ум, за холод среди жара сердец, за внутреннюю свободу. Под давлением обстоятельств он уезжает на Кавказ – к Ермолову.

Образ Ермолова – одна из вершин романа, воплощение России гордой и утраченной, где слово честь значило всё.

– Кавказ, – сказал он, не поднимая головы, – это не край, это судьба. Это место, где Россия видна до дна. Без Кавказа Россия – как слепец без трости. Потому я, как Кутузов, не царям служу. Я – России.

В кабинете Ермолова Грибоедова застаёт весть о разгроме восстания 14 декабря. Генерал, рискуя, даёт ему время сжечь письма друзей-декабристов. После снятия обвинений и освобождения из-под ареста Грибоедов возвращается в Тифлис – в город, где всё ему дорого.

Там он встречает повзрослевшую Нину.

Она пела – он аккомпанировал.

И в этом голосе, казалось ему, было всё: и Тифлис, и закат над Курой, и звон бокала, и тишина любви, и её предчувствие.

Грибоедов служит под началом Ермолова, а вскоре становится доверенным лицом Паскевича. Его дипломатический талант приносит России победу – Туркманчайский трактат подписан, путь к Персидскому двору открыт. Но вместе с успехом приходит тревога: в душе его растёт чувство предопределённости, будто где-то внутри всё уже решено.

Нина становится для Александра светом и дыханием. Он вновь пишет – строки полны радости, ясности, надежды. Любовь возвращает ему самого себя.

В Тифлисе он делает ей предложение. «Меня как лучом обожгло», – пишет Нина. Их венчание в Сионском соборе – не просто союз, а высшая форма духовной гармонии. Автор пишет об этой любви возвышенно, почти иконически: без телесной пылкости, но с метафизическим жаром. Каждый читатель слышит в этом – своё эхо.

Но счастье длится недолго. Надвигается судьба. Персия – ловушка, и он это знает.

Грибоедов не пугает Нину, лишь вручает кинжал с гравировкой «Будь тверд душой» – символ клятвы и обречённости. Он просит: если погибнет – похоронить его в Давидовом монастыре, на святой горе Мтацминда. Эта сцена – одна из самых трогательных в романе: рука Нины дрожит в руке отца, небо Тифлиса меркнет в слезах.

Он пишет Варваре Миклашевич:

Нинуша, моя жена, не жалуется, всем довольна... Полюбите мою Ниночку. Хотите её знать? В Эрмитаже есть Богородица в виде пастушки Мурильо – вот она.

Он – полномочный министр Российской императорской миссии в Персии – уезжает, оставив беременную жену, – навстречу гибели. Посольство в Тегеране обречено. Английские интриги, фанатизм, слепая ярость толпы. «Я говорю от имени Империи», – произносит он, и в этих словах звучит не гордость, а осознание судьбы.

30 января 1829 года посольство было растерзано. Грибоедов сражался до последнего вздоха. Его опознали по простреленному пальцу руки..

И всё же страшнее смерти оказалось последующее молчание: блестящие речи, подарки шаха, холодная фраза императора: «Я предаю забвению Тегеранское происшествие». Так великая трагедия была смыта водами дипломатии.

Плакал и стонал Тифлис, боясь за жизнь Нины, омывая слезами неумное горе юной вдовы, ужасаясь: сможет ли перенести она такое и не сойти с ума, не наложить на себя руки?

Сцена отпевания Грибоедова в Сионском кафедральном соборе – в том самом, где ещё недавно звучал их свадебный обет, – становится у Маркарова символом высшего трагического круга: начало и конец замыкаются в одной точке.

Так автор вновь обращается к своему излюбленному приёму – сквозному переходу эпизодов: мотивы, символы, даже фразы переходят из одной части романа в другую, как мелодия, что возвращается в новой тональности.

Как невозможно понять Грибоедова вне его времени, так невозможно понять его вдову без её времени после него.

И потому в ткань романа вплетены страницы, где перед читателем проходят великие тени – Пушкин и Лермонтов.

Пушкин – первый, кто склонился перед его гробом.

Его путь в Эрзерум оборвался встречей с вечностью:

– Господи... – прошептал он. – Кто?»

– Грибоедов... – ответил один из грузин, не глядя в глаза.

Пушкин соскочил с коня, снял фуражку, подошёл к гробу, припал к нему и долго стоял, не шевелясь. Лишь губы его шевелились:

– Загубили... загубили самого умного человека России... Он был всего на четыре года старше меня.

В этом эпизоде нет вымысла – есть только великая, почти евангельская скорбь одного гения по другому. Так рождается не просто сцена – священный миф о прощении двух умов, двух сердец, горевших одной болью.

Историки не знают, была ли на самом деле встреча Нины с Лермонтовым – но в романе она должна была состояться: поэтическая необходимость выше документальной точности.

Глава «Кинжал» – одна из самых сильных в книге. Лермонтов приходит к вдове как человек, уже носящий в себе тень собственной гибели. Тихая скорбь Нины, её внутренняя чистота – словно зеркало, в котором поэт впервые видит себя не сквозь иронию, а сквозь сострадание. В их разговоре звучит то, что у Мережковского называлось «томлением духа» – тоской по вечности.

Когда Нина, вспомнив тревожные слова мужа – «вернусь ли я?», – достаёт из шкатулки тот самый кинжал, дарованный Грибоедову горцем, и вручает его Лермонтову – это не просто жест: это перепоручение судьбы. Она словно говорит: «Возьми его боль, возьми его силу».

И Лермонтов понял – и ответил стихами: «Люблю тебя, булатный мой кинжал...»

И только Нина, юная вдова, осталась живым воплощением вечной любви.

Маркаров завершает повествование не финалом, а отзвуком. Его последняя глава – это не эпилог, а эхо, долгое, как горный отклик, уходящий в вечность. Мы слышим не рассказ, а молитву. Не плач, а внутренний звон колоколов, что звучат где-то в глубине души, где покоится и Грибоедов, и Нина, и весь тот век, навеки осенённый их любовью. «Гори, мой свет, пока не погасну я сама, – словно говорит она. – И пусть из пепла нашей любви прорастёт память».

Эти слова, будто не произнесённые, а выдохнутые сквозь тишину, становятся итогом не только судьбы героев, но и самой книги. Маркаров оставляет нас перед ликом вечности – без комментариев, без оценки, без морали. Только свет свечи, дрожащий в темноте, и женский силуэт у подножия Мтацминды.

Он не подводит черту, потому что история любви – это то, где черты не бывает. Она уходит в легенду, растворяясь в грузинском небе, в отблеске заката над Куре, в трепете листьев старого платана у церкви, где покоятся их души.

В эпилоге, где Лермонтов, уже предчувствующий свою судьбу, стоит перед могилой Нины, Маркаров пишет:

Он молчал. Ветер шевелил его волосы, и ему казалось, что шепчет сама земля – не жалобу, но гимн любви, не покой, но вечное движение духа.

И в этом шепоте, в этом вечном возвращении к горе Мтацминда, звучит не скорбь – а торжество жизни, преображённой любовью.

Так роман становится реквиемом и гимном одновременно – молитвой о красоте человеческой души, о верности и о слове, которое переживает смерть.

Маркаров достигает редкой высоты – он соединяет историю, поэзию и метафизику, создавая произведение, в котором каждая страница звучит, как хор:

Пушкин – как сердце,
Лермонтов – как пламя,
Нина – как свет,

а Грибоедов – как разум, обращённый к небу.

«Все, кого коснулась любовь, становятся вечными», – словно говорит автор, превратив историю любви в легенду. Нина и Грибоедов покоятся вместе на Мтацминде, где солнце касается мрамора, словно гладит его ладонью памяти. На плите слова отражают величие чувства:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской... но для чего пережила тебя любовь моя?»

Подпись – «Незабвенному его Нина» – без титулов, как клятва души.

Так завершает Маркаров свой роман – не точкой, а светом, струящимся сквозь трагедию, где любовь, долг и память соединяются в вечный символ человеческой верности. Народная память, благодарная и трепетная, увенчала их имена, вписав их навеки в камень, слово и сердце истории.

Владимир АЛЕЙНИКОВ:

И ВЕК НЕИЗБЕЖНЫЙ В СЕБЕ БЕРЕГУ...

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году.

Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Награждён медалью Кирилла и Мефодия за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

Владимиру Дмитриевичу исполнилось 80 лет. Редакция журнала «Нижний Новгород» присоединяется к поздравлениям крупнейшему современному поэту, нашему постоянному автору, и желает ему здоровья и новых прекрасных стихов.

С Владимиром Алейниковым беседует Юрий Татаренко

– *Какая житейская мудрость далась вам не сразу?*

– Житейская мудрость – это слишком громко сказано. К тому же, судя по вопросу, их, оказывается, есть немало. И озадачивает та из них, которая далась мне не сразу. Выходит, в борениях с самим собой? Или с возрастающим в течение жизни опытом? Или в противостоянии злу и хаосу? Или с моим нынешним возрастом? Понятие растяжимое. И даже весьма условное. Каким образом, откуда она явилась мне? Свыше, что ли? Никогда я не ощущал себя таким мудрецом. Я просто старался вести себя по-человечески. И везде и всегда оставался самим собой. Всё нужное и важное обо мне говорят мои стихи и проза. Вот их пусть и читают современники.

– *Стихи это монолог или диалог?*

– Стихи – это драгоценный дар нашей речи. Возможность синтеза. Единство бесчисленных возможностей речи. В них есть всё, связанное с речью. В том числе и монолог, и диалог. Воздействие настоящих стихов на людей – безгранично. И при этом каждый человек воспринимает их и понимает по-своему. Одно и то же стихотворение в разном возрасте человек может понимать по-разному. Стихи живут не одним днём, а веками. И жизнь их уникальна, в своём дивном многообразии, в бесконечных трансформациях, в превращении фрактальности восприятия

бесчисленных примет бытия в некое нерушимое, животворное, прочно связанное с законами вселенной, единство всего сущего. И если стихи воздействуют на сердце человека, то это, пожалуй, монолог, а если они беседуют с душой человека, то это, видимо, диалог. Или одновременно и то, и другое. Стихи невозможно классифицировать, находить для них какую-то удобную нишу в некоей расчерченной на квадратики таблице, в скучной общепринятой системе, — они всегда выходят за любые, даже самые жёсткие, рамки, незамедлительно вырываются в пространство, а время, которого, наверное, всё-таки нет, нередко даже не берут в расчёт и живут свободно и достойно, вне заржавленных категорий и заезженных толкований, так, как считают необходимым, потому что они — живые проявления вселенских загадок и тайн, хранители созидательной энергии, они — дарованные нам прозрения и откровения, певчие частицы мироздания, и они помогают нам жить, продлевают наши годы, они — благодать и спасение.

— *Ваше отношение к комбинаторной поэзии?*

— Это игра. Для некоторых — увлекательная. Других — оставляющая равнодушными. Этаким кубик Рубика. Состоящий из различных строк. Верти его, крути, комбинируй, прикидывай — авось что-нибудь любопытное и получится. Монтаж, только совсем другой, чем в кино. Словесный. Кому интересно — пусть занимаются этим. Забавно, что название перекликается с великим комбинатором из романов Ильфа и Петрова. Что поделаешь? Речь иногда преподносит сюрпризы.

— *Удастся ли читать талантливую молодежь — Василия Нацентову, Варвару Заборцеву, Григория Князева, Марию Затонскую, Евгения Дьяконова?*

— Произведений этих молодых людей я не знаю. Булата Окуджаву однажды спросили — почему он не читает современных авторов? И Окуджава в ответ воскликнул: «Да когда же мне их читать? Я ведь прозу свою пишу!» Сам я не столь категоричен. И, несмотря на постоянные свои труды, тексты современников порой читаю. Из молодых поэтов мне интересны Виктор Волков, Анна Минакова, Александра Малыгина. Их стихи я знаю достаточно хорошо. Интересны мне и ваши стихи. Потому что в них есть своеобразный артистизм и особый, сразу же узнаваемый тон, всегда настраивающий и на внимательное чтение, и на верное восприятие ваших слов. Есть наверняка и другие талантливые молодые — ведь на таланты наша страна, слава богу, щедра.

— *Какому памятнику в Коктебеле вы были бы рады? Уцелеет ли памятник Волошину в ходе реконструкции набережной?*

— Лучший памятник Коктебелю — это сам Коктебель. Без теперешних безобразных новаций. В подлинном виде. Сохраняющий главное — дух. О затянувшейся реконструкции набережной, да и всего берега, не хочется говорить. Апофеоз бреда и варварства. Псевдостроителям это издевательство над красотой и гармонией киммерийского рая обязательно аукнется. И Коктебель всё равно выживет и победит. А памятник Волошину — твёрдо знаю это — уцелеет.

— *Все мы меняемся с годами. Как воспринимаете метаморфозы своего характера?*

— Ну и вопрос! Метаморфозы, да ещё не какие-нибудь, а моего характера! Как нынче любят говорить — круто. Мгновенно вспоминаются строки Заболоцкого: «Как мир меняется! И как я сам меняюсь!» Конечно, и в жизни моей, и в характере, с возрастом происходят изменения. Жизненные ритмы теперь у меня теперь не такие, как пре-

жде, а настолько другие, что к ним постоянно приходится привыкать. По природе своей человек я домашний. Но в молодости жизнь у меня была бурной, даже излишне бурной. Андеграунд, богема. Невероятное по интенсивности общение. И, несмотря на такие обстоятельства, я много работал, появлялись всё новые книги стихов. И пусть их не издавали тогда, но существовал самиздат, и я часто читал стихи на людях, и поэтому их многие знали. С возрастом, и особенно в ту пору, когда стал я жить в Коктебеле, вдали от суеты и хаоса, от всех и всего и очень много работать, стал я вновь человеком домашним. В Москве бываю лишь изредка. Творческие мои вечера и выставки живописи и графики бывают нечасто. Зато мои публикации непрерывно появляются в периодике и довольно часто выходят мои книги стихов и прозы. Моя почти затворническая жизнь, безусловно, влияет и на поведение, и на характер. А если вспомнить о состояниях, то приходится с грустью признать, что все чудовищные сложности былой эпохи до сих пор сказываются и на здоровье, и на прочем. Общение с людьми стало избирательным. И это даже хорошо. Научился подолгу жить в одиночестве. Сумел выстоять. Закалил и укрепил дух. Работа для меня – спасение. Иногда – ворчу на что-нибудь или на кого-нибудь. Иногда – радуюсь чему-то хорошему. Стариком себя не чувствую. Душа – молода и крылата. По-прежнему, с детства, живо изумление перед многообразием бытия. Так вот и живу. Никого не призываю брать с меня пример. Просто у меня именно так всё сложилось. Какой у меня дар, я давно и хорошо знаю. Радует, что знает это и немалое число современников. Хорошим людям, способным поэтам – стараюсь помогать. Периодически делаю публикации моих друзей и соратников – и по СМОГУ, и по нашему андеграунду, аналогов которого нет нигде. То, что ранее было неофициальным, ныне широко признано. И герои андеграунда – известны и даже знамениты. Изрядная часть текстов поэтов и прозаиков – опубликована. Художников наших – теперь вполне заслуженно называют вторым русским авангардом. Есть русская поговорка: не испытать горького – не видать сладкого. Нахлебались мы горького предостаточно. И к сладкому, пусть оно и не очень-то сахарное, приходится всем относиться, будто к изрядно запоздавшей, но вполне реальной данности. Свою прозу о былом – прозу поэта, со всеми её особенностями, – я пишу ещё и потому, что из всей нашей славной братии нынче я один остался – помнящий всё и умеющий сказать об этом. Больше некому. Да и выжившие могиране богемы, свидетели прежних бурь и сражений, просят меня обязательно продолжать рассказывать о том, что действительно было когда-то. Вот и пишу мои книги. И словно заново переживаю уже пережитое в давние годы. Сказывается ли это абсолютно на всём, в том числе и на «метаморфозах характера»? Да. Я не даю уйти, исчезнуть навсегда всему, что было пережито и создано. Продлеваю его жизнь. Сохраняю его – в нашей речи. Непростая задача. Максималистская. Но – необходимейшая. Когда-нибудь, лет через двадцать, относительно полная картина того, что происходило в минувшую эпоху, что призвало к свободному творчеству всех нас, может быть, и появится. Если некоторые псевдоисследователи, ничегошеньки толком не знающие, перестанут врать и всё переиначивать, в угоду своим диким вкусам и дурацким пристрастиям, да ещё при отсутствии литературных способностей, что делает их писанину неприличной и глупой. Правда не даст себя в обиду и восторжествует. А общая наша творческая правота – обязательно победит.

– Как дать понять графоману, что ему не стоит тратить время на рифмоплетство, что его вирши не имеют никакой ценности?

– Ничего не надо давать им понять. Пусть пишут, раз уж есть у них такая потребность. Если соображения хватит – когда-нибудь прозреют. А не будет этого – так и завянут в своей писанине. Вспомнил вот что. Генрих Сапгир, ярчайший поэт, настоящий новатор, написавший много стихов, однажды в семидесятых в компании пишущих людей, озадачив их, вдруг заявил, что он – графоман. И лукаво поглядел на них – как они отнесутся к этому? Все присутствующие прекрасно понимали, что никакой он не графоман, что у него написаны отличные книги тогда ещё неизданных «взрослых» стихов, а в дополнение к ним – ещё и чудесные книги стихов для детей, да ещё и пьесы для театра кукол, и сценарии мультфильмов, и переводы, – и, сказав так, он просто имел в виду большое количество созданных им вещей, – и поэтому все и отнеслись к его заявлению спокойно, – и Генрих был доволен, что его правильно поняли. А кондовые графоманы – это совсем другое. Вон сколько развелось их в интернете! Поэтам с ними не по пути.

– Важная новость минувшего лета: указом президента Союзу писателей России передано издательство «Художественная литература». Поди уже набежала толпа желающих издаться за госсчет...

– Не знаю, что происходит в Союзе писателей России. Я состою в Союзе писателей Москвы, Союзе писателей XXI века и в Русском ПЕН-центре. Литературная жизнь столичная – далеко от меня, тридцать пять лет живущего в Коктебеле. Чем порадует писателей России это известное издательство – невозможно сказать. Может, просветит писателей какой-нибудь нынешний Нострадамус. Желающих издаться за госсчет – наверняка полно. А вот кого именно будут издавать – и без всяких предсказаний станет ясно.

– Кого из современных прозаиков отмечаете?

– Из достойных современных прозаиков назову покойного Петра Шушпанова. Но его романы, повести и рассказы так и не изданы. И никто из теперешних издателей понятия не имеет, что есть такой замечательный прозаик. А ведь он ещё и отличный поэт. Судьба у него была трудной, жизнь сложной. И на всю Россию только я один делал в журналах публикации его прозы и стихов. Такая же ситуация – и с наследием Николая Шатрова, великого поэта. Более трёх тысяч стихотворений и поэм высочайшего уровня. После смерти архив его был украден у вдовы и пропал. Более-менее полное собрание стихов его есть у единственного человека в мире, друга Шатрова, да и тот живёт не в России, и возраст его – 96 лет. И только я делал серьёзные публикации в журналах стихов Шатрова – и писал о нём. Что, мы ленивы и нелюбопытны, как говорил Пушкин? Это ведь наше достояние! Где же издатели? Есть ли у них настоящее понимание? Есть ли совесть у них? То-то и оно-то, как со вздохом приговаривают в народе. А вы спрашиваете – о нынешних успешных, широко издающихся прозаиках. Пора уже и о доселе ждущих издания прозаиках и поэтах вспомнить.

– Недавно отмечали юбилеи Пастернака, затем Есенина. Кто из двух поэтов вам ближе? Довелось прочесть их биографии в серии ЖЗЛ?

– Пастернак и Есенин – выдающиеся поэты. И я давно и достаточно хорошо знаю их творчество. Но мне ближе теперь Заболоцкий. И по-прежнему дорог Хлебников. Ну а Пушкин, Тютчев, Боратынский – всегда со мной. Жаль, что сохранилась только часть произведений Введенского. Если бы все его тексты уцелели, это был бы поистине огромный

поэт. Хотя и сохранившиеся его вещи уже говорят о нём, как об одном из наиболее значительных поэтов двадцатого века. Моя давняя добрая знакомая, сербская славистка Корнелия Ичин, перевела всего Введенского. Совершила свой литературный подвиг. Рассказывала, что в Петербурге она даже печку видела, в которой перепуганная жена Введенского, после его ареста, сожгла все его рукописи. А вот судьба стихов репрессированного Нарбута была совсем другой. Они чудом сохранились. Во время войны дача Шкловского в Переделкине сгорела. Но на пепелище, прямо на виду, лежал целёхонький портфель с рукописями Нарбута. Для меня по-прежнему важны Гумилёв, Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Из украинских поэтов – Тычина и Винграновский. Из польских – Галчинский. Из современников – Шатров. Круг моих пристрастий достаточно широк. В прежние времена всё неизданное существовало в самиздате. И я, начиная с 1963 года, всё это читал и хорошо знал. А биографии Пастернака и Есенина в серии ЖЗЛ я не читал. Всего не перечитаешь. Есть книги, без которых можно и обойтись. А есть – необходимые книги. К тому же, как я всегда говорю, книги приходят к человеку сами. Когда они нужны.

– Я начал активно переводить по подстрочникам стихи, написанные на разных языках России. Замечаю, что все труднее наступать на горло собственной песне при переводе. Как справлялись с этим вы? Как выстраивали диалог с автором, готовым в любой момент заявить: я этого не писал?

– В восьмидесятые годы я много переводил поэзию народов СССР. Не от хорошей жизни. Мне надо было кормить семью. Это выручило нас тогда. Переводами занималось и немалое количество моих знакомых. Каждый из них относился к этим занятиям по-разному. Некоторые – как к обычному заработку. Некоторые и халтурили. Сам я к переводам относился серьёзно. Снова говорю то, что твёрдо знаю: в моём понимании перевод – это как в музыке, переложение, чтобы переведённые стихи, существуя уже в другой тональности, жили в русской речи. И чем талантливее поэт, переводящий чьи-то стихи, тем лучше его переводы. Примеры – переводы Пастернака, Заболоцкого, Тарковского. Мне всегда было интересно преобразование переведённого текста, почти чудо, его новая жизнь. Переводил я годами. Трудился на совесть. Постоянно появлялись публикации в периодике, выходили сборники моих переводов. Стал я наконец зарабатывать литературным трудом. Национальные авторы поняли, что перевожу я хорошо, и ко мне уже стояла очередь желающих, чтобы именно я перевёл их стихи. Нередко я увлекался – и переводил гораздо больше стихов, чем следовало. Поэтому за рамками изданий осталось большое количество первоклассных моих переводов, доселе не изданных. И, хотя понимающие люди давно уже говорят мне, что надо издать книгу избранных моих переводов, так я этим и не занялся до сих пор. Когда-нибудь, возможно, займусь. В период моих переводческих трудов мои собственные стихи не издавали. Только в перестройку начались редкие публикации, да и то почти всегда тексты оказывались искажёнными. Радости от этого не было. Я уж думал, что так и буду всю жизнь переводить – и лишь изредка издатели соизволят выпустить небольшую книжку моих стихов – хватит, мол, с меня и этого. Переводы стали тяготить меня. Слишком уж много своего вкладывал я в них. Прав был Мандельштам, утверждая, что переводы иссушают мозг. И в конце восьмидесятых переводить я сознательно перестал. Но в нашей стране всё бывает, в том числе и чудеса. И настала пора свободного

книгопечатания. И вышли, одна за другой, мои большие книги стихов. И я избавился от груза неизданных текстов. Пусть и только части их, но всё-таки немалой. И ожил. И снова стал много работать. И появились новые книги стихов. А потом – и книги моей прозы. И продолжается это доньше. Так всё сложилось у меня.

– Вышла книга Олега Демидова про Леонида Губанова. Поэт в ней представлен хулиганом. Так и было?

– Видел я в интернете некоторые куски этого сочинения. Этого было достаточно. Что можно сказать? Свинство и безобразие. Что может написать довольно молодой человек, никакого понятия не имеющий о том, что действительно было когда-то? Малоприятная мешанина из дурацких «жареных» фактов, бредовых историй, противного вранья и всего прочего, вызывающего тошноту. И к тому же написано плохо. Да, не был Губанов подарочком. Человеком он был сложным, противоречивым. Но зато был он от природы человеком очень талантливым. Стихийно талантливым. Отсюда – и все неровности его стихов, и несомненные их достоинства, и поразительные прозрения, и его поведение в быту, в жизни, в богемной среде, зачастую не совпадающее с узаконенными правилами, и абсолютно всё, что было обрушившимся на современников явлением, называемым просто и выразительно: Губанов. Кто может его осуждать? Ведь он страдалец. И зачем смаковать некоторые грубые эпизоды его короткой, стремительной жизни? Поскольку поэтом он был настоящим, стихи его сами говорят о нём лучше, чем любые толкователи его жизни и творчества. Это не Губанов, а Демидов хулиган, и весьма наглый, носитель какого-то дурного мрака, позволяющий себе унижать и оскорблять ясный свет. Следует помнить ему, что свет ничем разрушить нельзя.

– Смогисты были артистами, так как стремились покорить аудиторию. Согласны?

– Почему это мы были артистами? Мы поэты. По самому большому счёту, СМОГ – это я и Губанов. А все остальные – потом. Время было орфическим. Стихи тогда хорошо воспринимались людьми с голоса. И я, и Губанов читали свои стихи так, что завораживали любую аудиторию. Наше чтение стихов было настоящим искусством. Уникальным, неповторимым. Некоторые современники до сих пор с восторгом вспоминают, как мы оба читали. Грустно, что не сохранились магнитофонные записи нашего чтения. Да и где тогда было взять простейший магнитофон? Они были редкостью. Может, какие-нибудь записи где-нибудь, у кого-нибудь и сохранились. Опять повторяю: всё ведь у нас бывает. Но именно мы с Губановым были голосами ушедшей эпохи, озвучивали её, каждый по-своему. И это непреложный факт. А вот в жизни – бывали мы артистичными, да ещё какими! И эта артистичность была и у меня, и у Губанова врождённой.

– Мог ли Губанов прожить на 30 лет больше? Сумел бы сильнее обогатить русскую поэзию?

– В настоящей поэзии всё сказанное – сбывается. Губанов ещё в семнадцатилетнем возрасте сам себе напроорочил гибель в тридцать семь лет. И это – сбылось. Так что мог ли он прожить на тридцать лет больше и «сумел бы сильнее обогатить русскую поэзию» – вопросы к его судьбе. Он и так сделал достаточно много, чтобы остаться в истории русской поэзии.

– Аббревиатура СМОГ на слух воспринимается как смог, не слишком полезная для здоровья городская атмосфера. Вас это никогда не смущало?

– Смог – это значит сумел. Мы, некоторые смогисты, сумели состояться как поэты и прозаики. Вот что – главное. Аббревиатура СМОГ – имеет несколько расшифровок. Никакой это не городской смог. Меня это никогда не смущало. Для здоровья русской поэзии наш СМОГ оказался очень полезным.

– В вашей книге «Пир» художник Зверев пришел к вам с невообразимым количеством спиртного и закуски. А что оказалось самым ценным для вас в его наборе гостинцев?

– Само явление Толи Зверева, великого художника и доброго друга. Это – самое ценное. Когда я иногда прихожу в музей Зверева, к моим добрым друзьям, сотрудникам этого замечательного музея, Толя встречает меня уже в дверях, там стоит его фигура, и наше общение продолжается. Только злобный, завистливый и ревнивый Лимонов мог испакостить образ Зверева в своей книге, да и не в ней одной. Зверев был чистейшим человеком, доброжелательным, внимательным к людям, отзывчивым, искренним, феноменально талантливым. В семидесятых мы с ним очень дружили. И я написал о нём немало текстов, моей прозы поэта. И, даст бог, напишу ещё и новые вещи.

– Много ли того, что вам в себе не нравится?

– Кое-что – не нравится. Например, когда следует проявить твёрдость характера и высказаться в чей-нибудь адрес довольно резко, я почему-то начинаю деликатничать, стараюсь выразиться помягче, почеловечнее – мол, и так поймёт. Видимо, это результат воспитания. Впрочем, иногда я выражаюсь так, как следует. И это всё-таки оправдывает меня. Да мало ли что мне в себе не нравится? Нет никакого смысла всё перечислять. Бывали в жизни ошибки, досадные промахи. В бездомные и скитальческие мои семидесятые годы я иногда буквально по лезвию ходил, постоянно и сознательно рисковал, бывал в очень непростых ситуациях да ещё и бравировал этим порой. Сейчас думаю, что можно было, наверное, хотя бы части этих сложностей избежать. А потом понимаю: значит, так было надо. Я проверял себя на прочность, учился выживать, закалял свой дух посреди бесчисленных испытаний, драм и трагедий. Важно, что я и тогда много работал, писал стихи, – и это меня и выручало, и спасало. Всегда найдётся у любого человека то, что ему в себе не нравится. Поскольку жизненные ритмы мои с возрастом изменились, я с грустью вспоминаю годы, когда был я моложе и мог ежедневно работать по десять-двенадцать часов, когда писал мою прозу. Нынче работать стало мне труднее. Когда-то был я лёгок на подъём, любил путешествовать. А теперь, из-за всяких нежелательных состояний, с которыми приходится бороться, трудно стало мне передвигаться в пространстве. Вот и шучу иногда: внешний мир сузился, зато внутренний мой мир продолжает расширяться.

– Что выбираете – прогулку с Гете или Пушкиным?

– Выбираю прогулку с Пушкиным. Есть мне о чём поговорить с Александром Сергеевичем.

– Если написав стихотворение, удалось удивить самого себя, значит, стихотворение хорошее – согласны с поэтом Борисом Гринбергом?

– Вся моя жизнь – непрерывная череда изумлений. Недавно вспомнил мои стихи 1962 года – и ахнул: это ведь я тогда написал! То-то замечательный украинский поэт Микола Винграновский, услышав мои тогдашние стихи, очень серьёзно сказал мне, что, если бы он в шестнадцать лет писал такие стихи, он считал бы себя гением. А всегдашнее моё изумление – то, что я, слава богу, жив и продолжаю работать. Посмотрел сейчас, находясь у себя в Коктебеле,

на груды папок со стихами, прозой и переводами, припомнил, сколько этого доселе неизданного добра в московской нашей квартире так и валяется десятилетиями, и подумал: ничего, ждать я привык, это умение давно стало у меня настоящим искусством, всё лучшее когда-нибудь издадут.

– *Вам исполнилось 80. Зрелый возраст – к зрелым возражениям. Что вас беспокоит, что не оставляет?*

– Мало ли что меня беспокоит, что не оставляет! Не составлять же длинный перечень всего этого! Я давно и хорошо знаю, какой я поэт, каков мой дар. Знают об этом и современники. И привык я к тому, что нынешние литературные деятели целенаправленно меня замалчивают. Видимо, им так спокойнее существовать. Но у самых разных людей, у моих читателей, есть своё нерушимое мнение о том, что я делаю, о творчестве моём. Вот вчера получил я письмо от незнакомой сотрудницы библиотеки, настоящей читательницы, – и в нём есть такие верные и важные для меня слова, что хочется жить, преодолевать любые сложности, радоваться всем проявлениям бытия, написать что-то новое, светлое, нужное людям, тоже, оказывается, помогающее им в чрезмерно напряжённые, слишком уж непростые теперешние годы хранить верность нашей речи, любить нашу литературу, выстаивать посреди бесчисленных трудностей, противостоять злу, верить силам добра, побеждать в сражениях за правду, свободно дышать, полноценно и счастливо – жить.

Куда заглянули вы нынче, слова? –
Не в те ли бездонные воды,
Откуда вы черпали ваши права
По первому зову свободы?

И что же от ваших стенаний и слёз,
От музыки вашей осталось?
В разомкнутом небе – предчувствие гроз,
А в сердце – простая усталость.

Но смысл ваш подспудный не так уж и прост –
И мы не ему ли внимаем,
Когда норовим дотянуться до звёзд
И рокот морей обнимаем?

В листве и цветах средь биенья лучей,
Украшивших грешную землю,
Я ваше участие ещё горячей,
Ещё откровенней приемлю.

Но с вашей повадкой и с вашей мечтой
Не только улыбки знакомы –
И тот, кто лежит под могильной плитой,
Постиг наваждение истомы.

И я наглядеться ещё не могу,
Как день наклоняется к вишням, –
И век неизбежный в себе берегу,
Чтоб с честью предстать пред Всевышним.

Виктор ВОЛКОВ

Родился в 1997 году в городе Муроме Владимирской области, где и живёт до сих пор. Учился на филфаке в Санкт-Петербурге (отчислился по собственному желанию, отправившись в армию). В последующие годы жил в Нижнем Новгороде, в Москве.

В 2023 году выпустил дебютную книгу стихотворений «Архангел» в издательстве «Пробел-2000».

Печатался в журналах «Дети Ра», «Плавучий мост», «Крещатику», «Юность», «45-я параллель», «Сетевая словесность», «Камертон», а также в литературной газете «Поэтоград».

ВЕДИЧЕСКИЙ ДАР ВЛАДИМИРА АЛЕЙНИКОВА

Автор многих сотен поистине прекрасных и глубоко проникновенных стихотворений, создатель многотомной лирической эпопеи мемуарных текстов, граничащих с лучшими образцами синтеза поэзии и прозы, один из основателей легендарного СМОГа – всё это лишь небольшое, что характеризует Владимира Алейникова, крупнейшего поэта своего и нашего времени.

За последние десятилетия в русской поэзии трудно найти автора, способного приблизиться к той планке, которую задал Алейников, осуществив на своем сложнейшем пути все необходимые задачи, стоящие перед настоящим поэтом, осознающим громадную свою ответственность перед собой и речью родного языка.

Судьба всякого подлинного творца включает в себе роковую неразгаданность, и подобрать ключи к ответам на многие темы, волнующие читательское сердце, чрезвычайно сложно. Ещё не одно десятилетие литературоведы, филологи и всевозможные специалисты в области культуры будут ломать копыя о философский камень творческого дара Алейникова.

С самых первых шагов в литературе, еще не достигший совершенства, он сразу же обратил на себя внимание любителей поэзии. Та песенная и глубоко новаторская лирика, что вышла из-под пера заявившего о себе поэта, уже на старте заставила признать свою неоспоримость. Синтаксическая уникальность, образная насыщенность, самостоятельность и неподдельность каждого слова алейниковской поэзии той поры и сейчас очаровывает ценителей слова.

Уроженец Перми, выходец из Кривого Рога, потомок древнего казачьего запорожского рода, отправляется в Москву, уже имея за плечами признание от Миколы Винграновского, а также несколько публикаций в газетах. Алейников с самого начала определяет для себя главенствующее правило – творчество прежде всего, без заигрываний с политикой и всяческим официозом. Но жизнь распорядилась иначе. По стечению обстоятельств он входит в историю буквально с первых шагов, встречая соратников в лице молодых и талантливых юношей, чья зрелость

и амбициозность на тот момент обращала на себя внимание многих. Обретя близких по духу людей – прежде всего Леонида Губанова, – Алейников практически с ходу выдвигает идею о необходимости объединения никому тогда ещё неизвестных творцов.

Сколько шума наделал в начале 60-х годов СМОГ, можно узнать, прочитав основные книги прозы Алейникова, – хотя многие, даже мельком знакомые с историей русской поэзии второй половины XX века, в курсе всех основных событий.

Многочисленные чтения в кругу любителей слова, выступления на площади Маяковского, смелое заявление о самих себе перед старшим поколением авторов, нежелание считаться с основными законами литературно-идеологической среды тогдашнего времени породило неизбежные последствия в виде пристального внимания со стороны органов власти. Многие, прежде всего вышеупомянутые «товарищи» по ремеслу, постарались сделать так, чтобы упоминания о смогистах сошло на нет. Затем последовали отчисления из университетов, давления карательных органов, аресты и всевозможные препятствия на пути к восхождению молодых дарований на словесный олимп.

Владимир Алейников не сломался. Уйдя в сознательное «подполье», он продолжал развивать свой дар с необычайным упорством, словно помня слова Ходасевича о необходимости обработки своего таланта в религиозном порядке.

Многочисленные сборники, написанные поэтом за последующие годы, являются наглядным примером того, как важно, помимо имеющегося дара, следовать принципам поступательного и несуетного движения «вперёд, вглубь и ввысь» (слова самого Алейникова). Девизом поэта было – никуда не ходить, никого ни о чём не просить, стойко нести свой крест, доставшийся от великих предшественников.

Теперь сложно и представить, сколько встретилось препятствий на пути у поэта. Вслед за отчислением из МГУ – вынужденные годы скитаний, безработица, но самое главное – отсутствие литературной реализации, продолжавшееся десятки лет. Четверть века один из лучших поэтов страны не имел возможности увидеть напечатанными свои строки. Притом творческое окружение, составляющее по тем временам весьма внушительный круг людей, относилось к стихам поэта с постоянной отзывчивостью. Десятки поклонников творчества Алейникова, среди которых были Арсений Тарковский, Андрей Битов, Генрих Сапгир, Евгений Рейн и многие другие, навсегда сохранили в себе те благодатные отсветы его поэзии, цenia помимо всего прочего ещё и чисто человеческие качества молодого, а впоследствии уже глубоко зрелого творца.

Впрочем, если говорить о зрелости, надо заметить, что даже самые ранние вещи Алейникова, несмотря на некое различие с последующими текстами, уже несут в себе все основные достоинства его поэзии: отсутствие тривиальности, природная естественность, новаторство самого звучания слова.

Однако первая книга поэта, изуродованная цензурой, вышла в момент, когда автору был уже 41 год. Несколько лет, в восьмидесятых, Алейников переводил поэзию народов СССР, чтобы прокормить семью, чтобы выживать. И только в начале девяностых вышли наконец книги стихов в подлинном виде. В тот же период Алейников помогает издать сборники своим соратникам (Величанский, Пахомов, Рейн и другие) – это было для него естественным.

В период, когда на страну помимо прочих катаклизмов обрушиваются удары в области культуры, когда для большинства людей жизненные ориентиры начинают буквально сходиться с рельс, Алейников принимает судьбоносное решение уйти в сознательное отшельничество: он поселяется в Коктебеле, месте священном для всех, кому дорога история русской духовной жизни. Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, Андрей Белый, а также другие представители Серебряного века, оставившие после себя незримые творческие энергии, обрели наконец своего наследника, вручив ему эстафету собственных мистических исканий.

Продолжая расширять границы речи, Алейников, по собственному признанию, в один момент вдруг увидел внутри себя некий свет, озаривший закоулки воспоминаний своего прошлого. Перед ним возникли образы тех событий, людей, с которыми столкнулась его жизнь. С этого момента в творчестве поэта помимо создания всё новых стихотворений наступает период, когда он начинает творить эпическое полотно в области прозы, – хотя сложно применить конкретное, упрощённое слово к образцам алейниковских текстов. Воспоминания о былом, сравнимые по смелости и мастерству разве что с вершинными образцами мистериальных текстов, ещё ждут своего внимательного исследователя.

Тот факт, что Алейников прежде всего поэт, даёт о себе знать самой уникальностью структуры повествования, где неизбежно присутствует внутренний ритм, перекликающаяся между собой рифмовка, – что заставляет вспомнить уже «Симфонии» Андрея Белого.

Удивительно, однако, то, что ни малейших заимствований у Алейникова нет, всякая строка органично вписывается в канон русской прозы. Так на склоне лет, пройдя бурную молодость, суровую зрелость, поэт становится признанным классиком при жизни, в одиночку создав вселенную и мир собственных образов, опередив, к стати говоря, и более молодых авторов в области новаторства.

Всё это лишь немного, что можно сказать о Владимире Алейникове.

Всякое масштабное творчество, являясь по существу своему внеидеологичным и независимым, тем не менее должно иметь глубокие корни. И, кажется, именно здесь кроется главное в феномене Алейникова. В своих многочисленных интервью поэт прямо заявляет о том, что ощущает себя законным наследником ведической традиции, озарённой стихией степных просторов. Ведь русская поэзия по существу своему всегда мистична. Недаром сам процесс рождения и создания стихотворений Алейников сравнивает с состоянием некоего транса, разумеется, не без сопутствующей ему внутренней, незримой работы над словом. Присутствие иррационального духа неизбежно, если творец призван для того, чтобы сказать своё слово всерьёз и навсегда.

Живя и продолжая творить сегодня, вдали от хаоса, не желая выпячивать собственную значимость на потребу легкомысленной публики, Алейников одним своим присутствием придаёт уверенность в том, что русская речь жива, несмотря на то что пришли времена, которые по своей поверхностности и суетности не имеют равных в мировой истории.

Именно в таком поэте, как Алейников, нуждается Россия сегодня, не говоря уже о далёком и неизвестном грядущем.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Наталья Петрищева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Елена Гаврюшова

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 29.01.2026.

Выпущено в свет 26.02.2025.

Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.

Тираж 800 экз. Заказ

Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13